
П. В. Анненков



Пушкин
в Александровскую эпоху



МИНСК «ЛИМАРИУС» 1998

УДК 947.0:82.09+929 Пушкин
ББК 63.3(2)
А 68

Серия «Старый пушкинист» основана в 1997 г.

Председатель редакционного совета серии И. Е. Егоров
Составитель серии А. И. Гарусов
Оформление серии Г. И. Мацур

Тексты работ П. В. Анненкова печатаются по изданиям:

1. Анненков П. В. «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» — Спб., 1874.
2. Анненков П. В. «Общественные идеалы Пушкина» // Вестник Европы. — 1880, №6 — Стр. 595—637.
3. Анненков П. В. «К истории работ над Пушкиным» // П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка. — Спб., 1892 — Стр. 383—485.

Анненков П. В.

А 68 Пушкин в Александровскую эпоху / Сост. А. И. Гарусов.
— Мн.: «Лимариус», 1998. — 360 с.

ISBN 985-6300-04-5

ББК 63.3(2)+84(2)

ISBN 985-6300-04-5

© «Лимариус», 1998.
© И. В. Егоров, вступительная статья, 1998.
© А. И. Гарусов, составление, 1998.
© Г. И. Мацур, оформление, 1998.



Александр Сергеевич
Пушкин
в Александровскую
эпоху

При составлении этих очерков первых впечатлений и молодых годов Пушкина мы имели в виду дополнить наши «Материалы для биографии А. С. Пушкина», опубликованные в 1855 г., теми фактами и соображениями, которые тогда не могли войти в состав их, а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к пониманию характера поэта и нравственных основ его жизни. Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повременных изданиях наших для пополнения биографии поэта, на множество анекдотов о нем, рассказанных очевидцами и собирателями литературных преданий, на значительное количество писем и других документов, от него исходивших или до него касающихся; несмотря даже на попытки монографий, посвященных изображению некоторых отдельных эпох его развития, — личность поэта все-таки остается смутной и неопределенной, как была и до появления этих работ и коллекций. Характеристика поэта, как человека и замечательного типа своего времени, не только не подвинулась вперед с эпохи его неожиданной смерти в 1837 году, но еще спуталась, благодаря тенденциозности одних толков о нем и одностороннему панегирическому тону других. В виду близкого открытия памятника, которым Россия намеревается почтить заслуги Пушкина делу воспитания благородной мысли и изящного чувства в отечестве, на совести каждого, имеющего возможность пояснить некоторые черты его нравственной физиономии и тем способствовать установлению твердых очертаний для будущего его облика — лежит обязанность сказать свое посильное слово, как бы маловажно оно ни было. Исполнению этой обязанности мы и посвятили наш

очерк первого, Александровского периода Пушкинской жизни, — периода, который положил основание всему дальнейшему развитию его идей и направления. Если нам удастся одинаково устранить два противоположных воззрения на Пушкина, существующие донныне в большинстве нашего общества, из которых одно представляет его себе прототипом демонической натуры, не признававшей ничего святого на земле, кроме своих личных или авторских интересов, а другое, наоборот, целиком переносит на него самого всю нежность, свежесть и задушевность его лирических произведений, считая человека и поэта за одно и то же духовное лицо, — то цель очерка будет вполне достигнута. Прибавим в заключение, что мы положили себе правилом не повторять в нем фактов и подробностей, однажды напечатанных, так как полагаем, что русской публике должно быть известно все сообщенное ей об одном из замечательнейших ее соотечественников. В крайнем случае, где мы были приведены ходом рассказа к такому повторению, мы указываем на источники, откуда почерпнули известие. Такому же воздержанию от повторений мы подчинили себя и при изложении литературных мнений, явлений и журнальных споров той эпохи.

Издавая ныне наши очерки отдельной книгой, мы не можем, однако, не сказать несколько слов о той части современной нам журналистики, которая, при первом появлении нашего труда отдельными статьями на страницах «Вестника Европы», устами своих публицистов выразила мнение, что трудом нашим оскорбляется память поэта и понижается его личность. Конечно, мы не имеем права ставить в вину подобным публицистам того, что они не распознали наших намерений и не могли усмотреть в первой попытке правдиво отнестись к характеру и жизни поэта — настоящей ее цели, а именно, поставить это великое имя вне и выше смутных толков его недоброжелателей, а также и непризванных его судей, которых у него еще много и доселе. Все это уже не зависело от воли самих критиков нашего труда. Но есть черта в их полемике, которую мы никак не можем пропустить без внимания. По всему смыслу их возражений и обвинений необходимо заключить, что, в их мысли, образы замеча-

тельных людей русской земли должны быть создаваемы на каких-то особых основаниях, а не на истине и неопровержимых фактах. Мы протестуем всеми нашими силами против этого растлевающего учения, и думаем, основываясь на успехах общественного нашего развития, что такое учение мало найдет себе последователей в среде читающей нашей публики, в какой бы скрытной или наружно-благовидной форме ей ни предлагалось.

П.А.

I.

ДО ЛИЦЕЯ.

1799 — 1811.

Две фамилии: Ганнибалы и Пушкины. — Легендарная биография Абрама Ганнибала. — Записки его сына Петра. — Связи, воспитание и настроение Пушкиных. — Детство поэта. — Проект собственных его записок о своем детстве и пребывании в лицее.

Не надо быть рьяным поклонником учения о неотразимом действии физиологических и нравственных свойств родоначальников семей на все их потомство, чтобы верить в возможность семейной передачи некоторых крупных психических особенностей со стороны отца и матери своей ближайшей отрасли. Некоторое изучение характера и натуры А.С. Пушкина неизбежно приводит к заключению, что в основе их лежат унаследованные черты и отличия двух родов — Ганнибаловых и Пушкиных, только значительно переработанные и облагороженные их знаменитым потомком. Любопытно, поэтому, присмотреться ближе к двум элементам, которые, так сказать, вошли в состав нравственного существования А.С. Пушкина и частью определили его.

Нет никакой надобности для этого повторять здесь еще раз факты и сведения о семействе будущего поэта, собранные и опубликованные прежде. Отсылая по этому предмету читателей к нашим «Материалам» и к позднейшим сборникам, мы ограничиваемся в настоя-

щем случае только задачей обрисовать несколько полнее, чем было сделано доселе, два своеобразных фамильных типа, которые дали жизнь поэту и сообщили ему первый психический материал, развившийся потом в замечательную личность с другим выражением и с новыми, неизмеримо высшими нравственными стремлениями и задатками: один из этих типов был коренной русский и дворянский, тот самый, который возник в среде помещиков прошлого столетия, еще помнивших эпоху Петра I-го (представителями его были Ганнибаловы), а другой — полу-русский и полу-французский, который образовался к концу царствования Екатерины II-й и хорошими представителями которого можно считать Пушкиных с отцом поэта, Сергеем Львовичем, во главе.

Дети знаменитого негра Абрама Петровича, родоначальника фамилии Ганнибаловых, не отстали, как известно, в чинах от своего отца: так, Иван Абрамович, более всех их дельный и отличившийся на службе, был генерал-поручиком, а брат его, Петр, носил название генерал-аншефа от артиллерии. Со всем тем можно полагать, что образование их нисколько не превышало уровня общего домашнего воспитания, получаемого тогда всеми дворянскими недорослями. Они имели перед ними одно только преимущество: отец их, прошедший через руки Петра I-го и побывавший за границей, сообщил им, вероятно, ту часть математических познаний, которою сам обладал. Этого одного уже достаточно было для устройства им хорошей карьеры: они жили в то время, когда, по свидетельству записок почтенного секунд-майора Данилова, даже простое знание русской грамоты, делавшее человека способным на занятие учительского места, могло освободить его от торговой казни за уголовное преступление и перевести с площади прямо в школу. Вообще, не следует забывать, что многое после Петра I-го творилось у нас скорее через посредство вдохновения, энтузиазма и решимости, чем через посредство знания и опытности. Что-то в роде «благородного риска» присутствовало всюду, и, благодаря политическому состоянию Европы, замыслы и планы, подсказываемые этим «риском», часто венчались полным успехом. Если можно было командовать флотом и одерживать морские победы, в роде Чесменской, без опыта и основательных сведений в мореплавании, то нет причины полагать, что строитель Херсона, генерал-поручик Иван Ганнибал, воспетый Пушкиным, был чудом своего века и отличался солидным образованием и высоким государственным умом. По крайней мере брат его, упомянутый выше генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, получивший с ним

одинаковое воспитание, оказывается в сущности очень простым, почти безграмотным человеком, как увидим ниже из собственноручной его записки.

Да и сам родоначальник фамилии, сделавшийся, благодаря нашему поэту, почти что историческим лицом, негр Абрам Ганнибал, при ближайшем рассмотрении является совсем не тем блестящим человеком, каким представил его Пушкин в образцовом своем романе «Арап Петра Великого». По этому поэтическому свидетельству, арап вполне отдался влиянию двора французского регента Филиппа Орлеанского, к которому был послан для окончания образования, переняв у тогдашней французской аристократии ее приемы, внешнее достоинство и тон самоуважения в самой служебной и всякой другой подчиненности. Точные исследования академика П. П. Пекарского, который в своем капитальном труде «Наука и литература при Петре Великом» приводит письмо Ганнибала из Парижа в Петербург, показали, что Абрам Петрович просто записался во Французскую инженерную школу, жил в крайней бедности, сделал поход в Испанию и рад был возвратиться на родину. Это — далеко от шумного, светского и привольного существования военных придворных двора регента, которые, поэтому, и не могли сообщить ему доска своей образованности. Конечно, с типом арапа, представленным А. С. Пушкиным, весьма мало вяжется следующая черта, им же приводимая из жизни Абрама Петровича. Укрытый, после самовольного бегства со службы, близ Ревеля, арап наш провел десять лет в постоянном трепете за себя и вздрагивал при всяком звуке почтового колокольчика, напоминавшего ему роковую курьерскую тележку, — что осталось у него на всю жизнь, по замечанию того же биографа. Даже сотоварищество его с незнатной молодежью Франции не могло изменить его абиссинскую, мягкую, трусливую, но вместе вспыльчивую природу. Она вполне сберегла все свои родовые особенности, а в том числе и склонность к невообразимой, необдуманной решимости, к тому, что французы называют «un coup de tête». — Черта замечалась потом у многих ближайших его потомков и заменяла у них настоящее мужество и нравственную выдержку.

Мы сейчас упомянули о бегстве со службы: легенда о жизни негра Абрама Петровича передает это известие в следующем виде. После смерти Петра I-го всеильный Меншиков (1727) удалил его от двора, дав ему командировку в Сибирь, которую он самовольно покинул, но возвращенный с дороги, три года пробыл арестантом в гор. Томске. Долгорукие, которых он был сторонником, вероятно по

ненависти к Меньшикову, не спешили, однако же, его восстановлением и, как кажется, по одной причине со свергнутым ими временщиком: и они, как Меньшиков, не любили сближаться с Петром II-м людей, близко знавших его великого деда. Со всем тем к концу своего владычества, Долгорукие, оставив его в Сибири, назначили майором в тобольский гарнизон. Ганнибал этим не удовольствовался, конечно, и прибег к обычному своему средству: он вторично убежал со службы и, на этот раз благополучно добравшись до С.-Петербурга (1730), явился прямо к Миниху. Это уже совпадало со страшной эпохой бироновщины. Пушкин замечает, что хотя Миних был и не робкого десятка человек, но испугался за своеобычного майора. Он его скрыл, как сказали, близ Ревеля, а в 1833 г. выхлопотал ему отставку, в которой Ганнибал и состоял до 1740 г., постоянно ожидая преследований и гибели, как заметили прежде. В этом году Миних, сделавшись главою государства, в свою очередь, при правительнице, не позабыл о беглом майоре, которому, вероятно, особенно покровительствовал за инженерные познания, столь им ценимые, и принял его снова на службу, дав ему место подполковника артиллерии в ревельском гарнизоне. С восшествием на престол Елизаветы, знавшей его еще мальчиком у отца, судьба Ганнибала достигла высшего своего апогея, давно желанных почестей и богатства. Не есть ли это карьера простодушного, взбалмошного, но счастливого авантюриста? Все эти качества не исключают и замечательных способностей к чистым наукам, какие должно признать за Абрамом Петровичем¹.

В числе бумаг, оставшихся после А.С. Пушкина, есть несколько выписок из рукописной немецкой биографии его прадеда, о которой он упоминает в своих заметках о нем, рассеянных по его сочинениям. Самые заметки эти основаны большею частью именно на этих выписках с прибавлением нескольких фамильных преданий, но есть между выписками и такие, которых поэт не употребил в дело, по причинам нам неизвестным. Как ни мало их число, но в общем рас-

¹ После краткой, но обстоятельной и дельной монографии А.П. Ганнибала, составленной М.Н. Лонгиновым и помещенной в «Русском Архиве» 1864 г., № 2-й, все данные для жизнеописания знаменитого арапа, кажется, исчерпаны. М.Н. Лонгинов имел под руками и формуляр Абрама Петровича. Некоторые догадки и заключения, вызванные показаниями этого формуляра, отчасти подтверждаются, отчасти дополняются дальнейшим нашим рассказом, но общий характер биографии знаменитого негра остается, несмотря на эти официальные данные, все еще с оттенком легенды и предания, и признаков полной исторической правды вряд ли когда-либо и получить.

сказе Пушкина о своем предке они заслуживают получить свое место, как и те, которые им уже были приняты и обработаны — достоверность их совершенно одинакова. Таким образом, например, Пушкин полагает, что имя Ганнибала дано Абраму Петровичу Петром I, и тем противоречит немецкому биографу, который утверждает наоборот, что сама фамилия абиссинских князьков, из которой вышел Ганнибал, возложила на себя это громкое имя в память карфагенского Аннибала, от которого горделиво вела свое происхождение. Трудно теперь объяснить себе, почему Пушкин предпочел первую версию второй. По тому же немецкому свидетельству, абиссинские князьки составили в прошлом столетии союз с целью сопротивления туркам, были разбиты ими наголову, и Абрам попал, вместе с другими детьми, аманатом в Константинополь. Свидетельству этому не противоречит и другой документ: просьба, поданная самим Абрамом Петровичем в 1742 г., в сенат о снабжении его рода надлежащим гербом. Она, будучи чисто формального содержания, не заключает в себе ничего особенно любопытного, кроме начала, где проситель говорит о себе, не без тайной гордости, что родился «во владении отца моего, в городе Лагоне, который (sic) и, кроме того, имел еще под собою два города». Он прибавляет далее, словно не желая или стыдясь упоминать о своем пребывании в константинопольском серале: «выехал в Россию при графе Саве Владиславовиче волею своею в малых летах». Кроме попытки сберечь честь фамилии, в этом показании есть еще и благонамеренная служебная ложь, посредством которой истец старается обойти неприятные или щекотливые воспоминания для своего начальства, ибо сын Абрама Петровича, уже упомянутый Петр Ганнибал, в другом документе, который сейчас увидим, замечает просто о своем отце: «выкраден из константинопольского двора», — что согласнее с историей. Цель этого странного воровства заключалась, по мнению немецкого биографа, в том, что великий преобразователь России хотел показать своим русским, что образованность может быть доступна всем человеческим породам, и в новом русском государстве, им устроенном, открыть каждому человеку без различия происхождения путь к отличиям. Объяснение несколько натянутое и фальшиво глубокомысленное, ибо приобретение разными способами арапчиков и других иноплеменных экземпляров выходило из желания придать новому петербургскому двору вид пышности, а уже гений Петра I, забывая о первоначальной цели такого приобретения, принимался за развитие способностей, как только их находил в человеке, и давал ему потом поприще, соответ-

ственное их силе и объему¹. Кроме этих подробностей, выпущенных Пушкиным, много еще и других, касающихся до Ганнибала и сбереженных им в известном его собрании анекдотов (Table talks — «Росказни за столом»), не пущены им в дело. Все они имеют характер семейных преданий. Так, Пушкин рассказывает, что Абрам Ганнибал, состоя при Петре, переписывал у него, между прочим, то, что ночью, в темноте — приводим слова поэта — «вечно трудящийся дух царя чертил несвязно на аспидной» доске. Он сам учил его математике и языкам². Абрам Петрович добивался потом княжеского титула и оставил свои хлопоты только по совету старшего сына своего Ивана, говорившего, что для княжеского титула надо и княжеское имя.

Сводя в один краткий рассказ изыскания русских биографов, показания немецкого биографа и семейные предания, как они были записаны А.С. Пушкиным, судьба Абрама Ганнибала в последние годы царствования Петра Великого и затем в царствования четырех его преемников представляется в следующем виде. Два года (с 1723) Ганнибал прослужил в чине поручика бомбардирской роты л.-гв. преображенского полка, куда помещен был, по возвращении из Франции, своим благодетелем, а по смерти Петра I-го, завещавшего Абраму Петровичу 2000 дукатов и поручившего его дочери своей — Елизавете, Ганнибал был определен учителем математики к Петру II-му: таково сказание немецкого биографа, принятое и Пушкиным. Об удалении арапа из Петербурга, о двукратном бегстве его из Сибири и о появлении его у Миниха было уже сказано. К последней подробности немецкий биограф прибавляет, что Миних скрыл его на

¹ Замечание это подтверждается еще и тем, что множество арапчиков было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Константинополя ко двору и частными лицами. Многие из них и назывались Абрамами — именем, как будто уже усвоенным этим несчастным детям. Академик Пекарский упоминает о слугителе арапе Абраме, отданном Петром I в обучение в школу при Александроневском монастыре, где он проходил букварь. Это было в 1725 г., когда наш Абрам Петрович уже возвратился в Россию из Франции и произведен в гвардии-поручики. В «Русском Архиве» 1867 г. помещено еще известие о высылке П.А. Толстым из Константинополя к вице-канцлеру гр. Головнину трех других арапчиков в подарок, причем один тоже назывался Абрамом.

² Решаемся привести здесь еще анекдот из «Росказней», касающийся Ганнибала, и убеждены, что он не покажется странным в печати. Пушкин записывает: «Однажды маленький арап (в рукописи зачеркнуто Ганнибал), сопровождавший Петра I-го в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь, Государь! Из меня кишка лезет». Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал. — Врешь; это не кишка, а глиста, — и выдернул глисту своими пальцами. Анекдот довольно не чист, но рисует обычай Петра».

первых порах в перновском гарнизоне, дав ему звание инженер-майора, а как никому не приходило в голову искать его в Лифляндии, то, пользуясь тишиной, Абрам Петрович женился (во второй раз) на немке-лютеранке, Христине Матвеевне Шеберг, дождался отставки. в 1733 г., купил на деньги, сбереженные от петровского наследства, имение близ Ревеля (мызу Корикула), и там поселился на целых 7 лет. К этим данным А.С. Пушкин, на основании семейных преданий, прибавляет, что эта Христина Матвеевна обходилась очень нецеремонно со своим супругом, не хотела называть третьего сына Январия настоящим его именем, трудным для ее немецкого произношения, и перекрестила его в Осипа (это был отец Надежды Осиповны Ганнибал — матери Пушкина), причем еще отзывалась о сожителе своем следующим образом: «шерне чорт делает мне шорна репят и дает им шертовск имя» («Росказни») Анекдот показывает, между прочим, и тон, господствовавший в этом семействе. С воцарением Елизаветы Петровны звезда Ганнибала высоко поднялась на горизонте. Особенно важен был для него 1742 год: он произведен был тогда в генералы-майоры, назначен ревельским оберкомандантом, и впервые при рождении сына Петра императрица пожаловала ему 500 душ в Псковской губернии, Опочецкого уезда, в Михайловской губе, где расплодившиеся его потомки еще недавно носили в народе собирательное имя «ганнибаловщины». Сам Абрам Петрович прикупил в Ингерманландии, в 55-ти верстах от Петербурга, мызу Суйду, впоследствии доставшуюся знаменитому Ивану Абрамовичу, где и похоронен. Старик умер 93 лет, оставив 7 человек детей и более 1400 душ имения. Он еще застал воцарение Екатерины II. Нужно прибавить, что в последнее время, будучи уже генерал-аншефом и александровским кавалером, Ганнибал носил звание «директора каналов Петровского, Кронштадтского и Ладожского». Чем ознаменовалось директорство это, и не было ли оно только почетным титулом — неизвестно. Вот и вся биография первого Ганнибала, в которой мифические сказания далеко еще не отделены от исторического основания, да вряд ли и могут быть вполне отделены: так они срослись друг с другом.

Из детей этого вельможи-арапа, один, именно генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, дожил до 1822-го года. Его-то именно и видел Пушкин, когда в 1817 году приехал в Михайловское с семьей прямо из лицея. Забавно, что водка, которою старый арап подчивал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оце-

нить ее и как развязно с нею справлялся. Генерал-от-артиллерии, по свидетельству слуги его, Михаила Ивановича Калашникова, которого мы еще знали, занимался на покое перегоном водок и настоек и занимался без усталы, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гусях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своею музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения, по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, прибавлял почтенный старик Михаил Иванович, — когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них *выносили на простынях*. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев. Не мешает заметить, что Петр Абрамович долгое время состоял под судом за растрату каких-то артиллерийских снарядов и освобожден был от него только влиянием своего брата, Ивана.

Вероятно, по просьбе своего внучатного племянника, А.С. Пушкина, этот генерал-от-артиллерии уступил ему листок своих записок, начатых гораздо ранее автором — в чине еще артиллерии полковника. Этот листок, сохраненный Пушкиным в своих бумагах, и служит печальным образчиком тех познаний в русской грамоте и той способности к логическому мышлению вообще, какими обладал генерал-от-артиллерии и родной брат исторического лица, Ивана Абрамовича Ганнибала. Вот этот листок, списанный нами, без малейшего изменения в слоге и орфографии: «Отец мой служил в российской службе происходил во оной чинами и удостоился Генералом аншефского чина орденов святыи Анны и Александра Невского, был негер, отец его был знатного происхождения то есть владетельным князем и взят вомонаты отец мой константинопольского двора из оного выкраден и отослан к государю Петру Первому, детей после себя оставил Ивана — Генерал Поручика — Петра артиллерии полковника — Иосифа морской артиллерии второго ранга капитана — Исаака — морской артиллерии 3 ранга капитана; дочерей Елизавету, которая была за Пушкиным вдовою, Анну, коя была за Генерал Майором Нееловым, Софья за Роткирхом. Братья сестры и зятя волею Божию все вроди и чада помре; остался я один, я и старший в роде Ганнибалов; теперь начну писать о собственном рождении, про-

исходящим в чинах и приключениях. Родился я в 1742 году Июля 21 число по полуночи в городе Ревеле где отец мой в оном городе был Обер-Комендантом; восприемники были за очно вечно достойна Императрица Елизавета Петровна достойной памяти с Петром Третьим — в то же время пожаловано отцу моему 500 Псковской Губернии». Здесь и обрывается, к сожалению, записка, не исполнив обещания повествовать о приключениях.

Что касается до третьего сына (деда Пушкина по матери) Януария или Осипа Ганнибала, то это был сорвиголова и ужас семьи. Впрочем, первые основы математического образования и ему доставили, разумеется, при покровительстве брата Ивана Абрамовича, звание «морской артиллерии капитана второго ранга», но он уже, кажется, не признавал для себя обязательными никакие гражданские установления и порядки. Было уже говорено прежде о том, как от живой жены он обвенчался с девушкой, которую обманул самым наглым образом, но эта проделка обошлась ему весьма дешево: по приказанию императрицы Елизаветы, разведенный с обеими своими женами, он был сослан только на жительство в свое имение, с Михайловское, где и мог предаться вполне обычным сельским наслаждениям помещиков того времени. Первой и законной его жене, известной бабке Пушкина, Марье Алексеевне, выделена была при этом часть из его другого имения, именно сельцо Кобрино (Петерб. губ.), где она вместе с дочерью, будущею матерью поэта, и жила сравнительно в бедности, под охранением своего шурина, соседа, помещика Суйды и опекуна, Ивана Абрамовича Ганнибала.

Нужда и горе развили в Марье Алексеевне практический ум, хозяйственную сноровку и способность понимать предметы в их отношениях к действительной и повседневной жизни. Простота, ясность и меткость ее речи, впоследствии так восхищавшие Пушкина и друга его, Дельвига, обуславливались отчасти и ограниченным кругом понятий, в котором вращалась Марья Алексеевна и через который смотрела на остальной мир. Предание изображает нам ее, как настоящую домохозяйственницу, по образцу, существовавшему еще очень недавно. Девичья ее, слышали мы, постоянно была набита дворовыми и крестьянскими малолетками, которые, под неусыпным ее бдением, исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки и каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно также, чтобы ни одна сила не пропадала даром и т. д. В этой сфере

вырастала дочь ее, Надежда Осиповна — балованное дитя, окруженное с малолетства угодливостью, потворством и лестью окружающих, что сообщило нраву молодой красивой креолки, как ее потом называли в свете, тот оттенок вспыльчивости, упорства и капризного властолюбия, который замечали в ней позднее и принимали за твердость характера. Жених ее — скромный, рассеянный и застенчивый гвардейский офицер, Сергей Львович Пушкин, умел пленить прежде всего Ивана Абрамовича Ганнибала, который, решаясь выдать за него свою бойкую крестницу, примолвил: «он не очень богат, но очень образован». Предания о фамилии Ганнибалов на этом и кончаются. Мы покидаем ее для того, чтобы заняться ее антиподом, полной, совершенной ее противоположностью, именно фамилией Пушкиных.

Не мудрено, что чесменский воин, герой Наварина и проч., принял Сергея Львовича Пушкина за очень развитого человека. Будущий племянник должен был внушить ему уважение, как представитель нового поколения, успевшего развиться на других основаниях, чем те, которые существовали еще в его собственной, патриархальной, полудикой и полуграмотной семье.

Сергей Львович и брат его, столь известный Василий Пушкин, получили полное французское воспитание, писали стихи, знали много умных изречений и острых слов из старого и нового периода французской литературы, и сами могли бойко размышлять о серьезных вещах с голоса французских энциклопедистов, последнего прочитанного романа или где-нибудь перехваченного суждения. Никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели много разнообразных предметов: сближение с аристократическими кругами нашего общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие последних парижских мод, поддержку литературных знакомств и добывание через их посредство слухов и новинок для неумолкаемых бесед, для умножения шума и говора столицы. К числу необходимостей своего положения причисляли они и ухаживание за всякой своей и иностранной знаменитостью и проч. Дом Сергея Львовича в Москве действительно посещаем был членами того блестящего литературного круга, который в начале столетия образовался там около Карамзина; в числе друзей и знакомых дома встречаются самые почетные имена того времени — Жуковский, А. Тургенев, Дмитриев и проч., вместе с именами заезжих эмигрантов, туристов, артистов. То же было и у другого брата. Разумеется, внешние формы их жизни при этом уже во многом разошлись со старыми, первобытными обычая-

ми дворянского существования. Сергей Львович, например, терпеть не мог деревни, если она не была видоизменением или продолжением городской жизни, и ни разу не посетил иных наследственных своих имений, как, например, Болдина (Нижегородской губ.), в чем его упрекали родные и еще упрекают доселе биографы; но это отвлечение от сельского уединения помогло отцу нашего поэта, по крайней мере, освободиться от наклонностей, замашек и привычек тогдашнего помещичьего быта. Бесспорно, это был своего рода прогресс, но, к сожалению, по крайней своей ничтожности и ограниченности, он мало изменял все другие нравственные стороны человека и ничего не изменял в положении людей, зависевших от наших утонченных землевладельцев. Когда, гораздо позднее, для спасения Болдина послан был туда дельный управляющий, то он просто бежал из имения, при виде страшного разорения крестьян, в которое они были погружены беспечностью и *образованными* стремлениями помещика. Форма прогресса была не менее оригинальна и у Василия Львовича, но здесь нет надобности описывать ее, так как биография автора «Опасного Соседа» до нас не касается.

Вообще, следует заметить, что у обоих братьев не было и времени для своих собственных дел: они занимались только чужими. Люди, страстно искавшие всю свою жизнь гостиных и эффектных бесед, переносившие удачное бонмо, перед ними сказанное, из дома в дом, и, со своей стороны, сами занятые, для потехи других, тем, что французы называют деланием ума, *faire de l'esprit*, — такие люди уже, конечно, не имели ни времени, ни возможности устроить свое существование на прочных основаниях. Вот почему вся их жизнь, проведенная в беготне за высшим светом и модными формами существования, в толкотне между людьми и в пересудах слышанного и виденного, оставила их под конец материально и умственно разбитыми и несостоятельными.

А между тем, Василий Львович, принятый в «Арзамасе» после шутовской церемонии, устроенной В.А. Жуковским нарочно для него, как замечает Ф.Ф. Вигель, считался влиятельным литератором, а после своего «Опасного Соседа» достиг даже некоторого рода знаменитости¹. Он заслуживал благодарности литераторов за неослаб-

¹ Князь Шаховской, противник «Арзамаса», как известно, задетый в «Опасном Соседе», довольно забавно говорил про автора его: «Ну, не несчастье ли мое? Человек в первый раз, отродясь, сказал остроу — и то на мой счет». Впрочем, принадлежность «Опасного Соседа» исключительно одному Василию Львовичу подвергалась тогда сильному сомнению. Говорили, что поэма исправлена сообща кружком

ное свое хлопотание около них и около русской литературы вообще, в течении добрых 25-ти лет. Он уже едва двигался от подагры в 1830 г., но, сохраняя свою важную осанку, за которой скрывалось у него так много добродушия, легковерия и беспечности, продолжал толковать о журналах, и раз в одном из сильнейших пароксизмов болезни нашел минуту сказать окружающим: «Как скучны статьи Катенина об испанской литературе!» (в «Литературной газете», 1830 г.)¹. Самая смерть его, последовавшая в тот же год, имела одинаковый характер с его жизнью. Нам рассказывал один из близких его знакомых, что раз, утром, больной старик поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоня друг друга, отыскал там Беранже, и с этой ношей перешел на диван залы. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником. Сергей Львович скончался гораздо позднее. Закат его представлял нечто в роде правильного, логического вывода из всей предшествовавшей его жизни. Уже в глубокой старости, овдовелый, потерявший знаменитого сына и наполовину разоренный, он влюбился в ребенка, девушку лет 16-ти, соседку свою по Михайловскому (Александрю Ивановну Осипову), и предлагал ей свою руку. Почтенному старцу пришлось пережить у дверей гроба все волнения юношеской и безнадежной страсти, начиная с пламенных посланий на французском языке и робких угождений предмету поклонения, до покорных жалоб на судьбу и горьких слез отчаяния. Он еще мечтал о браке, второй молодости, медовом месяце и проч.

Как ни забавно может показаться это чахлое подобие эпохи Людовика XV на русской почве, но оно имело и свою очень серьезную сторону. Благодаря праздности, внешнему существованию людей и пустому волнению их, оно еще вело неизбежно к расстройству и уничтожению состояния. Действительно, только при относительно громадных средствах можно было безнаказанно тешиться жизнью на манер философствующих маркизов и дюков прошлого века. Там же, напротив, где крепостничья нерасчетливость в соединении с невообразимым отвлечением к какому-либо занятию одни могли бы

друзей, в числе которых был и всегдашний покровитель В. Пушкина, В.А. Жуковский. Ему приписывали и стих: «Прямой талант везде защитников найдет», направленный против кн. Шаховского и так много смешивший партию анти-шишковскую.

¹ См. анекдот, рассказанный г. Бартеневым в «Отеч. записках» 1853, № 11. Александр Сергеевич Пушкин, случившийся при этом в комнате, шепнул окружающим: господа, «Уйдем отсюда, пусть это будет последним его словом».

потрясти даже солидное состояние — там подделка под развязную эпоху Людовика XV-го сопровождалась довольно печальными и вместе комическими последствиями. Известно, что Сергей Львович, из желания развязать себе руки вполне, передал все управление домом супруге своей, Надежде Осиповне, которая не менее его обожала свет и веселое общество, а в управление домом внесла только свою вспыльчивость, да резкие, частые переходы от гнева и кропотливой взыскательности к полному равнодушию и апатии относительно всего происходящего вокруг. Это уже лежало в самой ее природе. Вот почему нет никакой возможности сомневаться в истине нижеследующих строк, которыми один весьма умный наблюдатель описывает нам дом Пушкиных, когда они, в 1814 году, переехали окончательно на жительство в Петербург из Москвы: «Дом их, — говорит он, — всегда был наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана». Вот с чем могла ужиться претензия на образованность, и это еще при весьма достаточных средствах: Пушкины — владели тогда всеми своими наследственными и очень немаловажными имениями. Надо прибавить, что они никогда уже и не выходили из положения, описанного выше. Впрочем, и то следует сказать: один ли их дом представлял тогда хаотическое смешение крайностей и совместное существование признаков развития с крупными чертами доморощенных нравов, один ли их внутренний быт отличался помесью европеизма и терпимости к нелепому деревенскому обычаю?.. Вспомним одно любопытное свидетельство по этому предмету, кажется, раз уже и указанное в нашей литературе. Известный германский патриот и писатель Е. М. Арнт, сопровождавший барона Штейна в его поездке в Петербург (1812), рассказывает в своих записках об этом времени поучительный анекдот из сношений прусского реформатора с петербургской знатью. Барон Штейн очень любил одну весьма умную и благородную женщину из нашего высшего круга (графиню О., урожденную Стр.¹), которая, со своей стороны, дорожила каждым словом знаменитого министра. Разговорившись однажды о лихоимстве тог-

¹ Муж графини, В. В. Ор., проживший потом много лет за границей, имеет в нашей литературе некоторую известность, как переводчик басен Крылова и других русских произведений на французский язык.

дашних наших провиантских чиновников, которые даже умели сделать помехой русскому оружию и повредить русской политике вообще, барон Штейн привел почти в слезы свою слушательницу, указав с укором на собственный ее дом, наполненный воспитанниками и воспитанницами, в числе которых были и калмыченки: «Какого нравственного чувства, — заметил строгий барон, — хотите вы от собственных детей, когда они живут в обществе лиц с разнородными привычками, различных сословий, различных полов и возрастов до юношеского включительно? Где тут может развиваться и сохраниться в надлежащей чистоте чувство порядка, обязанностей, долга?» (Выдержка из «Meine Wanderungen mit dem Freiherr Stein», Е.М. Арнта, в приложениях к «Allgemeine Zeitung», № 204, 1858 г.).

Возвратимся, однако же, назад к прерванному биографическому рассказу.

Через год после брака с Надеждой Осиповной, Сергей Львович, по заведенному тогда порядку, стал помышлять об отставке и переезде в Москву. Тотчас после рождения дочери Ольги (1798), он привел в исполнение свой план: покинул семеновский полк и уехал в Москву на покой. Здесь первым делом семейства было обзавестись подмосковной, как необходимым условием порядочной столичной жизни. Бабушка поэта, Марья Алексеевна, променяла свое Кобрино, близ Петербурга, на село Захарово, близ Москвы, которое тоже, в свою очередь, было продано, когда Пушкины задумали переселиться снова в Петербург. Вплоть до нашествия французов они жили попеременно, то в Москве, то в новой деревне, и в течение этого именно времени успел развернуться и обнаружиться характер второго их ребенка, сына Александра, рожденного в 1799 г., который так мало был похож на все, чего они могли ожидать от своего семейства, что весьма скоро сделался для них загадкой. Из соединения двух разнородных фамилий и двух противоположных нравственных типов возникла натура до того своеобразная, независимая, уступчивая и энергичная в одно время, что она сперва изумила, а потом и ужаснула, как увидим ниже, своих родителей.

После всего сказанного нами, кажется, нет надобности распространяться о том, что при воспитании подобной природы и подобного характера не только не было употреблено в дело какого-либо определенного правила или обдуманной системы, но даже и простого здравого смысла. Подробности о детских годах Александра Пушкина, приведенные в наших «Материалах» 1855 г. со слов его родных, очень любопытны; но они ничего не говорят о началах и основаниях,

принятых в семействе относительно воспитания нового его поколения, и не говорят потому, что, их, кажется, вовсе и не было. Да откуда и было им взяться при посторонних и внешних интересах, поглощавших все внимание как отца, так и матери этого семейства, при гувернерах и гувернантках с различными взглядами и характерами, при влиянии каждого, кто захотел, на детей, растерянных в этом множестве руководителей. В программе автобиографических записок, к сожалению, несостоявшихся или уничтоженных поэтом, встречаются лаконические слова его: «Первые неприятности — гувернантки. Мои неприятные воспоминания. — Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое состояние». Для того, чтобы в позднейшие годы жизни так настойчиво отмечать неприятности первых лет, даже три раза повторять почти одну и ту же мысль и фразу, надо было глубоко испытать в свое время горечь и оскорбление окружающей среды. Биографический смысл этих заметок для нас теперь потерян, да мы и не старались отыскать ключа к нему. Несколько маловажных, по всем вероятностям, фактов домашней или учебной жизни, которые он мог бы открыть, не очень нужны нам для того, чтобы отчетливо представить себе теперь обстоятельства, сопровождавшие детство поэта.

Часто случается, что все врожденные, темные и светлые силы характера долго спят в душе ребенка и не показываются на свет до тех пор, пока их не пробудит к жизни какое-либо обстоятельство. Нет никакой причины полагать, что такое решающее событие всегда должно быть серьезного, потрясающего свойства; напротив, в большей части случаев, оно, по маловажности своей, проскальзывает едва замеченное теми, которые были его свидетелями. Случается так, что роль таких пробуждающих толчков играет для ребенка легкая, испытанная им, напраслина, пустая, но незаслуженная обида, наконец, патетический рассказ, неожиданно попавшийся ему в руки и сильно поразивший его воображение и т. д. Чем-то в роде подобного толчка озаменовались и детские годы А. Пушкина. Искрой, внезапно оживившей его природу и раскрывшей разнообразные нравственные элементы, таившиеся в ней, была тут, как нам кажется, библиотека С. Л. Пушкина. Молодой Пушкин рос до 9-ти лет тяжелым, флегматическим, неповоротливым мальчиком (какая разница с энергией, подвижностью и неутомимостью позднейших его годов!). Первое искусственное и нездоровое возбуждение ума и страстей должно отнести насчет, так называемых, публичных *jeux d'esprit*, которые были в большом ходу у его воспитателей, да и вообще считались тогда хорошим педагогическим приемом, а второе следует возложить на распо-

рядки почтенного Сергея Львовича, позволявшего детям присутствовать при приеме гостей и быть постоянными слушателями всех разговоров своего кабинета, только под условием молчания и невмешательства в беседу. Молодой Пушкин бросился со страстью к французской фамильной библиотеке дома. Библиотека могла быть также и средством для него уйти от семейных огорчений, да она же еще и соответствовала тогда его ленивой физической природе, требовавшей покоя. Мальчика предоставили вполне его страсти, как и следовало ожидать от семейства с сильным «литературным» оттенком, и, разумеется, не заметили коренного перелома, который неожиданно совершился, благодаря этому обстоятельству, в физической и нравственной природе его.

Можно догадываться о составе библиотеки как по характеру Сергея Львовича, так и вообще по характеру библиотек того времени. Более, чем вероятно, что книгохранилище Пушкиных состояло из французских эротических писателей XVIII-го века, из философских трактатов сенсуальной школы, из Вольтера, Руссо, Гельвеция и самых крайних их толкователей. Зная это, мы можем уже определить и самую сущность перелома, совершившегося в молодом Пушкине. Прежде всего оказалось, что постоянное умственное, мозговое раздражение ускорило обновление и изменение его организма, уже подготовленное годами. Затем, параллельно с неустанным чтением, развился настоящий отроческий его нрав, тот самый, который несколько позднее видели лицейские товарищи и учителя молодого человека, оставившие и свои заметки о нем¹. Библиотека отца оплодотворила зародыши ранних и пламенных страстей, существовавшие в крови и в природе молодого человека, раздвинула его понятия и представления далеко за границу возраста, который он переживал, снабдила его тайными целями и воззрениями, которых никто в нем не предполагал и, наконец, — что всего важнее — мало-помалу воспитало великое самоуважение, не допускающее власти над собой и не признающее ее законности ни в каком виде, ни под каким предлогом. Как тогда отнеслись к этим новым проявлениям его личности домашние, наемные и не наемные его пестуны, что происходило между ним и воспитателями его — мы, конечно, не знаем. Можно полагать, однако же без особенного риска, что они были ниже предстоявшей им задачи успокоения, объяснения и направления этих первых

¹ Поразительные их отзывы о моральной стороне его воспитания и преждевременном развитии его ума и всех способностей увидим ниже.

порывов освобождающейся мысли. Надо сказать, что все брожение страстей не исключало у молодого Пушкина некоторого рода застенчивости и даже робости при людях, о чем свидетельствуют многие старые друзья этого дома. Известно, что застенчивость и робость часто бывают приметамы высокого понятия человека о самом себе. В первых столкновениях с возникающим характером и нарождающимся образом мыслей, губернеры и гувернантки, конечно, не могли играть очень благотворной роли для такого сложного характера, каким уже являлся молодой Пушкин. Они свели всю свою задачу на то, чтобы добиться от него наружного повиновения, и встретили совсем неожиданное сопротивление, которое устояло и перед попытками побороть волю мальчика развитием так называемой начальнической строгости. Все настойчивые или вспылчивые требования самих родителей приводили к одному и тому же результату, — яростному отпору. Молодое сердце, оскорбляемое ими и уже способное к вражде и ненависти, начинало не скрывать своих чувств. Так как ближайшая причина этого непонятого явления оставалась все-таки неизвестной воспитателям, то объяснение его одной жестокостью чувства и врожденным упорством ребенка само собой напрашивалось на ум. От этого уже недалеко было придти под конец к заключению о несчастной, извращенной природе мальчика, и после сожаления и негодования достичь, наконец, отвращения и ужаса. Так оно, если не ошибаемся, в самом деле и случилось.

Ограничиваемся этим кратким очерком семейных дел Пушкина, который мы и предприняли только для того, чтобы дать читателю правдивое понятие о первоначальном воспитании поэта. После всего в нем сказанного уже становится понятным единогласное свидетельство знавших дела семьи, что когда, в 1811 году, пришло время молодому Пушкину, ехать в Петербург для поступления в лицей, он покинул отеческий кров без малейшего сожаления, если исключим дружескую горечь по сестре, которую он всегда любил. Это подтверждает и друг поэта — И. И. Пущин. Будущий лицеист наш ничего не оставлял дома, и дом, провожая его в другую столицу, ничего не ожидал от него. Любопытно, что разрыв с семейством у Пушкина продолжался до 1815 года, когда успехи его в литературных упражнениях понудили тщеславного родителя его сделать первый шаг к примирению.

Заканчиваем эту главу сообщением дополнения к программе Пушкина для будущих несостоявшихся записок о годах своего детства и пребывания в лицее. Программа без этого дополнения была

уже напечатана в наших «Материалах» для биографии А. С. П. (1855 г.). Если бы программа была осуществлена поэтом, то, конечно, мы имели бы в литературе поучительную картину нравов эпохи и изображение главных ее личностей, после которой труд разъяснения дела значительно был бы облегчен для биографа. Вот это дополнение:

1811.

«Философские мысли. — Мартинизм. — Мы прогоняем Пилецкого.»

1812. 1813. 1814.

«Государыня в Сар. Селе. — Граф Кочубей. — Смерть Малиновского. — Безначалие.»

1815.

«Известие о взятии Парижа. — Приезд матери. — Приезд отца. — Стихи etc. — Отношение к товарищам. — Мое тщеславие.»

Мы скоро будем говорить о философских мыслях в лицее и об истории иллюмината Пилецкого, а теперь сделаем пояснение одного места в прежде напечатанной «программе», оставшегося не разъясненным, как и многие другие ее места. В нем Пушкин отмечает следующее: «Юсупов сад, землетрясение. Няня...» О землетрясении в Москве было уже говорено прежде, а Юсупов сад связывается с анекдотом из жизни Пушкина, когда он был еще годовалым ребенком. Няня его встретила на прогулке с государем Павлом Петровичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти. Государь подошел к няне, разбрал за нерасторопность и сам снял картуз с ребенка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со двором начались еще при императоре Павле.

II.

ЛИЦЕЙ.

1811 — 1817.

Воспитатели. — Характер преподавания и воспитания. — Что такое была свобода в лицее? — Литература в его стенах. — Выпуск лицейстов.

Старому Царскосельскому лицее посчастливилось у нас особенно, как в публике, так в литературе. Благодаря помещению лицея в загородном дворце государя, разобщению со столицей, которое поставлено было ему даже в закон, а также и слухам об исключительных заботах правительства, посвященных ему, — в обществе нашем возникло весьма высокое понятие о новом учебном заведении, а первый выпуск его воспитанников, представивший образцы получаемого там светского и литературного образования, еще укрепил веру в его значении. О литературе и публицистике нашей и говорить нечего. С самого возникновения училища и до последнего времени, они относились к нему более чем сочувственно и почти так, как можно относиться к событию первой важности для дела русского образования. Торжество открытия лицея в присутствии всего двора и знаменитейших сановников государства описывалось несколько раз, также точно, как и торжество первого выпуска лицейстов, и описывалось с искренним увлечением и великой подробностью. Мало того, порядки лицея, а также и жизнь первых учеников в стенах его удостоились весьма обширного, даже кропотливого описания в любо-

пытных статьях В. П. Гаевского и в специальном сборнике «Памятной книжке Александровского Лицея на 1856—57 г.». Вместе с заметками бывших его воспитанников — М. А. Корфа, Ив. Ив. Пушина и др., труды эти представляют нам полную историю привилегированного заведения, — историю, которой только могут позавидовать все другие наши школы, менее осчастливленные вниманием своих соотечественников. Понятно, что мы не будем повторять факты и подробности этой хорошо всем знакомой истории, а только прибавим к ней несколько соображений, которые, может статься, помогут уяснить некоторые наиболее существенные черты ее.

Нет никакого сомнения, что с лицеем, при основании его, связывались надежды создать образцовое заведение, которое с одной стороны могло бы стоять вровень с наполеоновскими Lycées и английскими College той эпохи, а с другой — дать образец деятельности чисто русской, национальной педагогики. На это весьма ясно намекает самый устав заведения. Чем другим, как не надеждой достижения подобной цели объясняется и мысль подчинить лицей прямому, непосредственному наблюдению министра народного просвещения, который получал вместе с донесениями об общем ходе образования в России подробные сведения о способностях, характере и степени прилежания каждого из учеников лицея. Министр, граф А. К. Разумовский, на первых порах был, по отношению к лицее, в одно и то же время министром, инспектором классов заведения и гувернером его: он клал резолюции также точно по важным вопросам преподавания, возникавшим в училище, как и по шалостям и проступкам населявшей его молодежи. Группа учителей, выбранная в руководители ее — Н. А. Кошанский, А. П. Куницын, Л. И. Карцов, И. К. Кайданов, потом А. И. Галич и др. — тоже свидетельствует об усилиях снабдить заведение лучшими представителями русской науки того времени. Трое из вышеупомянутых лиц были лучшими воспитанниками старого педагогического института¹, преобразованного, как известно, в с.-петербургский университет в 1819 году, и конечно, можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них мы не видим, в 1811 году, ни одного русского имени, которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена. Таким образом, все было,

¹ Проф. Куницын, Кайданов и Карцов были посланы от него за границу, для окончательного своего образования.

по-видимому, предусмотрено и намечено как в уставе, так и в приложении устава и осуществлении его для того, чтоб дать лицу значение соперника лучших учебных заведений Европы. Уже в отчете за первый год существования лица, конференция его гордилась способами обучения, ею усвоенными, «где каждая истина, — говорила она, — математического, исторического или нравственного содержания, предлагалась воспитанникам так, чтоб возбудить самодеятельность их ума и жажду дальнейшего познания, а все пышное, высокопарное, школьное совершенно удаляемо было от их понятия и слуха» (Отчет конференции за 1811—12 год, у Гаевского, в «Современнике» 1853 года). Позволительно, однако же, думать, на основании верных свидетельств, что конференция в этом случае более изображала собственный идеал преподавания, чем действительность. Так как жизнь вообще никогда не дает более того, что в ней заранее подготовлено, и во все самые пышные формы помещает только то, чем в данную минуту может сама располагать, то и здесь жизнь эта повела лицей совсем не по мысли основателей и не по идеалам их, а сообразно своей сущности, по собственному своему образу и подобию. Она-то и обманула все преждевременные надежды создать примерное педагогическое заведение в 1811 году на русской почве.

Было бы излишне говорить здесь о личном характере этих профессоров и системах преподавания, усвоенных ими: источники, приведенные выше, говорят об этом достаточно, и сообщения их по этому предмету, конечно, нисколько не страдают льстивостью, привлекательностью и эффектом своих красок. Особенно М. А. Корф, весьма компетентный судья дела, очень строго относится к ходу образования, существовавшего в лицее. Здесь достаточно будет вспомнить, что, по крайней мере, о трех из поименованных выше педагогов биографу совсем и не приходится говорить, если он имеет в виду их способы преподавания. Секретарь конференции и профессор Кошанский читавший древние языки и словесность русскую, еще поправлял сначала упражнения воспитанников в слог и беседовал с ними о великих образцах древности с любовью и увлекательностью, приобретшими ему внимание и расположение слушателей, но не выдержал до конца: со второго курса он покинул преподавание, заболел, как мы слышали, болезнью, отысканной Гоголем у всех умных русских людей вообще. Математик Карцов, тоже принявшийся сначала очень горячо за дело, вскоре остыл к нему, и так как он был от природы юмористом и весьма остроумным человеком, то и проводил классное время не в чтении математических лекций, к которым

никакого сочувствия в лицее не оказывалось, а в рассказах и выслушивании лицейских анекдотов, которые он подправлял своими замечаниями. Добродушный и слабый Галич, заместивший Кошанского в преподавании, пошел еще далее относительно угождения вкусам своих учеников, которые совпадали и с его собственными. Он, как известно, допускал устройство тайных студенческих пирушек в той самой комнате, которая ему отводилась в здании лицея на случай его приезда к своей кафедре философии. Выше их всех стоял, конечно, профессор логики и нравственных наук А.И. Куницын, как по достоинству своих убеждений, так и по прямоте характера, чуждавшегося служебных исканий и искавшего жизненной опоры в самом себе. Великолепные поэтические обращения Пушкина к нему и благодарное воспоминание всех других его лицейских слушателей достались профессору за то, что при самом начале курса он сообщал первые основания психологии собравшимся тогда вокруг него детям чрезвычайно объективно и образно, посредством рассказов, примеров, сближений и т.д., что всегда подкупает молодые умы и надолго в них остается. Позднее, когда во втором курсе профессор перешел к логике и философии права, он уже просто требовал буквальной выучки своих тетрадей, даже без всякого изменения слов, вероятно, не надеясь на самостоятельность мысли у своих слушателей или освобождая себя от труда способствовать ее развитию. Его упрекали вообще в склонности к ленивому, апатическому существованию. По свидетельству М.А. Корфа, беседы учителя французской словесности, известного *де-Будри*, гораздо более способствовали к укреплению мыслительных сил в воспитанниках, которых он постоянно старался приучать к отчетливому представлению и изложению того, что они слышали, видели, или что возникло в их голове. Мы должны прибавить, однако же, к этому отзыву, что Будри, родной брат Марата, по-видимому, не всегда выбирал для умственного развития лицестов и для бесед с ними предметы, соответствующие характеру заведения. Это оказывается, между прочим, из анекдота, записанного Пушкиным и сохранившегося в его бумагах, который здесь и приводим: «Будри, профессор французской словесности при Царскосельском лицее, был родной брат Марату. Екатерина II-я переменяла ему фамилию, по просьбе его, придав ему аристократическую частицу *де*, которую Будри тщательно сохранял. Он был родом из Будри. *Он очень уважал память своего брата*, и однажды в классе, говоря о Робеспере, сказал нам как ни в чем не бывало: *C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette*

fille un second Ravailac. Впрочем, Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминающую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный...» Добавим от себя, что Будри, перекрещенный на Руси, кроме того, еще и в Давыда Ивановича, уже имел предшественников в нашем отечестве, как, например, воспитателя графов С-ых, известного Ромма, впоследствии члена конвента, гильотированного термидорианами, и проч.

Конечно, при всех педагогических странностях, перечисляемых нами теперь, некоторое формальное знание предметов по утвержденной программе все-таки требовалось от учеников; но оно, во-первых, скоро достигалось, а во-вторых, в случае его недостатка, ловко маскировалось подставными вопросами и ответами, выбранными с общего согласия учителей и учеников: последние, успокоенные с этой стороны, уже свободно употребляли классы лицея для всевозможных произвольных занятий и бесед, нисколько не касавшихся той или другой науки. Говоря о педагогических странностях, нельзя опустить примера, доказывающего, что и сама администрация лицея способствовала немало к их расположению. Так, профессор Гауеншильд, основатель лицейского пансиона и человек весьма нелюбимый в училище за нрав свой, получил разрешение читать свой предмет, немецкую словесность, *по-французски*. Это было сделано для того, чтоб ознакомить с литературой Германии тех, которые презирали немецкий язык и не хотели изучать его, причем пожертвованы были все те, которые серьезно думали заниматься им, как справедливо замечает М.А. Корф. Пропускаем много других педагогических странностей в том же роде, обязанных своим существованием влиянию жизни и среды, из которых лицей почерпал своих сотрудников. Основы воспитания не были еще выработаны тогда ни у кого.

Если в таком виде представляется нам образовательная сторона лицея, то и другая, тесно связанная с ней, воспитательная сторона его повторила в иной сфере те же самые явления. После смерти первого своего директора (1814) В.Ф. Малиновского, брата известного археолога А.Ф. Малиновского, лицей без малого два года состоял под управлением членов своей конференции — профессоров, которые поочередно вступали в директорство, мешали друг другу и беспрестанно ссорились между собой, так что к концу этого срока, для восстановления порядка, в заведении, расстроеном его попечителями, оказалось нужным поместить в звание сперва инспектора классов, а потом и директора, военного человека из школы графа Аракче-

ева, отставного подполковника С.С. Фролова; но и этот воспитатель, энергически и очень своеобразно принявшийся за исправление школы, скоро был уволен, оставив по себе только массу шутовских воспоминаний. Весь этот период времени, вплоть до назначения, наконец, постоянным директором лицея уважаемого Е.А. Энгельгардта (начало 1816 года), Пушкин обозначает в приведенной нами программе своих записок эпитетом: время анархии. Другие воспитанники лицея называли ту же эпоху своего многодиректорства: междоусобием. Легко себе представить, как искусно пользовались лицейсты всей этой путаницей, где, при отсутствии общей системы воспитания, каждый очередной директор-профессор вносил с собой новые требования, мало обращая внимания на исполнение прежде состоявшихся: отсюда главной заботой молодого населения лицея делалось уже само собой достижение наибольшего простора для собственных своих вкусов и склонностей. Хорошим доказательством того, что они успели приобрести в это время права, нигде не признаваемые за учащимся поколением, может служить одно лицейское событие, носящее в программе Пушкинских записок заглавие: «Мы прогоняем Пилецкого». Инспектор классов, Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович, сектатор и мистик, попавший, под конец своей жизни, в монастырь за принадлежность к обществу накатчицы и пророчицы Татариновой, вызвал поголовное восстание лицейстов, по словам одних, своей религиозной навязчивостью, презрительными отзывами о семействах своих питомцев и иезуитским обращением, скрывавшем под личиной снисхождения много жестокости и коварства (барон М.А. Корф). Другие из тогдашних преследователей Пилецкого, которых нам удалось слышать, представляют характеристику его и все дело отчасти в другом свете. Они указывают именно на возмущенное *аристократическое* чувство лицейстов, как на первую, хотя и не единственную причину их самовольной расправы с инспектором. Пилецкий вздумал давать ласковые, но несколько фамильярные прозвания родственникам, сестрицам и кузинам, посещавшим в лицее воспитанников. Это обстоятельство показалось щекотливому чувству последних окончательно превышающим меру всякого терпения, и без того уже сильно потрясенного взыскательным, принижающим, ироническим обращением с ними воспитателя. Они собрались в конференц-зале, вызвали к себе инспектора и предложили ему дилемму: или удалиться из лицея, или видеть, как они потребуют собственного своего увольнения. Угроза, конечно, была не очень серьезного свойства, но Пилецкий отвечал хладнокровно:

«оставайтесь в лицее, господи!» — и в тот же день выехал из Царского Села навсегда (покойный Ф.Ф. Матюшкин). На чьей бы стороне ни была тут истина, достоверно одно, что выбор подобного инспектора противоречил основной мысли, из которой возникло само заведение. Впрочем, близость лица к анархии можно усмотреть с самых ранних пор его существования, даже при Малиновском. Чем иначе объяснить себе, например, разнохарактерность, царствовавшую в недрах ближайших помощников директора, надзирателей или гувернеров, где рядом с почтенным С.Г. Чириковым, состарившимся в своей должности, что, между прочим, могло произойти только при механическом ее исполнении, существовал более года гувернер А.И. Иконников, портрет которого оставил нам Пушкин и который, вследствие привычек неумеренной жизни, походил на сумасшедшего. Позднее еще было хуже: при директоре Фролове в число дядек-служителей успел пробраться даже уголовный преступник, имевший на душе, кажется, четыре или пять убийств.

Многое во внутренней жизни училища было исправлено, когда на важный пост директора вступил Е.А. Энгельгардт, при котором аристократическому чувству воспитанников уже не предстояло никаких испытаний. Наоборот, новый директор считал лучшей школой для молодежи общительность и светскость, развитые сношения с избранными кругами городского общества. Е.А. Энгельгардт был очень любим в лицее: он постоянно занимался сбережением так называемой *чести* заведения, горячо сопротивлялся нововведениям, которые могли бы извратить особенный, исключительный его характер питомника *хорошо-рожденных* детей и проч. Для всего этого, конечно, он уже принужден был скрывать и терпеть многие существенные его недостатки, начинавшие открываться отчасти и глазам посторонних людей. Оберегательство такого рода всегда и неизбежно соединено с потворством тому, что укоренилось в нравах и чему следовало бы противодействовать. Впрочем, на пятый год существования лицея и за один год с небольшим до выпуска первого курса, о новой системе уже нечего было и думать: школьное воспитание лицейстов почти что кончилось.

Результаты этого воспитания всего более сказались в усвоенных ими идеях о личной свободе и независимости, а потом в сильно развитом чувстве своего достоинства. Все это далеко, однако же, не походило на то, что лучшие педагогические теории Европы советовали воспитывать в молодых умах. Ни одна из первоклассных «*коллегий*» Англии, где воспитание признает относительную свободу уче-

ников важным элементом для образования их характера и укрепления воли, не согласилась бы предоставить им такую степень и такой вид независимости, какими пользовались лицеисты в черте родного своего города — Царского Села. Что они в своих мундирах с золотыми и серебряными, смотря по курсу, нашивками на воротничках были привычными посетителями всех гуляний, парадов и вечеринок, об этом говорить, конечно, не стоит; но существовали и привилегии другого рода для них: в последнем курсе и даже ранее они также точно посещали кутежи и пирушки гусарских офицеров, да не хуже их умели сплетать сети волокитств за горничными и нянюшками царскосельских жительниц, за актрисами домашнего театра, устроенного графом Варф. Вас. Толстым, и прибавим, на основаниях довольно патриархальных, так как артисты его нисколько не были избавлены от поощрений и наказаний отеческого характера. «Наташа», которой посвящено одно или два лицейских стихотворения Пушкина, принадлежала к первому разряду героинь лицейских, к нянюшкам; пьесы «К актрисе» — «Ты не наследница Клерон», обращены к представительнице второго — бедной крепостной артистке. Встречи на зимних катаньях с гор, а потом в тенистых аллеях Царскосельского сада, куда воспитанники часто пробирались, устраивались с надлежащей тайной и великой заботливостью, что, как известно, хорошо развивает чувственность вообще. Кроме того, в среде лицейстов по временам обнаруживалась и долго жила настоящая любовь: многим из них были уже совершенно известны все муки любви, обращенной к далекому, недостижаемому предмету, и все обычные спутницы такой любви — ревность, грусть, немые страдания и беспричинные восторги, — словом, они переживали еще в стенах своего заведения полную историю молодых проснувшихся страстей. Отсюда тот горячий и эротический характер лицейских стихотворений Пушкина, который, вероятно, еще укрепил в директоре Энгельгардте то невыгодное мнение о характере и природе поэта, которое приведено г. Гаевским в его статье¹; но воспитатель сильно оши-

¹ Энгельгардт замечал, что ум Пушкина, не имея ни пронизательности, ни глубины, — совершенно поверхностный, французский ум. Далее он прибавляет: «Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто (!!); в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувства унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания» («Современник» 1863 г., № VIII-й, стр. 376).

бался, заподозривая благородство самой души Пушкина и полагая сердце его пустым и извращенным с рождения. Пушкин доказывал противное еще в самом лицее, не говоря уже о последующей жизни. Легко было бы распознать светлую, изящную сторону его натуры даже и по чистым, платоническим элегиям его, тогда же написанным им под влиянием одной лицейской любви. Они ходили по рукам и

Последняя часть заметки имеет основание, но общий приговор, ею выражаемый, принадлежит к числу тех странных решений, которые во все времена слышались от официальных педагогов относительно замечательных детей, и которые потом удивляли потомство своею неосновательностью. В извинение заметки можно сказать, что не лучшего мнения о Пушкине были и некоторые его товарищи. Так, например, человек, имя которого очень высоко стоит в России и не безызвестно Европе, М.А. К., выражался очень строго о своем лицейском собрате: «Как в школе, — писал он в 1852 г., — всяк имеет свой собрикет, то мы его прозвали *французом*, и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французского языка; однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Вспыльчивый до бешенства, с необузданными, африканскими, как его происхождение (по матери), страстями; вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и лестницами, которые есть в каждом кругу — Пушкин, ни на школьной скамейке, ни после в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении... В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших, нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам... и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели думал и чувствовал...» Иначе смотрит на Пушкина другой товарищ его, короче с ним сблизившийся, И.И. П.: для него Пушкин доброе, даже нежное по преимуществу любящее существо, но требовавшее, чтобы качества его души были отыскиваемы посторонними. Много пояснил И.И. П. относительно нерасположения товарищей к Пушкину, и в дальнейшем нашем рассказе об этом обстоятельстве мы следуем преимущественно его указаниям. Вот еще какую заметку проронил он, рисуя портрет своего детского друга: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали; все, что читал — помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) со скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам, и раньше, и легче находят случай выучиться... Все научное он считал ни во-что, и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и проч. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным, не по летам, в думы и чтение — и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли...» (Записки И.И. Пущина. «Атеней» 1859, № 8-й). Понятно, что примирение этих противоречий, а также и разноречивых показаний свидетелей может произойти только тогда, когда будет найден литературой и воссоздан художнически-полный тип нашего поэта, в котором примирятся и улягутся, психически-объясненные, все черты и данные, по-видимому исключающие теперь друг друга.

могли бы заставить хорошего воспитателя задуматься о многосодержательном, изменчивом и впечатлительном характере своего воспитанника, а также, может быть, и приспособиться к нему. Но до обдуманных нравственных и педагогических мер лицейское начальство было далеко.

При Энгельгардте, как и при всех других, жизнь школы текла по пробитому руслу, как умела и могла. Множество анекдотов уже рассказано историками лицея о времени последнего пребывания Пушкина и его товарищей в школе. К сумме их можно еще присоединить анекдот о знатной даме, встреченной лицеистами в переходах дворца, принятой ими за горничную и испытавшей всю невыгоду такого *qui pro quo*, что, как говорят, ускорило даже выпуск их из лицея; анекдот о встрече Пушкиным в доме барона Велию, старшая дочь которого была общей любимицей молодежи, государя Александра Павловича, о путешествии их к баболовскому дворцу, памятником которого осталась неизданная надпись Пушкина и проч. Кстати сказать, что стихотворение «К Кагульскому памятнику» Пушкина (Воспомянем упоенный), отнесенное изданием его сочинений 1855 г., а за ним и последующим, к 1821 году, написано ранее (30-го мая 1819 г.) и содержит тоже намек на одну из любовных шашней, которыми был так богат первоначальный лицей.

Со всем тем можно было бы смотреть на все рассказанные здесь подробности, как на мелочи, не имевшие в сущности значительного влияния на общий ход воспитания, если бы мы видели в стенах заведения что-либо похожее на нравственное *противовесие* свободе и независимости, им допущенной. Но именно этого и не было.

Замечательно, что одновременно с лицеем процветало в столице другое учебное заведение, институт иезуитов, которое гордилось обладанием строгой, неизменной и глубоко обдуманной системы образования и управления; но система эта была такова, что закрытие института в 1815 г. и окончательная высылка иезуитов из России в 1820 году должны считаться лучшими мерами администрации того времени. Институт составлял, по духу, обычаям и направлению, совершенно противоположность с лицеем, хотя также назначался для детей высшего сословия в государстве и был ими наполнен. Сколько лицей оставлял простора молодым людям для ранней критики всех школьных установлений и для неисполнения их, столько иезуитский коллегийум требовал подчиненности распорядкам заведения и приучал детей к уважению авторитетов, над ними поставленных. В коллегийуме, например, допускались еще телесные наказания, к кото-

рым патеры его прибегали с крайней разборчивостью, но и с твердостью, не оставлявшей ни малейшего сомнения в умах детей о неизбежности возмездия за каждую попытку к излишней самостоятельности. Система аудиторов и внутреннего шпионства каждого за каждым была тоже отлично устроена. Преподавание имело преимущественно в виду изучение математики и классических языков; оно шло исключительно на французском диалекте. Православной катехизации и особенно русской словесности оставлены были только самые тесные, совершенно неизбежные границы, так что о литературных упражнениях или ранних авторских попытках на отечественном языке, отличавших лицей от всех других школ, здесь не было и помина. Затем и институт предоставлял своим воспитанникам известную долю свободы, но его свобода разнилась с лицейской тем, что увеличивала ответственность лица, ею пользующегося. Каждый из питомцев, также как и всякий лицеист, имел свою отдельную комнату, но у иезуитов входная дверь комнаты снабжена была небольшим отверстием для наблюдательного глаза брата-гувернера. Эти комнаты, составляя спальни учеников, предназначались и для уединенных их занятий. Один из старых учеников института, слова которого мы здесь повторяем¹, рассказывал нам, что каждая подобная уединенная комната, со всем ее простором и свободой, была страшнее общей рекреационной залы: в отверстии двери поминутно светился испытующий глаз наблюдателя и часто приводил в трепет даже самого скромного и прилежного ее обитателя своей неожиданностью. Это походило как бы на всегдашнее, невидимое присутствие обличителя и беды. Тот же свидетель сообщил нам и следующий анекдот. Раз случилось одному воспитаннику очень метко, по русскому обычаю, передразнить какого-то старого патера, что, разумеется, известными каналами, всегда существующими в иезуитских обществах, дошло тотчас же до слуха самого предмета насмешки. Оскорбленный патер, выбрав вечернее время, потребовал виновного в капеллу и, одетый в белый стихарь, принял его там на ступенях алтаря, при двух свечах, молча... Покуда молодой преступник в торжественной тишине и полумраке капеллы приближался к месту увещания, он уже был подавлен стыдом и раскаянием. Пораженному обстановкой сцены, ему самому показалось, что в лице патера он оскорбил святыню и самое божество. Так умели рассчитывать директоры института на силу детских впечатлений, имея в виду еще более свое будущее вли-

¹ Покойный граф Н. И. Ш., сам воспитывавшийся в коллегии.

яние, чем настоящее¹. Понятно, что упразднение такого института было совершенной необходимостью. Гораздо позднее явились у нас опять, по-видимому, очень цельные, строгие и до мельчайших подробностей обдуманые системы воспитания (кадетские корпуса). В основании устава этих училищ тоже лежало требование порядка и подчиненности, но уже они были до такой степени бедны внутренним содержанием, что бесплодие их (а бесплодие училища есть и осуждение его) открылось всем глазам и потребовало коренных учебных реформ. Все это в порядке вещей. Чем проще, грубее, а стало быть, и доступнее большинству идея, которая положена в основу воспитания, тем она легче осуществляется. Русская педагогика шла развязно и самоуверенно, когда с помощью карательных мер, роскошно прилагаемых, добивалась порядка и дисциплины, но оказывалась всякий раз беспомощной и несостоятельной, когда задавалась какими-либо несколько сложными, нравственными требованиями; и уже никуда не годилась, когда поднимала трудные вопросы, в роде вопроса о соединении школьной подчиненности и понятия о долге с развитием самостоятельности и прямого характера в учениках. Первоначальный лицей может служить поучительным примером такой педагогической несостоятельности.

От полной нравственной пустоты лицей спасался, однако же, своим литературным направлением, о котором уже упомянули. Литературное направление лицея было плодом случая или порока в системе, предоставивших дело образования самим молодым людям, в нем собранным. Мы не говорим, чтобы все слышимое лицеистами от профессоров пропадало втуне для всех их, чтобы не было между ними умов, прилежно занятых усвоением научной программы, существовавшей в лицее: мы только представляем общую картину лицея, оставляя в стороне исключения, даже блестящие, которые там несомненно примешивались, как и везде, к основному правилу. А основным правилом было самообразование почти на всей воле учащихся. В последнее время некоторые из наших педагогов выражали мнение, что подобное самодельное образование толпы учеников и есть единственное условие их нравственного развития, а всякое влияние со стороны есть не более как помеха ему и школьная тирания; но по крайней мере эти педагоги все-таки имели в виду, что у каждого

¹ Известно также, что православные дети исполняли и обязанности «служек» — *garçons du choeur* — при католических обеднях в коллегіуме, что предрасполагало их к обрядам и уставам чужой церкви.

такого свободно развивающегося мальчика существует уже основной нравственный капитал в народной культуре, в определенных воззрениях того сословия, к которому он принадлежит¹. Здесь и этого не было. Они принуждены были приискивать сами ответы на каждый вопрос, возникавший в их уме, и вот почему кинулись на библиотеку лицея, помещавшуюся в арке Царскосельского дворца. Она сделалась для его воспитанников единственным источником, из которого каждый почерпал свои вдохновения и мимолетные созерцания, сменявшиеся одни другими. Пушкин и в лицее сохранил страсть к чтению: мы уже знаем, что товарищи признавали за ним некоторое преимущество; он и тогда думал и говорил о таких предметах, какие им и в голову не приходили; он часто рассказывал им содержание своих чтений и не затруднялся при этом передавать им целые истории и романы, по большей части им вычитанные, которые он очень добродушно выдавал за плоды собственной фантазии. Важнее этих рассказов были, однако же, те решения важнейших вопросов религии, нравственности и жизни, до которых лицеисты доходили сообща, с помощью своего беспорядочного чтения и своего самородного философствования кружками или артелями. В программе записок Пушкина, приведенной нами, стоят слова: «философские мысли», а в другом месте — («Материалы для биографии А. С. П.», 1855) мы привели даже и проект его философской повести: «Фатама или разум человеческий», но сущности господствовавших между лицеистами учений и созерцаний мы все-таки хорошенько не знаем². Мы можем только догадываться об этом по тому обстоятельству, что в лицее существовали на школьных скамейках французские сенсуалисты, немецкие мистики, деисты, атеисты и проч. Достоверно также, что вся эта работа молодой мысли на собственный, так сказать, кошт не укрепила ни одной головы и не составила никому твердого жизненного основания: все это было забыто и сброшено с себя вместе с мундиром. Приобретение положительных знаний и даже просто формальное, школьное учение, каково бы оно ни было, тем и важны, что они обладают свойством поддерживать слабые натуры и давать им содержание, возвышающее их над уровнем собственных их умственных и нравственных способностей. Бедные натуры лицея

¹ Эту мысль особенно выражал граф Л. Н. Толстой, которого, несмотря на его увлечения и неудачи, нельзя не причислить к замечательным русским педагогам.

² Воспитанник лицея А. Илличевский извещал одного приятеля своего тогда же, что «Пушкин пишет комедию — философ» («Р. Арх.», 1864, № 10)

и покинули его бедными. Что касается до сильных и щедро одаренных личностей, которых там, кроме Пушкина, было тоже очень много, отсутствие правильного учебного курса и науки вообще показало им необходимость начать свое воспитание тотчас по окончании его в школе сызнова. По крайней мере, относительно Пушкина этот факт не подлежит уже ни малейшему сомнению. Добрая часть всей последующей его жизни занята была преимущественно переделкой и дополнением лицейского образования, и биография поэта, которая не укажет ход и моменты этого второго продолжительного обучения, всегда останется трудом неполным и слабым, какие бы любопытные анекдоты и подробности ни заключала в себе.

Нельзя также пропустить без внимания еще одного нравственного агента, который случайно достался на долю лицея и играл в нем значительную роль. Мы говорим об отечественной войне 1812 года и последующих заграничных компаниях наших. Народное чувство, волновавшее тогда Россию, сообщилось и всему населению только что возникшего училища, от мала до велика. Войска, проходившие через Царское Село, должны были слышать воинственные крики лицеистов, приветствовавших их из-за решетки своего сада. Вплоть до 1815 г. библиотека лицея полна была воспитанниками, узнававшими из газет и реляций судьбы и подвиги русских армий. Все, вычитанное там, составляло потом предмет долгих толков, соображений и гаданий молодежи, как между собой, так и с профессорами. Добрая часть классных часов уходила именно на эти толки. Благодарным патриотическим одушевлением лицей только и связывался с общей жизнью своего народа, с которым никогда не соприкасался в других случаях и о котором не имел ни малейшего понятия.

Устройство лицея, о котором мы старались дать понятие здесь, и положение его в царских садах только и могли развить страсть к поэзии и литературе в той степени, какую мы замечаем у его первых питомцев. Можно сказать, что это было единственное серьезное их дело. Убегать в тень густых, непроницаемых аллей и находить невыразимую отраду во вдохновенном *праздномыслии*, как выразился впоследствии сам гениальный поэт наш, можно было только при исключительно счастливой обстановке, при не возмущаемом досуге и свободной голове, не отягченной никакими помыслами о долге и обязанностях. В этих именно условиях находились все поэты и литераторы лицея — Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский и проч.; но как ни благоприятны были показанные условия для развития фантазии, не видно, чтобы, кроме Пушкина, кто-либо воспользовался ими

для приобретения надежного авторского материала. Все литературные занятия лицейстов, их журналы, произведения, опыты и замыслы разобраны теперь подробно, и, конечно, на основании их никоим образом нельзя было питать слишком радужных надежд на будущность молодых авторов, процветавших в этом рассаднике романсеров и эпиграмматистов. Со всем тем литературное направление, обнаружившееся в лицее, было приветствуемо, при своем появлении, торжественно и радостно весьма дельными и солидными умами той эпохи, как Карамзиным, например. Причиной такого общего одобрения и поощрения было, конечно, не свойство и обилие талантов, воспитанных лицеем, а само движение. Из заведения, целью которого было подготовка, как оно само заявляло, чиновников и деятелей на высшие посты в государстве, выходило поколение не только с литературным образованием, но и с намерением посвятить себя вопросам мысли, поэзии, искусства. Понятно, что явление должно было поразить круг знаменитых писателей эпохи, который оно обещало подкрепить новыми, свежими силами. Это отречение некоторой части молодежи от специального призвания, их ожидавшего, в пользу личного, тяжелого и притом скромного и плохо вознаграждаемого труда, казалось великим знамением эпохи. Легко было заключить, что такое решение не могло иначе явиться, как в силу глубоких нравственных требований, пробужденных в молодых умах, и никто не подозревал, что авторство лицея было произведением внутренней болезни, его поевавшей — именно умственной праздности. Слабые образчики этого творчества были совершенно заслонены первыми стихотворными попытками Пушкина, которые несомненно обнаруживали присутствие замечательного таланта. Чем далее шел Пушкин, тем сильнее укреплялось мнение, что самые основы лицейского образования, способные, между прочим и так сказать в промежутках своего настоящего дела, создавать или поддерживать такие таланты, каким оказывался поэт наш, должны быть очень сильны и плодотворны. Все глаза обратились на этого представителя мощи и многообразности лицейского воспитания, и надо сказать, что никто и никогда не начинал литературного поприща у нас с такими условиями успеха, с таким обилием всяческих поощрений и похвал, как Пушкин. С другой стороны, открытие поэтического таланта в молодом человеке праздновалось Карамзиным, А. Тургеневым, Жуковским — старыми знакомыми его дома — как семейная радость. Можно предполагать, что если бы Пушкин и не обнаружил впоследствии всего обилия и содержания своего гения, знаменитые люди, окру-

жавшие его смолоду, составили бы ему и без того препорядочную репутацию, как это случилось с некоторыми из тогдашних литераторов. Но Пушкин превзошел все их ожидания и имел право увековечить впоследствии ощущения, вызванные в нем первыми посещениями музыки, которая стала являться к нему и осветила своим присутствием маленькую комнатку, отведенную ему в лицее. Кто не знает этих стихотворений? Мы скажем несколько слов об этой самой комнатке.

Покойный И. И. Пущин оставил любопытное описание внутреннего расположения лицея. В нижнем ярусе четырехэтажного здания находилось управление, квартиры директора и служащих лиц; во втором — столовая, конференц-зала, больница; в третьем — классы, рекреационная зала, библиотека; четвертый верхний этаж образовал длинный коридор, пробитый через капитальные стены: по обеим сторонам его находились небольшие комнатки за номерами. Это были дортуары воспитанников, и в каждом из них помещались железная кровать, комод, конторка с чернильницей, стул перед ней и стол для умывания. Решетка сверху комнаты позволяла наблюдать за порядком в спальнях; губернёр имел свою комнату в конце коридора; ночью дядька-служитель гулял вдоль него и поддерживал огонь ночника. Одна из таких комнат за № 14-м досталась Пушкину: тут он провел шесть лет своей жизни и здесь произошло то явление музыки, которое он воспел и которое, по словам его, изменило внезапно всю духовную жизнь его. Но многое и другое происходило в этой же комнате: она была свидетельницей нравственных страданий своего жильца, ибо нравственные страдания, как и пылкие страсти, посетили его очень рано. Пушкин проводил ночи в разговорах, через стенку, с другом своим, оставившим нам эти сведения и занимавшим один из соседних номеров, а содержание этих поздних бесед, преимущественно, состояло из жалоб Пушкина на себя и других, скорбных признаний, раскаянья и, наконец, из обсуждения планов, как поправить свое положение между товарищами или избежать последствий ложного шага и необдуманного поступка. Этот поверенный сообщал нам также и о горьких слезах, часто орошавших, в тишине бессонной ночи, подушку молодого человека из № 14. Дело в том, что Пушкин, по словам его, наделен был от природы весьма восприимчивым и впечатлительным сердцем, на зло и наперекор которому шел весь образ его действий, заносчивый, резкий, напрашивающийся на вражду и оскорбления. А между тем способность к быстрому ответу, немедленному отражению удара или принятию

наиболее выгодного положения в борьбе, часто ему изменяла. Известно, какой огромной долей злого остроумия, желчного и ядовитого юмора обладал Пушкин, когда, сосредоточась в себе, вступал в обдуманную битву со своими литературными и другими врагами, но быстрая находчивость и дар мгновенного, удачного выражения никогда не составляли отличительного его качества. Притом же, в школьной жизни особенно нельзя уберечься от неожиданно грубых вызовов. Пушкин не всегда оставался победителем в столкновениях с товарищами, им же и порожденных, и тогда, с растерзанным сердцем, оскорбленным самолюбием, сознанием собственной вины и с негодованием на ближних, возвращался он в свою комнату и перебирая все жгучие впечатления дня, выстрадывал вторично все его страдания до капли. То же было с ним и впоследствии. Школа уже предвещала его жизнь и в малом виде представляла ее изображение.

Наконец, пришло и время выпуска. Несомненные признаки возмужалости лицеистов, о чем упоминали, вероятно, ускорили этот последний акт, который свершился ранее тремя месяцами положенного, именно 9 июня 1817 года, после предварительного экзамена воспитанников, походившего, вследствие взаимных соглашений всех его участников, скорее на домашнее представление, чем на экзамен. 9 июня снова явился Государь в конференц-зале созданного им лицея, но уже не в сопровождении всего двора и важнейших государственных сановников, как при его открытии, а только с новым министром народного просвещения, князем А.Н. Голицыным, тоже имевшим, как увидим после, весьма сильное влияние на жизнь Пушкина. Много событий протекло в течении шестилетнего промежутка между возникновением школы и первыми ее плодами. Государь открывал лицей при грозных тучах, облежавших Россию со всех сторон, и возвращался к нему победителем врагов, с титулом освободителя Европы. Как будто сознавая эту разницу в своем положении отечества, Государь был не только весел и милостив, но нежен с персоналом лицея. Он сам роздал призы и аттестаты воспитанникам, и объявив значительные награды, как им, так и наставникам их, ушел, отечески распрощившись со всеми. Это было его последнее посещение лицея. Затем лицеисты пропели прощальный гимн Дельвига с музыкой Телера и на другой день распущены были по домам. Таким образом кончился для Пушкина курс лицея. Он выходил из него, как и большая часть его товарищей, с горячей головой и неустановившейся мыслью: никакого убеждения, никакого твердого и ясного представления не было добыто ими ни по одному предмету человеческого

существования вообще, ни по одному явлению русской жизни в особенности. Они выносили из него отвлеченное понятие о свободе, щекотливое самолюбие и весьма живой, чувствительный *point d'honneur*: это были единственные орудия, которыми они были снабжены для образования из себя нравственных единиц, дельных тружеников и мужественных характеров. Замечательные люди, принадлежащие к этому первому выпуску и сделавшиеся известными именами русской администрации и гордостью своей страны, свидетельствуют только о силе собственных своих нравственных средств, далеко раздвинувших границы полученного ими от лица образования. За порогом училища начинался для них, как уже было сказано, новый курс, где они сами были и судьями, и орудиями своего научно, политического и общественного развития.

Теперь посмотрим, куда собственно выходил Пушкин.

III.

БОЛЬШОЙ СВЕТ.

1817 — 1820.

Политическое состояние общества. — Различные круги светской молодежи. — Шумная и рассеянная жизнь Пушкина. — Он принимается за эпиграммы и стихотворные памфлеты. — Возникновение тайных союзов, общий характер тогдашней светской культуры. — Что получает в наследство Пушкин от первых и от второй?

С неутомимой жадной изведать мир и общество, открывавшиеся перед ним, ринулся Пушкин в свет и, конечно, на первых порах, не почувствовал никакой нужды выбирать свои знакомства или осторожно обращаться с новой жизнью, куда вступал без всякой руководящей мысли.

Как воспитанник лицея, Пушкин может считаться сам произведением тех плодотворных начал, которые с воцарением императора Александра I раздвинули границы народного образования, положили основание новым университетам и училищам, а со знаменитым указом 6-го августа 1809 года, поставили даже весь служебный мир в зависимость от школы, благодаря устроенной тогда связи между иерархическим повышением и ученым дипломом или публичным экзаменом. Другой не менее знаменитый указ, 20 января 1819 года, награждавший прямо известными чинами воспитанников при выпуске их из государственных учебных заведений, как это было сделано прежде всего с лицеем, привлек в стены университетов и гимна-

зий много новых посетителей и перемешал все свободные сословия наши так, как они не были еще перемешаны до тех пор. Со всем тем, великая преобразовательная мысль, подсказавшая как эти, так и многие другие реформы в администрации, прерванная на время отечественной и заграничной компании, уже никогда не возвращалась к первоначальной своей энергии. Пушкин вышел, например, из лицея накануне, так сказать, ахенского конгресса (осень 1818 г.), принявшего, как известно, меры для ограничения вредных последствий излишне свободной европейской печати, что отразилось у нас необычайными строгостями цензуры: относительно литературы нашей, ничем не заявившей склонности к политическому бунту. В этом же году преобразовательная мысль удалась из центра империи на окраины ее, в Польшу и Литву, и там устраивала местные интересы на таких широких основаниях, которыми возбуждали зависть русских обделенных патриотов и казались им даже началом раздробления самого государства. После недолгого колебания внутренней политики в 1819 г., еще сопротивлявшейся благодаря усилиям И.А. Каподистрии, внушениям австрийских реакционеров, преобразовательная мысль окончательно потухает и у нас. Не далее как в 1820 году являются на свет подавляющие и обскурантные теории Магницкого, по ним уже и начинающего свое разрушение казанского университета и проч. Конгресс в Троппау (1820 г.), совпадающий с происшествием в Семеновском полку, и конгрессы в Лайбахе (1821 г.) и Вероне (1822 г.) определяют затем направление дел в России так ясно, что сомневаться в повороте преобразовательной мысли на другую дорогу не предстояло возможности. Появление Пушкина на арене света приходится, таким образом, именно к началу этой непредвиденной остановки в естественном развитии и ходе новых учреждений, что не одного его сбilo с толку и лишило возможности видеть настоящий свой путь между двумя порядками жизни, одинаково сильными и требовательными.

Истинное спасение людей в подобные затруднительные эпохи истории составляет, без сомнения, общий характер накопившихся материалов образования в известной стране, те нравственные и политические начала, какие она успела уже выработать для себя. Они помогают спокойно ожидать прохода мутной струи случайных обстоятельств, которая не в состоянии поглотить самые основы приобретенной цивилизации. Ни такого общего характера образования, ни таких начал не существовало еще у нас в то время. Университетское поколение, которое одно могло их представить, еще не нарождалось.

Оно показывается у нас не ранее тридцатых годов. Пушкин его не знал добрую половину жизни и встретился с ним только на конце своего поприща, приветствуемый новыми людьми с любовью и восторгом, каких, может быть, и не ожидал от них. Еще не было тогда людей, связанных общностью научного и нравственного воспитания, а существовали только образцы разнокалиберных, разнохарактерных, вольных, так сказать, образований и направлений, которые ничего общего между собой не имели, а связывались механически употреблением одного и того же французского языка, с большей или меньшей развязностью. По выходе из лицея, Пушкин как раз подошел к тому времени, когда эти образчики различных степеней культуры, собранные в столице службой, заняты были мыслью и истощались в усилиях сговориться и сблизиться друг с другом, на каких-либо основаниях, на каком-либо деле, одинаково понятном для всех.

Новые постановления, вызывавшие и устраивавшие публичное образование на Руси, не тронули, однако же, одной исторической тропы, по которой дети высшего и зажиточного дворянства восходили ко всем видам и родам государственной службы уже более столетия, именно военной. Она и теперь осталась вполне открытой для них, избавляя их от конкуренции с разночинцами и от уступки духу новых демократических учреждений. В кругу этой светской и богатой военной молодежи Пушкин именно и нашел первые свои знакомства. Многие из литераторов сами принадлежали к нему, да и вообще блестящее сословие гвардейских офицеров давало тогда свой тон и окраску всему молодому поколению, не исключая и тех лиц, которые, по роду службы и призванию, к нему не принадлежали. Это сословие создало свой собственный тип изящества и благородства, казавшийся непогрешимым идеалом для целого поколения, которое старалось понять и перенять его — и это не в одних столицах, а на всех концах империи. И совсем тем сословие не имело нисколько целостности и однородности сильной корпорации, как можно было бы предполагать: оно еще делилось по образованию своих членов, по началам, понятиям и убеждениям их на множество несходных и противоположных кругов, как и само общество. В среде его были люди, едва одолевшие легкий, вступительный экзамен, положенный для определяющихся, и были люди с европейским космополитическим образованием, которое некоторыми из них приобреталось из первого источника, за границей. Деление и тут не кончалось: в последнем разряде высились еще отдельно и самостоятельно личности, серьезно занимавшиеся теми вопросами современной политики, истории и

этнографии, которые возникли в Европе после падения ее самовластного опекуна, Наполеона I-го. Были различия еще более крупные.

Оттенок либерализма, господствовавший в передовых людях военного сословия и бросающий на него особенно яркий и эффектный блеск, не мешал процветать на той же почве страстным ревнителям тогдашней дисциплины и суровой военной практики. Под говор суждений и ученых толков своих товарищей, служаки эти спокойно продолжали требовать от природы русского человека сверхъестественных подвигов выправки, поставляя за честь приводить в трепет массу взрослых людей одним своим взглядом и не обращая внимания ни на какие протесты ближайших начальников своих. В покровительстве, какое они находили свыше, сказывалась основная черта этого периода нашей истории, *сознательно* допускавшего одновременное существование зачатков нового развития с порядками старой эпохи. Надо прибавить, что именно эта черта и действовала на горячие натуры особенно болезненно и раздражительно.

Если найдется историк самого русского общества для этой многоцветной и своеобразной эпохи, то ему уже необходимо будет к портретам таких гвардейских офицеров, как П.Я. Чаадаев, П.А. Катенин, Марин, Кривцов и мн. др. присоединить и биографии знаменитостей другого рода, тех казарменных героев, приводивших в ужас все им подчиненное, имена которых были так громки и славны в свое время, что пережили его, и стали забываться не очень давно.

Из всех этих разрядов, кроме последнего, слишком глубоко погруженного в свои специальные занятия, выделялся еще тогда один кружок, который уже ни о чем другом не думал, кроме эпикурейского наслаждения жизнью. Правда, что сущность этого эпикурейства он полагал в одном громадном, богатырском разгуле, сохранявшемся долго в воспоминаниях современников. Круг этот не был исключительно военным: он числил промеж себя молодых людей всех званий, и к нему-то Пушкин и пристроился тотчас после выхода из лица. Все дело состояло тут в задаче расточать, как можно полнее, развязнее, без оглядки и расчета, свое состояние, у кого оно было, свое время, физические и нравственные силы свои, сохраняя при этом только сословную гордость и презрение к орудиям, которые герои кутежей употребляли для своей потехи. Разгул получил даже вид доблести, потому что соединялся с рискованными шалостями, вызывавшими на самопожертвование, что сообщало ему особую заманчивость в глазах молодежи, которая охотно предается удовольствиям, сопряженным с опасностью. Явилось соревнование в изобретении

наиболее отчаянных, скандальных проказ, а также хвастовство тем запасом жизни, который сожжен был при том или другом случае. Как ни велико было богатство физических сил у Пушкина, но он все-таки два раза лежал, в течении трех лет, на краю гроба, в горячке, именно по милости постоянных возбуждений организма, не выдержавшего всей удали этого богатырского кутежа. Мы никак не могли опустить этой биографической черты в нашем рассказе, потому что с нею связываются очень много стихотворений Пушкина, очень много его воспоминаний, посланий, намеков, а наконец, и то обстоятельство, что она, отметив его существование в столице, была причиной общего мнения о неспособности его к дельному труду, к серьезному размышлению и к самообладанию¹ вообще.

Все эти Ш*, Ю*, Э*, К* (полные имена приведены в собрании стихотворений Пушкина) были, действительно, руководителями его на поприще расточительного беспутства, которое было не под силу и в материальном смысле ограниченным средствам поэта, часто не располагавшего, как сам сознается, и копейками для оплаты извозчика. Новые друзья его представляли, так сказать, аристократию разгула. От этого, может быть, подвиги их и держались так долго в памяти людей и пересказывались с таким упоением в провинциях. Пушкин отдаривал своих руководителей стихами и посланиями, наравне с модными тогда прелестницами — Штейнгель, Ольга Массон (см. пьесы: «Выздоровление», «Ольга, крестница Киприды»). Замечательно, что люди, так охотно убивавшие свою молодость, были не только веселые и остроумные люди, но и хорошо образованные, по-своему, и очень даровитые: между ними встречались дельные личности, ус-

¹ Какие разнообразные и затейливые формы принимал тогдашний кутеж, может показать нам общество «Зеленой лампы», основанное Н. В. Все-м и у него собиравшееся. Розыскания и расспросы об этом обществе обнаружили, что он составлял, со своим прославленным калмыком, не более, как *оргиаческое* общество, которое, в числе различных домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, погибель Содомы и Гомморя и проч., им устраиваемых в своих заседаниях (см. статью г. Бартенева: «Пушкин на юге»), занималось еще и представлением из себя, ради шутки, собрания с парламентскими и масонскими формами, но посвященного исключительно обсуждению планов волокитства и закулисных проказ. Когда в 1825 г. произошла проверка направлений, усвоенных различными дозволенными и недозволенными обществами, *невинный*, т.е. оргиаческий характер «Зеленой лампы» обнаружился тотчас же и послужил ей оправданием Дела, разрешавшиеся «Зеленой лампой», были преимущественно дела по Театральной школе, куда некоторые из ее членов старались даже пробраться под видом говения. Школа имела свою церковь. Вероятно, тут же слушались и анекдоты из насущной скандальной хроники общества, в роде анекдота с театральной майором, где первым действующим лицом был сам Пушкин, и тому подобных.

певшие потом с остатками уцелевшей энергии выказать значительные способности. Серьезная подготовка некоторых из них составляла довольно пикантную противоположность с их образом жизни и обычными занятиями. Знаменитый Каверин, например, не знавший никогда, по уверению современников, ни усталости, ни поражения в обычных подвигах этого кутежного братства, был еще слушателем в геттингенском университете, где он оканчивал свое образование, не более, не менее, как Н.И. Тургенев. Защитники этих русских Лукуллов и Катилин (а они находили защитников и в очень высоких сферах общества) утверждали, что причину всех их излишеств должно искать в праздности, на которую обречены были их душевные и умственные силы; но если причина и существовала, то к ней примешалось уже столько других влечений, выдуманных потребностей, искусственных возбуждений и, наконец, простого баловства жизнью и состоянием, что серьезно останавливаться на ней нет никакой возможности.

В одной из тетрадей поэта, принадлежащих к этой эпохе; встречается замечательный рисунок карандашом, набросанный им вообще не без искусства. Рисунок изображает мужчину за столом, обремененным бутылками; вблизи какая-то женщина, имеющая подобие фурии или вакханки в последней степени винного экстаза, сбивает балетным движением ноги одну из бутылок со стола на пол; другой мужчина, отягченный винными парами, прислонясь к стене, закуривает трубку; всей группе прислуживает «*смерть*» в образе старого слуги, пробирающегося осторожно между остатками пиршества. Рисунок этот имеет теперь почти что символическое значение относительно тогдашней жизни Пушкина в Петербурге, да он же, по всем вероятностям, передает и какое-либо действительное событие¹. Смерть, в самом деле, часто прислуживала на пирах, кончавшихся дуэлями. Дуэли были тогда в полном ходу. Дуэлей искали. Кто тогда не вызывал на поединок и кого тогда не вызывали на него?! Напрашиваться на историю считалось даже признаком хорошей породы и *чистокровности* происхождения, что помогало многим, употребляя один этот прием, скрывать долго ничтожество своего ума и характе-

¹ Покойный Я.И. Сабуров, свидетель эпохи, узнавал в фигуре мужчины за столом того же Каверина, о котором сейчас говорили. Известно, что Каверин был секундантом у гусара Завадовского в дуэли, наделавшей тогда много шума и стоившей жизни противнику Завадовского — Шереметеву. Дуэль возникла из ссоры обоих соперников за танцовщицу Истомину, согласившуюся принять *вечер* у одного из них.

ра. Человек, сделавший из дуэли свою специальность, известный Якубович, пользовался необычайной популярностью в свете и приобрел в воображении молодых людей размеры и очертания почти что эпического героя, хотя его жалкое понимание себя и своего времени, его склонность к фразе в словах и поступках не давали ему особенного на то права. Очарование, производимое, однако же, этим героем, было так велико, что Пушкин вопрошал А. Бестужева еще в 1825 г. из Михайловского, где тогда жил: «Кто писал о горцах в «Пчеле»? Не Я-ч ли, герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева. *В нем много, в самом деле, романтизма*». Так под романтизмом можно было разуть тогда еще и иную жизнь, без правил, но с претензиями и выходками, более или менее нагло-эффектного характера.

Общая склонность к вызовам и дуэлям не прошла без следа и для Пушкина. Она оставила корни в его сердце и особенно развилась во время пребывания на юге России, где породила множество историй, рассказываемых и доселе. Она утихала и ослабевала потом с годами, но медленно, всегда готовая возникнуть с прежней энергией. Аристократический способ разрешать дуэлью все противоречия в жизни казался до того естественным, что приходил ему на ум даже по поводу литературных споров. Так, письмо его из Одессы к издателям «Сына Отечества» (1824, № XVIII), где он заявлял единомыслие свое с князем Вяземским по определению классиков и романтиков эпохи, начинается у него словами: «В течении последних четырех лет мне случилось быть предметом журнальных замечаний. Часто несправедливые, часто непристойные, иные не заслуживали внимания; на другие *издали отвечать было невозможно*». Прибавим, что он никогда, во всю жизнь, так и не отвечал на литературные нападки, как намекает в своей фразе: она вылилась без ведома его мысли, на подобие закоренелой привычки, полученной с ранних лет.

По наружности казалось, что Пушкин принадлежит душой и телом своим новым товарищам по гоньбе за сильными нервными потрясениями и за приключениями всех возможных родов: многие и действительно полагали тогда, что он не вырвется из среды их ранее полного физического истощения и полной нравственной усталости. Пророчество их не сбылось. В природе этого человека уже начинало сказываться то особенное свойство ее, по которому Пушкин всего сильнее чувствовал отвращение к крайностям и увлечени-

ям, когда они всего сильнее одолевали его ум и сознание. Так случилось именно и в эту пору развития. Товарищи его по веселой, беззаботной растрате жизни, ума и способностей еще считали его в числе надежнейших своих членов, а уже Пушкин начинал обращать от них взоры в другую сторону; именно в ту, где можно полагать существование иного круга людей, с иными целями в жизни. Оттуда являлись, по временам, образчики и представители какого-то нового учения, говорившего о задачах в жизни и о началах, не похожих на те, которые были усвоены им самим. Этот еще невидимый круг, волновавший его воображение посреди пиров и развлечений, был антиподом того общества, промеж которого он жил. Не одно любопытство было возбуждено в Пушкине случайными встречами с загадочными людьми, имевшими строгий вид пуритан, как их и называли тогда, но просыпалось тревожно и нравственное чувство, сбереженное им целиком в душевной атмосфере вакхических и всяких других сходов.

Гораздо позднее сам Пушкин обрисовал мимоходом, но очень метко, одним, так сказать, штрихом нравственную физиономию этого строгого кружка. В одной из неоконченных повестей, начатых по-этом незадолго до женитьбы и явившейся в печать много лет спустя после его смерти («Отрывки из романа в письмах», т. VII сочинений Пушкина, изд. 1857 г.), он влагает в уста гвардейского офицера 1828 года замечательную речь в ответ на упрек в отсталости, который был сделан ему приятелем за склонность к волокитству и к любовным интригам: «Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, а ты отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат 1818-му году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг; нам неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, что все это переменялось. Французская кадрили заменила Адама Смита. Всякий волочится и веселится, как умеет. Я следую духу времени, но ты *si-devant un homme-stereotyp*. Охота тебе сиднем¹ сидеть одному на оппозиционной скамеечке и глазеть по сторонам».

Трудно выразить лучше и полнее в немногих иронических строках различие созерцаний у двух умственных эпох последнего нашего времени; сравнение это, конечно, разрешается не совсем в пользу той из них, которая начиналась с 1828-го года. Действительно, пре-

¹ В оригинале Лафайэтом.

жние светские люди военные и не военные, представлявшие интеллигенцию русскую в промежутки между 1818—25-м годами, занимались умозрительными и важными рассуждениями, проповедовали строгость правил и политическую экономию, говорили на балах с дамами об Адаме Смите и проч., но они делали еще и нечто другое, что Пушкин только подразумевает в своем очерке. Они составляли таинственные, интимные кружки, в которых уже разбирались вопросы политического свойства и содержания. Этими кругами и продолжалась та работа соглашения различных наших *образованностей* на какой-либо одной общей теме, которая началась давно, но пришла к серьезным результатам только в 1818 году. В этом году, после короткого пребывания в Москве, гвардия вернулась в Петербург с уставом «союза благоденствия» — тайного политического общества, которое окончательно сформировалось в первопрестольной нашей столице, под шум праздников и балов, ознаменовавших посещение Москвы двором и союзником нашим 1813—15 годов, королем прусским.

Самая сильная сторона этого знаменитого общества заключалась в пропаганде, которой оно занялось в Петербурге, вербуя себе новых членов и указывая им на обязанности перед собой и перед отечеством, о которых никто и не думал прежде. Нам все равно знать, занесено ли было это движение из-за границы, вместе с возвращением русской армии на родину, или родилось само собой, как следствие более развитой общественной культуры, чем прежде, или даже, как следствие первоначальных реформ самого царствования: все три предположения могут быть одинаково справедливы, и друг друга несколько не исключают. То достоверно, что «союз», благодаря своей *воспитательной* пропаганде, ввел в обычное течение петербургской жизни неожиданную, яркую и кипучую струю. Присутствие чего-то небывалого и особенного в жизни чувствовалось невольно всеми, даже самыми рассеянными людьми, как мы видели на примере Пушкина; правительство догадывалось о появлении нового, невидимого деятеля в обществе не менее кого бы то ни было. Пропаганда «союза», преследуя свои цели образования и воспитания умов, поднимала вместе с тем и много вопросов современного гражданского устройства России, на которые никто еще не был готов отвечать; указывала многие обязанности людям, которые не совсем совпадали с тем, что требовалось от людей обычаями и заведенными порядками жизни. Оппозиционный характер пропаганды обнаружился с первых же ее шагов; но общество не удовольствова-

лось тем, а перешло, по стечению обстоятельств, на почву чисто-революционных стремлений, чем и подписало себе смертный приговор.

Оставляя в стороне вопрос о том: мог ли «Союз», будучи тайным обществом, долго держаться на одной своей ученой, социальной и нравственной пропаганде, обратимся прямо к факту. Когда, вследствие рокового хода своего развития, или вследствие гнета обстоятельств, общество приняло чисто-политический характер и революционный оттенок, то это дополнение или изменение его программы понизило все задачи общества и было для него шагом назад. В памяти людей общество сохранилось единственно за свою первоначальную, нравственную и культурную пропаганду, за старания оторвать умы от праздного и легкомысленного существования и направить к дельной работе, за усилия пробудить в сердцах тот род спасительного беспокойства, который предшествует обыкновенно возникновению всякой серьезной деятельности. Первоначальная программа требовала некоторой подготовки со стороны членов и не могла быть осуществлена без знания общественных дел, без изучения условий нашего социального быта и без долгих размышлений о способах его исправления, на основании науки и сравнительной истории других государств. Все это становилось лишним, когда на первом плане водворилась радикальная тема, которая по лживой своей всеобъемлемости, свойственной таким темам, освобождала всех от обязанности искать разрешения трудных вопросов путем исследования их. Тема предлагала совсем готовое разрешение и притом такое, которое ничего не требовало от людей, кроме смелости. «Союз» облегчил обязанности своих членов до последней крайней степени, и взамен того получил — толпу. Толпа эта и составила его наказание. Наплыв членов, с пустыми затеями щегольства своей принадлежностью к оппозиционному лагерю или даже со злонамеренными целями одинаково воспользоваться и успехами и неудачами общества, был таков, что конноводы его принуждены были подумать о распусчении «Союза», которое действительно и состоялось на съезде его представителей в Москве, в 1821 году.

Не более счастливо было относительно серьезности своего персонала и «Северное Общество», возникшее на развалинах уничтоженного «Союза». Оно нашло очень строгих судей в числе тех, которые стояли к нему весьма близко¹. Позднее, из видов оправдания

¹ Так почтенный Ник. Ив. Тургенев произносит об нем приговор более чем суровый, именно иронический приговор в своей брошюре: «Ответы Тургенева, 1867 г.»

общества, образовалось мнение, что крайние революционные стремления принадлежали в нем отдельным личностям, составляя исключение в его деятельности, которая направлена была преимущественно на изменение и возвышение идей и понятий кругом себя и имела ровно столько политической окраски, сколько имеет ее каждое явление социальной жизни. Но с принятием этого мнения приходится опустить из вида характеристическую черту нравов и умственного состояния эпохи, которая имеет за собой полную историческую достоверность. Прямая политическая и революционная программа общества была для современников его именно тем магнитом, который привлекал к нему неофитов; надежда разрешить сразу, без труда и долгих умственных напряжений, все затруднения времени одним государственным переворотом, соответствовала степени умственного развития эпохи и жила во многих сердцах. Существовал разряд людей, и очень многочисленный, который веровал в самое слово — переворот, не вдаваясь в разбор его смысла и содержания; были люди, готовые жертвовать за переворот, каков бы он ни был, своей жизнью и судьбой. Даже лица, ясно видевшие недостаток в своем обществе средств и способов приобрести значение серьезного дела, еще думали, что случай подскажет обществу, в нужное время, все то, до чего оно не могло дойти и додуматься в своих заседаниях. Этим общим настроением эпохи объясняются и постоянные усилия Пушкина добыть себе место в тайном обществе, существование которого он уже подозревал.

Но он так и не добыл его. Правда, в эпоху процветания «Северного Общества», Пушкина уже не было в Петербурге, но и предшествовавший ему «Союз», столь гостеприимный для всех, крепко держал двери свои назаперти перед поэтом. Также точно поступили с ним и члены южного общества, когда он очутился промеж них, после своей высылки из Петербурга. Он, можно сказать, жил тогда, окруженный заговором, который имел своих представителей на юге, в лице В.Л. Давыдова, С.Г. Волконского, А. В. Поджио — друзей и

(по поводу некоторых замечаний о наших тайных обществах в книге Е. П. Ковалевского «Граф Блудов»). Он утверждает, что под конец общество занималось шутовскими церемониями приема новых членов, и что вообще заседания его возбуждали осуждение и нескрываемые улыбки презрения со стороны наиболее развитых членов братства (стр. 26 и 27 «Ответов»). Он добавляет свои известия замечанием: «Многие вступали в общество, но, вступая в него в одну дверь, выходили в другую». Он неправ только в том, что на основании малого политического смысла, обнаруженного обществом, отвергает и политический характер вообще, ему приписываемый.

родственников семьи Раевских, столь любимой поэтом: он находился с ними в постоянных, дружеских и задушевных сношениях. Ничем другим нельзя объяснить этой сдержанности и замкнутости тайных кругов, по отношению к Пушкину, кроме молчаливого их решения — предоставить его своему настоящему призванию и делу, и таким образом случилось, что Пушкин семь лет сряду стоял посреди заговора, омываемый, так сказать, волнами его со всех сторон, и не нашлось ни одной, которая бы унесла его с собой в пропасть, где так много погибло его друзей, товарищей и ровесников.

Понятно, что долгая жизнь в атмосфере тайных обществ не могла не отложиться на душе и характере Пушкина некоторых приемов и навыков мысли, которые потом сделались любимыми и отличительными его приемами. Так, уже гораздо позднее, в петербургский период его жизни (1830—37), его горделивый способ держаться на глазах света и в сношениях с влиятельными людьми, постоянно давать им чувствовать свои права на самостоятельное обсуждение их мнений и поступков — обличали в нем человека александровской эпохи. Он носил на себе внешний вид либерала 20-х годов и тогда, когда уже давно был искренним сторонником власти, законного авторитета, начал порядка и правильного развития государства, что давало повод поверхностным людям не доверять его образу мыслей вообще, а не благорасположенным прямо указывать на него, как на тайного врага всех существующих порядков. Все это должно оправдывать нашу короткую остановку на политических обществах, но мы принуждены еще невольным образом возвратиться к ним, так как они же дали Пушкину и первые черты политического учения, которое он впоследствии развил в целую систему.

В числе различных идей и направлений, столкнувшихся друг с другом на арене заговора, существовали и аристократические воззрения, легко усматриваемые при разборе элементов, из которых собственно заговор состоял. Участие в нем значительного круга людей, желавших возвышения и улучшения политического и социального положения высшего класса в государстве для того, чтобы он мог занимать с честью пост естественного защитника прав общества и народа, не подлежит сомнению. Идея эта была не нова и не нашими людьми придумана. Она уже с давних пор разрабатывалась на Западе писателями легитимистской и юнкерской партий, имевшими преимущественно в виду тогдашнее политическое значение английской аристократии; но там, на Западе, идея носила консервативный характер и была произведением умов, искавших, вместе с прави-

тельствами, оплота против слепых народных смут и страстей, а у нас, по особенным историческим условиям русской жизни, она уже явилась, как антиправительственная и революционная идея. Класс людей, принявший ее в руководство, не отступал ни перед словами о свободе и равенстве всех граждан перед законом, ни перед необходимостью крупных жертв для ее осуществления, но он имел в виду значительное вознаграждение за свои уступки. Взамен возможного упразднения дворянской грамоты и крепостного права, он мог надеяться на роль политического сословия, призванного управлять судьбами своего отечества. Программа его подвергалась уже и тогда критике и возражениям со стороны тех, которые видели в ней основу для новых олигархических порядков, нанесших уже столько вреда России в прошлое время. Но она, тема эта, имела одно важное преимущество: она превосходила своим содержанием программы всех других партий, по большей части чудовищно-решительные или пусто-громкие и эффектные. Особенно полное, обаятельное действие производила она на те отпрыски знатных дворянских фамилий, которые по своему состоянию и образованию считали себя несправедливо осужденными на праздность или на ничтожные, служебные труды; хотя и вообще способна была своим обманчивым видом сочувствия к интересам обделенных классов возбуждать энтузиазм в молодых и бескорыстных сердцах. Она и составила именно ту приманку, за которой потянулись в тайные круги привилегированные классы общества, считавшие себя обиженными историческим ходом русской жизни. Можно сказать с достоверностью, что если бы Пушкину удалось пробраться в область заговора, как он домогался, то он вошел бы в него под знаменем аристократического радикализма, хотя, как увидим скоро, все олигархические и вельможеские тенденции были ему антипатичны в высшей степени. Общие положения аристократической партии, о которой говорим, не пропали однако же даром. Наши тайные круги дали ему первый материал, первые, еще грубые, основания для теории о либерально-охранительном призвании дворянства, которую Пушкин впоследствии значительно обработал, поправил и изменил. Он перенес свое сочувствие на скромное, трудящееся, ученое наше дворянство, усмотрев в нем естественного покровителя и воспитателя народных масс и защищая его права на общественное влияние с большой силой, с глубоким убеждением и немалым талантом.

Естественным последствием всех этих влияний — было желание Пушкина проникнуть в самые недра того отдельного мира сто-

личной жизни, который назывался «аристократией». За это желание он вынес много упреков от друзей и недругов, в свое время, — упреков, не умолкших и позднее, но недоразумение, их породившее, требует, наконец, разъяснения. Конечно, не за обретением жизненных идеалов существования обращался наш поэт к сферам, где приютились богатство, роскошь, тонкие материальные и духовные наслаждения (он искал своих идеалов в ином направлении, как о том еще много будем говорить), а совсем по другим причинам и побуждениям. В нем с молодости жила страстная, мучительная потребность изведать все стороны и слои общества, как и все раздражающие удовольствия и все впечатления и уроки, какие они могут дать. Натура Пушкина была многотребовательная в высшей степени. Присуждать такую натуру к замкнутой жизни аскета-труженика, или в укор ей противопоставлять благородный тип человека, всегда верного раз усвоенной им идее и не желающего выходить из круга людей, ему сочувственных, значит, просто морализировать втуне. Пушкин физически страдал и задыхался, когда осужден был на долгое время жить в одной и той же обстановке, довольствоваться одним и тем же рядом знакомств, связей и впечатлений. Это мы тоже скоро увидим из описания его кишиневской и михайловской жизни. В настоящем случае так называемые аристократические круги должны были еще особенно раздражать его любопытство. В недрах избранных фамилий стала замечаться к этому времени наклонность оборониться и уйти от наплыва разночинцев и новых, неизвестных людей, уже прорвавших ряды остального дворянства, вследствие реформ и правительственной системы двух царствований императоров Павла и Александра I-го. Другого способа не открывалось для того, как выделиться *нравственно*, так сказать, из сословия, с которым знатные роды были связаны законом; отсюда и первые их попытки создать себе другие обычаи, понятия и задачи существования, чем те, которые были в ходу под ними. Пушкин уже видел образчики этого нового направления в тех молодых отпрысках избранных фамилий, которые по нужде или для своего развлечения спускались в толпу, завязывая в ней иногда чрезвычайно важные, как знаем, знакомства и сношения. Мог ли Пушкин возбранить себе попытку узнать новое явление, которое уже давало себя чувствовать в самом его источнике. Оно было любопытно еще и с другой стороны, составляя как бы аномалию в ходе дел и порядков времени. Оно существовало именно обок со своим опровержением, с живым своим отрицанием, с одним всемогущим лицом, графом Аракчеевым, вышедшим из тех низ-

менных слоев, от которых фамилии хотели удалиться, и управлявшим как ими самими, так и страной. Граф Аракчеев посмеивался всем идеям и затеям своих знатных товарищей и просто понимал власть, как случайное приобретение, которым должно пользоваться в самом обширном смысле, когда она находится в руках, и подчиняться ей безусловно, когда она перешла в другие руки. Достоинство изумления, что этот всемогущий человек ограничивался только административными сферами, хозяйничая во всех ведомствах беспрекословно, и мало касался улицы, домашней жизни и обмена мнений, не устанавливая за ними никакого особого надзора. Это уже зависело от свойства его честолюбия, по преимуществу служебного, и от бедности его образования, нисколько не интересовавшегося общественными явлениями, но это помогло александровской эпохе развиться на свободе, со всеми своими качествами и недостатками.

Пушкин имел право думать, что, принадлежа сам к древнему, историческому дворянскому роду, он может найти себе место везде, где пожелает, но оказалось, что не всегда двери иных домов открываются и перед таким преимуществом. Неодобрительные отзывы и осуждения друзей и близких знакомых Пушкина увеличились, когда они заметили, что он делает первые шаги для сближения с классом, который сам нисколько не думает идти ему навстречу. Довольно любопытно, что упреки, сыпавшиеся тогда на Пушкина, выходили совсем не из какого-нибудь ярого, демократически настроенного лагеря, а от людей, принадлежавших, как И.И. Пущин и др., к старому и родовитому нашему дворянству; так уже была велика рознь в сословии. Но и тут существовало значительное недоразумение. Действительно, один и самый почтенный отдел этого дворянства считал для себя унижением навязываться в друзья к богатым и знатым фамилиям; люди этого отдела шли скромно и твердо по избранным ими служебным, литературным и другим путям, достигая иногда и важных постов в государстве, или, в крайнем случае, заслуженного почета в обществе. К этому разряду принадлежала и большая часть критиков Пушкина, но они несправедливо смешали поэта нашего с другим разрядом того же старого, но незнатного дворянства, который потянулся со слепым и страстным увлечением к новым светилам, как только усмотрел их на горизонте — из тщеславия. Хорошим представителем этого отдела мог служить отец поэта, упомянутый С.Л. Пушкин, весь век занятый тем, чтоб показаться рядом с каким-либо аристократическим лицом на улице или пробраться в его салон, что не всегда ему удавалось. Множество уморительных

анекдотов ходило тогда о хитростях, какими он тешил свое тщеславие и пускал пыль в глаза другим. Никаких особенных усилий не нужно было молодому Пушкину для того, чтобы пробиться в круги знати по выбору: он был на дружеской ноге почти со всею ее молодежью, находился в коротких сношениях с А.Ф. Орловым, П.Д. Киселевым и многими другими корифеями тогдашнего светского общества, не говоря уже о застольных друзьях его. Притом же Пушкин возбуждал любопытство и интерес сам по себе, как новая нарождающаяся, бойкая и талантливая сила. Со всем тем, кажется, Пушкин не миновал некоторого неприятного искуса при своем вступлении на эту арену, где он был только с 30-х годов, как у себя дома. Сколько можем судить, ему пришлось на первых порах испытать досадное чувство оскорбленной гордости, познакомиться с приемами спесиво-вежливого обращения и т.п. По крайней мере, так можно заключать по глубокой иронии, с которой он говорил позднее о *своем* *мещанстве* и в прозе, и в стихах, а всего более по страстной защите исторических родов, приниженных обстоятельствами, которую предпринял в Одессе, с 1823 года, и уже не покидал в продолжение всей жизни. Противопоставление двух отделов одного сословия друг другу беспрестанно подвергивалось под перо его и свидетельствовало о своем происхождении из оскорбленного или взволнованного чувства. Вот, например, какая полемическая заметка, от 1830 года, осталась в бумагах Пушкина. Она вызвана была журнальными толками того времени, поднявшими вопрос об аристократии в литературе, к которой, впрочем, причислялось обыкновенно только три имени: кн. Вяземского, Пушкина и Баратынского. Заметка нашего поэта, однако же, значительно обобщает спор и тотчас же становится на ту точку зрения, с которой Пушкин вообще смотрел на вопрос об аристократии: «И на кого журналисты наши нападают? — говорит автор ее. — Ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Петре I-м и императорах, и по большей части составляющее нашу знать — истинную, богатую и могущественную аристократию. *Pas si bête!* Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности. Они нападают именно на старинное дворянство, которое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состояния, к которому принадлежит и большая часть наших литераторов. Издеваться над ним (и еще в официальной газете) не хорошо...» Пушкин подразумевает «Северную Пчелу». Мы приводим эту заметку не как образец тогдашней

журнальной полемики, а как подтверждение наших разъяснений авторитетом самого поэта.

И много таких заметок, урывков и мыслей, имеющих в виду истолкование различных судеб русского дворянства и будущего его призвания, мы увидим впереди и особенно много их осталось от эпохи 1833 г., когда Пушкин писал своего «Медного Всадника». Известно, что сама знаменитая поэма эта должна была, по плану автора, представлять бедного потомка некогда знаменитой фамилии в скромной роли ничтожного департаментского чиновника. Великий преобразователь России не только отнял у отцов героя их общественное положение, но косвенно погубил и его самого в последнем убежище нищеты и сердечных привязанностей, унесенных наводнением основанного им Петербурга. Вызов помутившегося в уме чиновника, обращенный к памятнику Петра, мгновенное оживление памятника и погоня за оскорбителем, по всей вероятности, не составляла в плане Пушкина конца поэмы, как теперь. Зная его цели, тут невольно ждешь грозных объяснений царя и его апофеозы.

Возвращаемся к рассказу. Непризнанный тайными обществами и отдельными кругами, Пушкин вздумал составить себе сам видное положение между ними, и для этого отдался вполне памфлетической и сатирической деятельности, которая действительно и распространила его имя далеко за пределы обеих столиц. Так как эта деятельность играла весьма значительную роль в его судьбе, да и теперь еще влияет на разноречивые суждения людей о характере поэта, то мы и остановимся на ней с некоторой подробностью.

Было бы странно утверждать, что при сочинении своих эграмм, политических песенок и стихотворных инвектив, Пушкин сам не испытывал гнева и негодования, которыми дышат эти произведения; но при всей их искренности и горячности, позволительно думать, что создавая их в значительном количестве, Пушкин следовал более настроению эпохи, чем личным побуждениям, и выражал скорее ее страсти, чем свои собственные. Во всей его памфлетной деятельности не было ничего органически связанного с его собственной природой; ничего, что вытекало бы из неодолимой нравственной потребности. Пора настоящего политического экстаза для него еще не наступила: она явилась только с высылкой его из Петербурга (1820 г.) и с появлением в Кишиневе; да и тогда, как увидим далее, продолжалась не более двух лет. Способность чувствовать внутреннюю неправду увлечения и слепой страсти в то самое время, как он приносил им безумные жертвы, помогала ему расставаться с ними без

надрыва и колебаний. К тому же, в образовании петербургской задорной деятельности его участвовали, весьма значительной долей, жажда известности и рукоплесканий. Закваски настоящего сатирика, очищающего дорогу лучшему порядку вещей, потому что стоит сам выше грехов и соблазнов своего времени, конечно, в Пушкине тогда не было, а она и составляет первое условие серьезности самого направления. Оттого Пушкина и читали и слушали так, как он писал, весело восхищаясь стихом, мыслью, оборотом речи, и не очень думая о сущности дела. Его оды, эпиграммы, послания, особенно известная песенка «Noël»¹, сильно распространенная в оппозиционных кругах обеих столиц, слушались с одобрением и такими людьми, которые нисколько не сочувствовали их духу, и, конечно, при случае не задумались бы показать автору самым ощутительным образом, как далеко они расходятся с его образом мыслей. Pamфлеты Пушкина видимо составляли тогда для всех нечто в роде запрещенной поэтической игры, за которой следить позволялось только до известного предела. Пушкину, однако же, казалась деятельность эта и важной и почетной. Соблазнительными, но остроумными произведениями, отчасти эротической, а отчасти революционной своей музы, он устраивал себе какое-то особенное положение, создавал из себя какое-то подобие силы, правда, ничтожной до крайности, ребячески-беспомощной и легко устранимой при первом движении противников, но все же такой, мимо которой нельзя было долго проходить без внимания. И.И. Пущин сообщает в своих «Записках», что друг его чрезвычайно обрадовался намерению одного из почетнейших лиц того времени (Ник. Ив. Тургенева) приняться за издание политической газеты, где, конечно, поэт наш всегда имел бы готовое место. Этому легко поверить. Политическая газета давала Пушкину возможность испробовать себя на другом, менее скользком и более дельном поприще. Газета, однако же, не состоялась (кстати сказать, между прочим, что Пушкин мечтал потом о создании политической газеты всю свою жизнь). Но если бы даже тогдашнее предприятие по части газеты и осуществилось, то Пушкин вряд ли мог, по малому количеству идей, собранных им в короткий промежуток светской своей жизни, явиться в ней с чем-либо другим, кроме той же более

¹ Песенка «Noël» — пародия рождественских поздравительных песенок средневековой Европы — написана была в осмеяние слухов о скором даровании империи новых установлений, — слухов, распространившихся в публике после речи, произнесенной Императором при открытии первого сейма в Варшаве (1818).

или менее замаскированной насмешки, в которой он сделался испробованным мастером. Здесь у места будет привести анекдот о Пушкине, сохранившийся в его семействе. Однажды на упреки семейства в излишней распущенности, которая могла иметь для него роковые последствия, Пушкин просто отвечал: «без шума никто не выходил из толпы». Слова эти не заключают, конечно, *всей* правды относительно его целей и побуждений, но в них, однако же, есть добрая доля правды¹.

Затем молодому Пушкину предстояло еще освоиться с тем миром понятий, который составлял, так сказать, ежедневный умственный оборот столицы. Мир этот не был очень обширен и глубок в то время, потому что весь заключался в границах тогдашнего «большого света». Большой свет сделался, таким образом, представителем русского образования не только перед Европой, но и перед всеми другими классами общества, уступавшими ему, без возражения, роль дельного ответчика за умственные силы и развитие страны. О существовании народной культуры тогда еще и помина не было: кабинетные труды наших ученых и специалистов не вызывали почти никакого внимания: «большой свет» становился сам собою как бы хранителем просвещения на Руси и лучшим доказательством его действительного существования в нашем отечестве. Этот представитель отечественного развития имел опять настолько единства, насколько имеет его калейдоскоп, слагающий различные узоры при всяком сотрясении. Обрывки разнохарактерных учений и направлений, сталкивавшихся в обществе между собою, давали ему своего рода живописность, которую можно было, по ошибке, принять за многосторон-

¹ Забавен также ответ Пушкина на предостережение такого же рода, сделанное ему кем-то весной, при вскрытии Невы: «Теперь — сказал он — самое удобное время либеральничать: сношения с крепостью прерваны». Наш биографический очерк был уже написан, когда мы нашли в переписке Н.М. Карамзина с И.И. Дмитриевым, изданной в 1866 г., заметку первого о нравственном состоянии Пушкина, когда над ним разразилась наконец гроза, уже давно ожидаемая всеми близкими к нему людьми. Н.М. Карамзин пишет: «Хотя я уже давно истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастливого Року и Немезиде; однако же, из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому — иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие.» (Переписка, стр. 287). Почтенный историограф имел право изумиться отсутствию этих добродетелей у предполагаемого революционера, но он не знал, что в настоящем случае не было и почвы для геройства и великодушия, которые вырастают только на сумме верований и убеждений, добытых опытом и размышлением, а до них Пушкин еще не дожил.

ность развития, как это и делали современники. Вот почему довольно любопытно вспомнить теперь, по прошествии 50-ти лет с лишком, о характере идей и представлений, обращавшихся тогда в «большом свете» и составлявших умственное питание как Пушкина, так и вообще людей, которые находились в его положении — положении человека, начинающего долгий путь самообразования.

Царство блестящего дилетантизма по всем предметам и вопросам, выдвинутым вперед европейскою жизнью, никогда уже потом не достигало у нас до таких обширных размеров, какими оно могло похвастать в промежуток времени от 1815 по 1825 год. Оно кончилось, как известно, внезапной катастрофой, которая, обрушилась на него, унесла не только его сподвижников, но и все их толки, оставив общество и людей с пустыми, так сказать, руками. Конечно, были достаточные причины для такого скорого и бесследного падения. Что бы ни говорили современники эпохи о повсеместном изучении политических наук, о занятиях Смитом, Бентамом, Филанжиери и проч., но способ занятия ими вполне был «светский» и никакого испытания выдержать не мог.

Необычайная и страстная влюбчивость в идеи и представления, попадавшие на глаза, сделалась господствующей чертой нашего общества после заграничных войн и заменяла ему настоящее образование. Влюбчивость эта и была главной причиной водворения у нас почти всех явлений европейской мысли и цивилизации, потерявших, однако же, на новоселье свои природные формы и краски. Происходило это главным образом оттого, что почти все подобные явления рисовались в воображении своих новых обожателей чрезвычайно ярко, но уже без всякого масштаба для определений относительной их величины и размера. Идеи являлись тогда, как кумиры, с затерянной генеалогией, но требовавшие безусловного поклонения. Вот почему каждое сведение, каждое предположение, а тем более каждая теория, захваченные в ученых наших набегах на Европу, представлялись тогда и еще гораздо позднее так, как будто перед ними никогда ничего не было и ничего не остается за ними, и постоянно объявлялись, поэтому, чуть не спасением рода человеческого. Таким спасением рода человеческого, между прочим, считались и мистические, теософские, по временам сектаторские учения. Светская теология вообще процветала, как никогда: переводные книжки Лабзина, заключавшие в себе галлюцинации Юнгов-Штиллингов и Эккартсгаузенов, лежали на столах государственных людей и в будуарах дам; высшее общество стекалось на католические и протестантские

проповеди, везде находя для себя поразительные *неожиданности*, перед которыми благоговело, как перед первым и последним словом человеческой премудрости. Даже такое литературное явление, как романтизм, поддерживаемый известным «Арзамасом», понималось не иначе, как неожиданным даром судьбы, откровением, посланным заключить раз навсегда эстетические и творческие теории на земле. От мистических теорий Пушкин, по здоровой нравственной своей натуре, был всегда далеко, но взамен он был не прочь смотреть на романтизм как на какую-то неизъяснимую силу, в роде «благодати», от прикосновения которой ничтожные люди становятся привлекательными, и пустые предметы делаются в искусных руках из пустых поэтическими и многозначительными. Не говорим уже об афоризмах и положениях экономического и политического содержания. Каждое из них считалось само по себе кладом, найденным на чужой земле: требовалось только донести его бережно до дома, чтобы сделать всех кругом себя и мудрыми и счастливыми людьми. Рассказывают, будто Гегель заметил про философскую систему Шеллинга, что, не опираясь на систему логики, она, при всей своей грандиозности, производит на ум читателя впечатление внезапного пистолетного выстрела, неизвестно откуда раздавшегося. То же самое можно сказать и про культуру русских образованных классов двадцатых годов. Без основ общего и солидного университетского образования, она вся состояла, говоря иносказательно, из ряда пистолетных выстрелов такого рода, раздававшихся постоянно со всех сторон.

Для того, чтобы понять все сиротство европейских идей на нашей почве, надо вспомнить, какой правильный, строго-последовательный ход приняли естественные, политические и философские науки на Западе в начале столетия. Ограничиваясь, для примера, одним философским отделом знания, нельзя не подивиться, каким чудом явились в нашей светской публике, рядом со старыми и укоренившимися верованиями ее в сенсуализм и Руссо, еще теории Шеллинга и Окена. Развитие философских учений в Германии происходило в математически стройном порядке. Родоначальник всех ее идеалистических систем, определивший предметы и задачи мышления, именно Кант, был почти совершенно неизвестен русским философам, как и ближайший его наследник Фихте, который, однако же, и умер, так сказать, на их глазах — в 1815 г. Не далее, как в 1818 г. Гегель уже открывал в Берлине свои лекции, в которых довершал упразднение и разложение внешнего мира в категориях логической идеи, но из круга этих деятелей вырваны были у нас Шеллинг и несколько дру-

гих имен, и поставлены одиноко, как символы. исполненные необычайных загадок. Это был обыкновенный прием «светского» образованного мира, который никогда не переживал в собственном сознании самого процесса и хода известной науки, а постоянно искал поразительных идей, изумительных догматов, чего-нибудь феноменального и оковывающего внимание. После обретения подобного, смеем выразиться, ново-«явленного» учения он всецело предавался его страстному обожанию. История эта повторялась с каждым предметом, к которому он обращался, и выразилась даже в его исключительном поклонении псевдоклассическому искусству и французской драме.

Так как борьба с французским эстетическим кодексом и с классической поэзией вообще занимает не последнее место в жизни и творчестве Пушкина, то мы обязаны также сказать несколько слов и о художественных понятиях эпохи. Уже и в это время имена Гете и Шиллера начинали проникать в общество. «Вестник Европы» с 1818 г. стал противопоставлять, хотя еще и очень робко, французским трагикам известия о драмах Гете и Шиллера, но с появлением Пушкина он отказался, как известно, от этой пропаганды и возвратился назад. Не более выдержки показала и светская критика. Для нее знаменитые поэты Германии были опять чем-то в роде неожиданных небесных знамений, появившихся на европейском горизонте и задающих трудные вопросы зрителям. И действительно, их не легко было уразуметь без знакомства с деятельностью Лессинга, очистившего им дорогу, и с новой немецкой философией, воспитавшей их дух и устроившей их созерцание. Оставалась классическая драма и классическое искусство вообще, столь доступные образованному нашему классу по своему чистому французскому диалекту: они не требовали и особенной подготовки. На классической драме и сосредоточились общие восторги и похвалы. Высокообразованные люди эпохи успели понять красоту ее фразы, проникнуться чинностью и приличием ее форм, этикетом времен «великого монарха», который герои ее соблюдали даже в минуты катастроф, наконец ее напыщенно великими (sublime) или ухищренно тонкими изречениями. Эти выходы и фразы одно поколение детей за другим учило у нас наизусть чуть ли не полвека с рядом. Самый же дух псевдоклассического искусства, так понятный народам романского происхождения, был совершенно чужд северным его поклонникам. Какие струны сердца могли, в самом деле, будить у них отголоски греко-римского языческого мира, что могли говорить их уму и воображению другие составные части классической поэзии — воспоминания из эпохи «возрож-

дения» с ее жаждой блеска, щегольства, наслаждений или мотивы, занесенные в нее от средневековых труверов, из кодекса рыцарской чести и морали и проч. Но сладкая привычка слушать французскую речь и изъясняться ею держала все светское общество долго в упоении перед псевдоклассическим искусством. Пушкин, однако же, скоро отрезвился, благодари Байрону, от этого упоения, которое сначала разделял со всеми; но понадобились весь его талант и многолетние усилия критиков, чтобы ослабить в обществе эту почти кровную его привязанность. Еще в 1830 году Пушкин, приступая к изданию «Бориса Годунова», сомневался в его успехе, основываясь на классических симпатиях публики и прибавляя: «нововведения, кажется, не нужны и опасны». (См. «Материалы» 1855, стр. 147).

Вообще говоря, благородные личности той эпохи (мы разумеем ее лучших людей, ее «интеллигенцию») поражали в последовавшее затем время благоговейной преданностью и любовью к той или другой идее, явившейся им на заре жизни, как истина. Оно и понятно. Все, что они называли знанием, никогда не носило характера изучения, допускающего видоизменения взглядов, поправки их или развития. Всякое знание, так или иначе добытое, было для них глубоким, непоколебимым верованием непререкаемым догматом, чем и объясняется замеченная в них стойкость убеждений до слепоты и упрямства.

Горячий и страстный дилетантизм времени развивался с особенной силой и полнотой на почве русской истории, в области представлений и понятий о прошлом русского народа, которым объяснялось настоящее его положение и из которого выводились предсказания о его будущем. Дилетантизм этого рода вышел совсем не из желания противодействовать господству западной науки в обществе или заславить ее, покинув свой доктринерский характер, заняться вопросами русской жизни. Напротив, и ученое доктринерство, и пламенная патриотическая фантазия часто сживались тогда друг с другом в уме одного и того же лица, которое могло свободно призывать воображаемые факты русской истории на помощь идеям чужеземного происхождения, нисколько не замечая их разновидности и внутреннего противоречия. Так именно случилось у нас по вопросу о древнеславянском быте. В светском обществе образовалась значительная партия, желавшая вывести цели и задачи русского развития из указаний истории, из свойств самого духа, «психеи» — русского народа, подобно тому, как передовые люди Германии вызывали тени Арминия, воспоминания Тацитовских немцев и проч. для обновле-

ния и одушевления своего народа. Но по тому же недостатку точных сведений и научного изучения предмета, которое замечалось во всех других сферах тогдашней умственной деятельности, эта партия сама приобрела чрезвычайно произвольный, фантастический характер. Из множества поэтических, но призрачных ее толкований русской истории, особенным успехом пользовалось то, которое помещало в общеславянском мире, с самой ранней его поры, величественные народные учреждения, обеспечивавшие каждой общине самостоятельное развитие. Светская эрудиция, овладевшая этой темой и сделавшая ее модной темой своих учено-патриотических разговоров, рассуждала о вечах в древних общинах, о подчиненной роли князей в тех же общинах, об устройстве самими племенами и народными группами всего своего политического быта и всех своих отношений к другим родственным племенам и народным группам. Заключение добывались партией также легко, как и факты. Светская эрудиция усматривала в старых порядках древнего нашего быта высокий идеал общественного и политического существования, достойный восстановления и подражания. Молодое поколение призывалось осуществить этот старый, утерянный идеал жизни, который тем удачнее исполнял свою роль идеала, чем туманнее и неопределеннее представлялся сознанию. Мы осуждены приводить не много свидетельств в подтверждение нашего очерка, так как описываем внутреннюю, интимную жизнь общества, которое, по особенным причинам, редко спускалось до обнаружения своего настроения печатным словом или гласным заявлением, оставив после себя только живые предания, нами здесь и подобранные. Со всем тем уцелело от этой эпохи и несколько положительных свидетельств созерцания, описываемого теперь. Так, полемические заметки М.Ф. Орлова и Никиты Муравьева, направленные против духа и основных положений истории Карамзина, имели точкой своего отправления ревность по величию славян и по красоте их истории. Яснее выразилась теория в известном «Разборе Донесения», составленном Луниным и тем же Н. Муравьевым: там одно из примечаний излагает в виде непреложного исторического догмата, не нуждающегося в подтверждениях и изысканиях, повсеместное существование на Руси республик и совещательных собраний, никогда не признававших единоличной власти; память о них сказывалась будто и в московский период истории, например при Иване Грозном, и очевидно была свежа будто бы в народе даже при Петре I-м и позднее. Да и не одними теориями ограничивалось в то время это псевдоисторическое созерцание, возникшее

в светском быту: оно перенесено было на другую почву, как это тогда постоянно делалось, и на основании его составлялись тайные общества, имевшие в виду осуществление федерации славянских племен, чему служит доказательством «Общество Соединенных Славян», возникшее на юге России. Проекты конституций, начертанных Никитой М. Муравьевым и кн. Трубецким, носят на себе отпечаток того же учения; оно подсказало им деление нашего русского мира на множество самостоятельных областей и держав, принятое и «Русской Правдой» Пестеля. Разница тут состояла только в способе устройства федеративной связи между этими частями. Какую долю времени посвящал впоследствии сам Пушкин на изъяснение *a priori* русской истории, мы уже знаем из документов, помещенных в наших «Материалах» 1855 г. Выводы его могли быть иные при этом, но приемы исследования унаследовал он от своих современников александровской эпохи, и способ относиться к истории был у него одинаковый с ними. Вот, что он писал, например, в 1831 г., рассуждая о феодализме, как о могущественном элементе развития, который пережили западные народы и отсутствие которого в русской жизни и истории, по мнению Пушкина, достойно сожаления: «Феодализм мог бы развиться (у нас) наконец, как первый шаг учреждений независимости (общины были бы второй), но он не успел... Он рассеялся во времена татар, был подавлен Иоанном III-м, гоним, истребляем Иоанном IV-м. Место феодализма заступила аристократия, и могущество ее в междоусарствие возросло до высочайшей степени. Она была наследственная — отсеке местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Феодор, а Языков и меньшее дворянство уничтожили местничество и боярство. С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сегодня» и проч.

Замечательно, что под псевдорусскую народную охрану становились и реакционные учения, поражавшие своим чужевидным, экзотическим характером. Так ультрамистическое направление, водворившееся в самом министерстве народного просвещения, еще думало, что исполняет задачу, указанную ему всей старой русской историей. Оно также заявляло претензию опираться на коренные основания народных убеждений, понятий и представлений, когда боролось с просвещением вообще. Во имя этих предполагаемых оснований и элементов русского народного духа, деятельный агент направления, известный Магницкий, свершал преобразование казанского университета, сделавшее из этого учебного заведения образец лице-

мерного прохождения какой-то таблички благочестивых упражнений, не имевшей ни малейших отношений к знанию и образованию, а другой, не менее деятельный и известный Рунич, во имя тех же подставных начал, открывал процесс в петербургском университете, 1820 г., не только против чужеземной науки вообще, но и против первых, необходимых и неизбежных приемов всякого мышления и исследования. Замечательно однако же, что через три года после окончательного преобразования университетов, и именно с эпохи назначения министром народного просвещения (1824 г.) адмирала А.С. Шишкова, все основания, проводимые мистическим направлением, признаны были подложно-русскими, его учения нечестивым попользованием ввести беззаконную примесь в недра настоящих коренных русских убеждений; а некоторые из его учреждений, как «Библейские Общества» — даже бессознательной революционной пропагандой (См. «Записки А.С. Шишкова»)¹. Настоящее русское созерцание оказалось теперь на стороне членов и основателей общества «Беседы русского слова». Так еще мало согласны были у нас люди понимать под известными названиями одно определенное явление. Биографическая важность приведенных нами фактов по отношению к Пушкину, кажется, не может подлежать сомнению. Из такой-то путаницы перекрещивающихся воззрений и учений, не очень состоятельных и по себе, должен был он выделять элементы своего умственного и нравственного воспитания. Он умел, однако же, усвоить от этой эпохи лучшее ее достояние — ее пытливость, ее стремления к осмысленному, разумному существованию и ее вражду ко всему злобному, низкому и раблепному. Она-то и образовала из Пушкина тип гениального человека с простой душой, насадителя благороднейших чувств и помыслов на Руси — радетеля и провозвестника всего, что возвышает мысль и помогает ей переносить тяготы и противоречия жизни.

Таков был один отдел «Большого Света»; но существовал еще и другой, *литературный* отдел его, тоже замешанный в деле образования личности поэта не менее первого. К нему теперь и переходим.

¹ Литература по этому предмету уже довольно обширна у нас. Подробности этих событий достаточно известны из статей в «Чтениях Московского Общества любителей истории и древностей» 1862 г., из монографии «Магницкий» в «Русском Вестнике» 1865 г., составленной г. Феоктистовым, и из статей: «Материалы для образования в России в царствование Императора Александра I-го», г. Сухомлинова в «Журнале Министерства Народного Просвещения» 1865 г., и в приложении к нему 1866 г. — Позднейшие статьи А.Н. Пыпина, в «Вестнике Европы» 1870 г., дополняют этот ряд чрезвычайно важных и любопытных исследований.

IV.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Умственное и нравственное развитие Пушкина. — Ученые и литературные общества. — Арзамас. — Его значение и громадное влияние на Пушкина. — Руслан и Людмила. — Катастрофа и высылка поэта из Петербурга.

Переходим к изложению умственного и нравственного развития, какое началось для Пушкина при той обстановке, которую мы старались описать.

Если самолюбие Пушкина было оскорблено осторожностью и скрытностью аристократических и политических кругов, то с другой стороны — оно находило полное вознаграждение себе в обществе литераторов. Здесь все двери были настежь для Пушкина: восторженные и неумолкаемые приветствия встречали его при каждом появлении между собратами, как бы различны ни были их убеждения. Пушкина носили здесь на руках и те люди, которые не протягивали ему руки, когда стояли на другой почве. Он был балованное дитя современных ему писателей, которые старались избегать его эпиграмм и домогались от него посланий, как отличия. По этому случаю возникали между приятелями Пушкина вообще даже переписки, хлопоты и ревнивые объяснения своих прав на стихотворный подарок. Мы знали еще недавно престарелых людей, вспоминавших с гордостью о том, что Пушкин, в былые времена, посвятил им несколько печатных или альбомных строк. Все это приходило ему даром — без всякого труда, домогательства или заискивания у тол-

пы своих поклонников. И если припомнить, что Пушкин тогда еще был загадкой и ничего не мог предъявить, кроме способности к легкому стихосложению, к остроумной шутке и нескольких попыток в элегическом роде (о дружеских посланиях и памфлетах не считаем нужным упоминать), то надо будет повторить, что само общество наше, по одному предчувствию его силы, выносило его на ту высоту, на которой он действительно и укрепился потом.

Класс тогдашних литераторов не отставал от публики в провозглашении великих надежд, подаваемых Пушкиным, но сам от себя уже ничего не мог ему сообщить, ничем не мог поделиться с ним. Класс этот еще не создал для себя особенного призвания в обществе, а о том, чтобы готовиться к роли руководителя публики в нравственных и эстетических вопросах — в нем не было и помина. Издавали следил он за движениями и явлениями, которые слагались на поверхности петербургского образованного общества, но отражал их уже крайне слабо и тускло, как о том еще будем говорить; а что касается до задачи — возвыситься над многоречивыми толками «большого света», определить их смысл и отношения друг к другу и сделаться центром и светочем общественной мысли, отыскать основания для нее собственным, свободным и самостоятельным трудом, — то о возможности и необходимости подобной задачи в кругу тогдашних литераторов не было и предчувствия¹.

Учиться тут чему-либо, чего еще не знал Пушкин, уже не представляло возможности, хотя он усердно искал тогда учителей, если судить по известному анекдоту с П.А. Катениным, к которому явился с предложением — «побить да выучить». Напротив, из общества литераторов он вынес, благодаря их легкому отношению к своим занятиям, их промахам в языке и логике, их мелочным целям и стремлениям — привычку к глумлению и едкой насмешке, которая проявляется в его переписке с друзьями, с 1823 года, к сожалению до сих пор не собранной и не опубликованной вполне. Какая-то удалая остроумия, в ней проявляющаяся и иногда чрезвычайно метко пятнающая выбранные его жертвы, не покидала его и в сношениях с такими

¹ Само собой разумеется, что определяя общий характер писателей того времени, мы должны исключить из этого очерка имена тех тружеников науки, литературы и искусства, которые составляли славу эпохи. Таковы имена Жуковского, Карамзина, Ник. Тургенева, Куницына, Велланского и т. д.; но все эти лица стояли особняком, вне волнений литературных кругов, занятые каждый своим делом, и не дали им от себя ни тона, ни окраски, а еще менее какой-либо части собственного своего содержания.

людьми, как Жуковский и Карамзин, — это мы увидим далее, — хотя уже и отзывалась тогда шалостью избалованного юноши. Но Пушкин считал еще правом и необходимым условием свободной личности — не воздерживаться от шутки, когда она приходила на ум, к чему он так приобвык в кругу литераторов, беспрестанно вызывавших ее. Никто лучше Пушкина и не выразил обычного свойства тогдашних писателей: «они только разучиваются, — сказал он в одном месте своей переписки, — вместо того, чтобы учиться». Ясно, что с этой стороны никакой нравственной поддержки и дальнего наставления он получить не мог. Оставались многочисленные литературные общества того времени, официальные и полуофициальные, но является вопрос: что такое они были *в самом деле*?

Россия, как известно, переживала тогда эпоху «обществ» с филантропическими и моральными целями, подобно тому, как ныне переживает она эпоху акционерных, коммерческих и спекуляционных ассоциаций. В обеих наших столицах каждый силился пристроиться к тому или другому литературному кругу, официально признанному администрацией, а некоторые принадлежали, сверх того, еще и масонским союзам, что уже считалось признаком высокого многостороннего развития и давало лицу особенный вес. Все эти круги терпелись и даже поощрялись сначала правительством в виду того, что они отвлекали людей от грубых занятий и удовольствий и возвышали умы сближением их с вопросами морального и отвлеченного свойства. На деле, однако ж, тогдашняя русская жизнь значительно упростила и понизила способы заниматься этими вопросами. Приманка масонских лож, с их затейливыми и всегда бессмысленными мистическими прозвищами, заключалась для современников преимущественно в том, что они давали людям возможность *«служить человечеству»*, иметь искренних братьев, как тогда думали, на всех концах вселенной, и потому чувствовать себя в связи со всем цивилизованным миром, не принося для этого никаких других жертв, кроме усвоения жаргона и устава своего братства и особенно покорности высшим степеням его. Не менее обольстительно было сделаться и двигателем просвещения, наук и искусств в собственном своем отечестве, приписавшись только в члены официального литературного общества и приняв на себя легкую обязанность не пропускать слишком часто его заседаний, выслушивать терпеливо чтение прозы и стихов на вечерах, заниматься тайной историей отношений, существующих между писателями, и быть наготове самому перевести или даже накропать какую-либо статейку. Но от такого

упрощения целей все эти «общества» обнаружили крайний недостаток самодеятельности и творчества. Их внутренняя слабость теперь поразительна, хотя и легко объясняется. Они сошли со сцены вскоре после этой эпохи: масонские общества — в 1822 г., литературные — в 1825 г., не оставив никаких следов после себя, не выработав для цивилизации и культуры страны ни одной черты, на которую бы можно было указать. Масонство русское времен Александра I-го окончательно утеряло свой строгий, подвижнический и моральный характер, которым отличалось в эпоху своего единственного цветения на Руси, соединенного с именами Новикова, Шварца, Походяшина: оно превратилось теперь в собрание сект и толков, разделенных обрядовой стороной, но одинаково бесцельных и беспредметных, которые доносили полиции о своих заседаниях или о своих «работах», как они еще величали свои пустовеличные собрания, в которых главным делом было исполнение различных, усвоенных ими ритуалов. Нет никакой возможности указать, чтобы грассмейстеры русских масонских союзов, не говоря уже о рядовых членах, знали цели и задачи европейского масонства или создали для себя новые, применяясь к условиям края; таинственно, но тупо и молчаливо стояли они посреди нашего общества, без признаков чего-либо похожего на пропаганду, но с лживыми обещаниями будущих великих откровений.

От литературных обществ нам остались печатные документы, вполне разоблачающие характер их обычной деятельности. Все они имели свои журналы и органы. «Общество Любителей Словесности» при московском университете, так долго находившееся под председательством известного А.А. Прокоповича-Антонского, издавало периодически свои «Труды»; «Петербургское Общество Любителей Словесности, Наук и Художеств» выбрало для себя органом журнал своего председателя, А.Е. Измайлова, «Благонамеренный», столь много потешавший кружок Пушкина; наконец, петербургское же «Вольное Общество Любителей Словесности», управляемое тогдашним своим председателем Ф.Н. Глинкой, обзавелось журналом «Соревнователь Просвещения и Благотворения». Кто пробегал эти издания, тот знает, что, за исключением весьма немногих статей, содержание их не выражает даже и той степени образования, которая уже существовала у нас в «большом свете».

Приводим здесь для примера оглавления первых январских книжек этих журналов в 1818 и 1820 гг. Это, конечно, были лучшие №№ журналов, и вот что они содержали:

«Благонамеренный»

1818 года, № 1-й:

I. Стихотворения:

1. Властолюбие. Аркадий Родзянко.
2. Идиллия (Сыновняя любовь) В. Панаев.
3. Осень. С немецкого. Ры — ский.
4. Пруд и Капля. Басня. Ф. Глинка.
5. Кащей и Лекарь. Сказка. И.
6. Ответ и Совет. О. Н.
7. Ответ на вызов написать стихи. Г — а.

II. Проза.

1. Не родись не хорош, не пригож, а родись счастлив. Истинное происшествие. В — р П — в. NB. Действующие лица называются Аделаидой и Модестом.
2. Дорога от Устилуга до Варшавы. Открыв. из записок русского офицера. А. Раевский.
3. Несколько слов о кокетстве. В. П.
4. Избранные мысли из Рошефуко, Флориана, Демутье П — на Р — ая.
5. Отрывки из Вакефильдского священника. (Как образец чистого, правильного и приятного слога, каким писал покойный П. А. Никольский).
6. Разбор Хемницеровой басни: Воля и Неволя. И.

III. Смесь:

Русские анекдоты.

«Благонамеренный»

1820 года, № 1-й:

1. Приключение в маскераде. Истинное происшествие. В. Панаев.
2. Скандинавская мифология. Боги второй степени. (Семь страничек крупной и особенно разгонистой печати). А — ь Р — х.

Мелкие стихотворения:

3. Мечты юности. П. Теряева.
4. Свидание. П. Межакова.
5. Романсы — числом 4.
6. Прости (К Лиле). Н. Покровского.
7. К одной девице, гадающей на картах. С. Н.
8. К Лиле. Ф. Б — л — ф.
9. Хмель и Василек. А. Ш — м — к — в.
10. Клятва пьяницы. Сказка. И.
11. Эпиграммы — числом 4.

Новости:

Иностранные известия из Франции, Италии, Австрии, Пруссии, Нидерланд, Сев. Америки (на четырех страничках). Благотворения, Эпиграммы, Загадки, Логогрифы, Омонимы, три шарады. NB. В каждой из книжек до 80 страниц, in 12.

«Соревнователь Просвещения
и Благотворения»

1818 года, № 1-й:

I. Проза:

1. Дух Российских Государей Рюрикова дома.
2. Странствование Гумбольдта по степям и пустыням Нового Света (*семь стран.*).
3. Различие между дружбою и любовью. А. Боровкова.
4. Ратмир и Всемила (Древнее предание).

II. Стихотворения:

1. Москва. «Сойди, поэзия священна». Графа Сергея Салтыкова.
2. Отрыв. из Делиевой поэмы: *L'imagination*. А. Крылова.
3. Странствование Амура. Ф. Глинки.
4. Выборы Флоры. Б. Бриммера.
5. Мальчик и Голубок. Басня. Ал. Дуропа.
6. Мартышка и Слон. Басня. Гр. Д. Хвостова.
7. Эпиграммы. Р — р.
8. Романс к другу. С нем. Н.

III. Смесь:

Жизнь В.П. Петрова. («Соперник Флакка и Марона»). Объявление о книге, ноты на романс: «Тщетно плачешь, друг любезный».

«Соревнователь Просвещения
и Благотворения»

1820 года, № 1-й:

I. Проза:

1. Четыре первые Божества Индии (на *восьми* страничках). Бар. Корф.
2. О Людовике XIV. Д. Сахаров.
3. О гробах в Герцеговине. С польск. Ходаковский.
4. Зоя, или не следуйте системам философов. С фр. Н. А.

II. Стихотворения:

1. Альфонс. Б. Федоров.
2. *К Лилете*. Д.
3. Неумеренному честолюбцу. Гр. Д. Хвостова.
4. Неразделяемое наслаждение. Элегия. Плетнев.
5. К другу. Ал. Д.
6. Шарادا. Ф. Г.
7. Свинья и Кабан. Басня. Ал. Д.

III. Смесь:

Ученые известия из Польши, Пруссии, Австрии, Швеции и Дании, Англии, Франции, Италии и *Филадельфии*. (На *восьми* малых страничках разгонистого шрифта).

В следующем 2-м № 1820 г. были статьи: «Еще некоторые замечания о Слободско-Украинской губернии», «Отрывок из походных записок Лажечникова» (3 странички), «О просвещении у исландцев», «Смерть Лукреции», и т. д.

Мы освобождаем читателя от перечня статей в «Трудах» Московского Общества любителей словесности, которые в беллетристическом отношении ничем не превосходили образчиков сейчас представленных, а в ученном и критическом носили *школьный* характер, удалявший от них читателей даже и в то время. Критические статьи и заметки Мерзлякова и друг. составляют исключения, но счастливые исключения встречаются также точно и у «Соревнователя», как и у «Благонамеренного».

Повторяем вывод, который сам собою представляется легко, когда рассматриваешь деятельность всех этих «Собраний»: они не расчистили дороги никакому серьезному литературному направлению, не утвердили ничего похожего на учение, доктрину или теорию, и не воспитали на собственных своих началах ни одного сильного таланта, который мог бы служить их представителем, а потому и говорить о сходстве или различии их стремлений было бы праздным делом¹.

Стоит упомянуть разве об одной черте, их отличавшей. Всякий раз, как появлялись люди в роде Карамзина или Пушкина, открывавшие собой новые литературные периоды, «общества» наши, застигнутые врасплох, приходили в волнение, погружались в толки и разделялись на партии, из которых одни сочувствовали вновь появившемуся феномену и рукоплескали ему, другие со страхом и бранью отвращались от него; но все это движение не изменяло рутины и врожденной косности корпораций и их заседаний, да и длилось обыкновенно короткий срок, после которого ряды членов опять приходили в порядок и каждый снова стоял на старом месте, со старыми умственными привычками и со старыми отношениями к другим, как будто ничего особенного и не случилось².

Понятно, что при таком характере литературных обществ и при таком состоянии беллетристики и критики в их недрах, не Пушкину приходилось искать у них помощи и указаний, а напротив, они опре-

¹ Можно добавить к этому в виде археологической подробности, что «Общество» Измайлова склонялось более к воззрениям «Беседы Любителей Русского Слова» Державина и Шишкова, и потому преследовало в своем органе романтизм и его «баловней», между тем как «Вольное общество» Глинки радушно относилось к новым деятелям и видимо состояло под влиянием знаменитого «Арзамаса», хотя и собиралось в доме Державина, как прямой наследник основанной им «Беседы».

² Надо помнить, что мы не говорим о жаркой борьбе, происходившей некогда между членами Шишковской «Беседы» и «Арзамасом» и действительно разделявшей их сторонников на серьезные партии. Ко времени выпуска Пушкина из Лицея — 1818 г., ни «Беседы», ни «Арзамаса» уже не существовало фактически, о чем ниже.

делены были следить за ним и учиться у него: так именно и случилось.

С 1820 года Пушкин повлек за собой блестящими и быстро сменяющимися своими произведениями, из которых каждое открывало новые источники поэзии и неожиданные соображения эстетического, морального и частью даже политического характера, — повлек, говорим, за собой также точно читающую нашу публику как и литературные общества, и писателей, и во многих случаях против воли и желания последних, уже свыкшихся с покоем литературных собраний. Гораздо позднее описываемого нами времени, и уже домогаясь позволения на издание политической газеты (1833 г.), Пушкин, в проекте своей официальной просьбы по этому поводу, чертил о себе следующие строки, которые он имел, по нашему мнению, полное право сказать, но которые он однако же вымарал, как, вероятно, отзывающиеся отчасти хвастливостью: «Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя (Александра I), я имел на все сословие литераторов гораздо более влияния, чем *Министерство* (т.е. м-во Просвещения), несмотря на неизмеримое неравенство средств».

Исключение составляло одно только литературное общество, именно «Арзамас». Значение этого знаменитого общества не только не разъяснено у нас вполне, но вряд ли еще и понято достаточно ясно и правильно, благодаря тому, что историки и судьи «Арзамаса» видели в нем одну только шутливую сторону и сочли его на этом основании за сборище веселых и праздных собеседников. Шутливость «Арзамаса» прикрывала, однако же, очень серьезную мысль, что именно и дает ему право на внимание в истории нашего просвещения.

Известно, что «Арзамас» основан был для противодействия Державинско-Шишковской «Беседе Любителей Русского Слова» и для поддержания не только переворота в языке и литературе, произведенного Карамзиным, который поэтому и считался как бы невидимой главой «Арзамаса», но и для защиты прав русских писателей на свободную, независимую деятельность. Пушкин был членом «Арзамаса» еще с лицейской скамьи, но ко времени появления его в свет «Арзамас» и «Беседа» существовали только номинально, и на литературной арене уже более не встречались. Время уничтожило между ними яблоко раздора. Большая часть нововводителей в сфере русской мысли и слова успели уничтожить предубеждение своих

врагов и победоносно выйти из смуты и наговоров, которые вызваны были их появлением.

Много раз приводился в литературе нашей донос куратора московского университета Голенищева-Кутузова, в котором он указывает на Карамзина как на заговорщика, помышляющего о ниспровержении законной власти и присвоении ее себе, с помощью многочисленных своих поклонников. Поводы к такого рода чудовищностям крылись столько же в личных вопросах, сколько и в условиях тогдашнего быта. Неизбежная связь всякой литературы с внутреннею политикою, т.е. с состоянием умов и жизнью страны вообще, как бы ни старались мешать образованию этой связи, давала повод ужасаться всякий раз, как эта связь обнаруживалась сама собою. Тогда поднимались вопли и жалобы с двух сторон: со стороны слепых, боязливых умов, и со стороны смелых пройдох, имевших своекорыстные цели. И те и другие разрешались одинаково, нелепейшими подозрениями и обвинениями. Нечто подобное доносу Г.-Кутузова повторилось и позднее, в эпоху появления романтизма. «Вестник Европы» Каченовского, человека вполне честного и благородного, видел в попытке уничтожения пиитических правил, проповедываемой новой школой романтиков, — затаенное ее намерение высвободиться из-под власти иерархических и всяких других авторитетов. Это было только заблуждение; но еще позднее известный Булгарин уже пользовался страхом администрации перед тенью политической литературы, просто выдумывая сплетни и разоблачая небывалые политические замыслы, для погубления своих критиков и недоброжелателей, и успевал в том не раз, как показывает история его с Дельвигом (1831), бывшая одной из причин преждевременной смерти последнего.

Карамзин уже переехал в Петербург и пользовался высоким уважением государя; Жуковский, пенсионер двора с 1816 г., уже приговаривался к занятию поста воспитателя в царской семье; друзья и ревнители их славы — Уваров, Блудов, Дашков и друг. — уже стояли на дороге, которая повела их на высшие ступени в государстве. В виду все более усиливающегося их влияния и значения, «Беседа» потеряла часть своей энергии в преследовании новаторов, ту энергию, которой обнаружила так много еще не очень давно, именно в 1815, когда «Липецкие воды» кн. Шаховского, ее сторонника, со своим несколько топорным обличением баллаdistов и сантименталов, делили публику на два лагеря. «Беседа», в лице Шишкова, обнаружила даже попытки идти на встречу прежним врагам, а с другой стороны «Арзамас» совсем замолк и не собирался более с 1817 г.,

столько же потому, что прямые цели его основания были достигнуты, сколько и по другому обстоятельству. В недра его внесена была рознь с прибытием новых членов яркой современной политической окраски (М.Ф. Орлова, Н.М. Муравьева, Н.И. Тургенева), членов, которые не хотели ограничиться узкой, либерально-литературной задачей «Арзамаса», упрекали его в бесцветности, пустоте и праздности и указывали политические и социальные цели для деятельности. Но «Арзамас» именно и занимался ими, стоя на почве литературных, ученых и художественных вопросов и не уступил намерению втянуть его в колею тайных обществ. Он предпочел лучше не собираться вовсе, чем собираться для скорых приговоров и решений, которые неспособны были изменить строя нашей жизни ни на одну йоту к лучшему, и Д.Н. Блудов, отстранивший предложение М.Ф. Орлова, — обратиться к вопросам политического содержания, — конечно не изменял делу прогресса и развития в отечестве, выразив в долгой речи по этому поводу желание остаться на почве критики, изучения русского слова и литературы¹.

Как бы то ни было, но дух этих двух знаменитых литературных центров не исчез вместе с ними. Главнейшие представители обоих направлений, выражаемых этими центрами, не изменили своих убеждений и борьба между ними продолжалась и тогда, когда знамен, под которыми они сражались прежде, не было уже видно на литературной арене; только спор был перенесен теперь из области теоретических рассуждений и словесности вообще, где все смолкло, благодаря особенным обстоятельствам времени, на служебную и деловую арену.

Прежде всего следует сказать, что «Арзамас» не имел собственно никакой, ни эстетической, ни политической теории, чем и отличался от своего соперника, «Беседы Любителей». Последняя, благодаря А.С. Шишкову, обладала полным кодексом воззрений на лучшие формы языка, на предметы, которыми должно заниматься искусство, и на пути, которыми следует вести русскую жизнь и русскую словесность к их вящему преуспеянию в духе благочестия, народности и нравственности. Каковы были требования и определения этого кодекса — теперь уже разобрано и оценено по достоинству; но он, по

¹ Можно пожалеть, что слух о намерении «Арзамаса» издавать журнал, слух, сильно распространенный в тогдашнем литературном мире, оказался несправедливым, также точно как нельзя не пожалеть и о том, что не состоялась политическая газета Н.И. Тургенева. Мы бы могли судить тогда с полным правом о направлениях, разделявших старых членов «Арзамаса» от новых.

всем вероятиям, имел некоторую обольстительную сторону для своего времени, потому что мы встречаем в числе приверженцев «Беседы» и врагов «Арзамаса» таких людей, как П.А. Катенин и А.С. Грибоедов, не говоря уже об А.Н. Оленине и т. д. Может быть это зависело от полноты и целостности системы Шишкова, которая давала готовые ответы на самые трудные вопросы русского просвещения и быта. Как бы то ни было, но Катенин при всех называл книгу Шишкова «О старом и новом слоге» своим литературным евангелием, а модно-архаические, славянофильские тенденции Грибоедова достаточно обнаруживаются в некоторых выходках «Чацкого», что и объясняет холодность, с которой встретили некоторые истые арзамасцы, как, напр., князь Вяземский, его бессмертную комедию. Чем же был собственно «Арзамас», не имевший противопоставить «Беседе» никакой равносильной эстетической и философской теории, а тайным обществам никакой не только выработанной, но и намеченной политической темы?

«Арзамас» представлял собственно партию молодых людей, которые, опираясь на пример Карамзина, отстаивали право каждого человека, сознающего в себе нравственные силы, открывать для себя новые дороги в жизни и литературе. «Арзамас» ставил ни во что напыщенность и торжественность выражения, которыми многие тогда удовлетворялись, и ненавидел пустую, трескучую фразу во всяком ее виде — либеральном или консервативном. Более всего сопротивлялся он намерению водворить обязательные правила для умственной и общественной деятельности своего времени, подозревая тут замысел управлять нравственными устремлениями эпохи, не справляясь с ней, и утвердить за несколькими личностями право безапелляционного суда над всеми мнениями и начинаниями ее. Вот почему «Арзамас» неукоснительно принимал под свое покровительство все, что появлялось с ясными задатками развития, с несомненными признаками способности завоевать себе будущее. Он очень любил противопоставлять новые имена и таланты старым известностям, да не отступал и перед разоблачением упроченных, но все-таки фальшивых репутаций, обнаруживая при этом, сколько кумовства, дружеских подкупов и самовосхваления издержано было для сооставления их. В лице Жуковского «Арзамас» приветствовал и *романтизм* в нашей литературе, а когда воздвигнуто было гонение на самую идею романтизма — «Арзамас», уже явно не существовавший, выслал однако же, горячего защитника новому виду творчества, князя Вяземского, и поддерживал его своим согласием. Вот в чем

заклучались все теории Арзамаса. К этому надо прибавить, что орудием борьбы служили для него, когда он собирался еще в свои заседания, острота, насмешка, ироническое восхваление в стихах и прозе, причем, заставляя хохотать до упаду и таких людей, как Карамзин, «Арзамас» сам называл «галиматей» свои произведения. Ничто не могло быть более по вкусу Пушкину, тоже расположенному отмщать метким эпитетом, эпиграммой или пародией бессильные или отсталые претензии: «Арзамас» шутил, но по тогдашнему времени воспитывающими и образующими шутками.

В области понимания и представления гражданских обязанностей, влияние «Арзамаса» на людей обнаружилось не менее сильно. Тут опять мы не находим ничего похожего на систему или учение, с точностью определяющее все свои основы. Подобно тому, как на литературной почве чувство изящного, понимание таланта и силы в изображениях заменяло «Арзамасу» эстетическая теории, так на политической, вместо обдуманной программы, он обладал только живыми *инстинктами* свободы, стремлениями к образованию и крепкими надеждами на общечеловеческую, европейскую *науку*, как на лучшую исправительницу народных и государственных недостатков, а главное — он отличался непоколебимой верой в возможность соединения коренных основ русской жизни и русского законодательства — монархизма и православия со свободой лиц, сословий и учреждений. Проводя эти убеждения, «Арзамас» выражал истинную мысль своей эпохи, или по крайней мере огромного большинства ее людей, между которыми были и руководители ее судеб¹.

Конечно, несправедливо было бы смешивать характер и убеж-

¹ Строки эти были уже написаны, когда мы нашли подтверждение нашей мысли в двух замечательных изданиях последнего времени, именно в «Переписке Карамзина с Дмитриевым», издании академиков П. Пекарского и Я. Грота, и в «Истории царствования Александра I-го», составленной генералом М. Богдановичем. Не то ли же думал сам император Александр I-й, когда, по свидетельству своего историка, за несколько дней до кончины, говорил: «Пусть толкуют обо мне, что хотят, но я был и остался республиканцем». Конечно, знаменательные слова эти не могут быть поняты в смысле как бы отречения власти от своих прав, а содержат в себе, по нашему мнению, только благородное убеждение в ее назначении служить многостороннему развитию общества, всеми своими силами и средствами. И не пояснял ли ту же мысль Карамзин, когда в задушевной переписке с И.И. Дмитриевым, еще задолго до слов Императора, говорил: «я бы желал назвать себя монархическим республиканцем». Арзамасы были такими республиканцами, готовыми всем жертвовать за монархическое начало в России. С течением времени мысль о дружном, параллельном развитии власти и свободы затерялась в среде членов описываемого общества, но в эпоху цветения «Арзамаса» она составляла драгоценнейшее убеждение их.

дения честного, прямодушного, хотя и упорного А.С. Шишкова с характером и проповедями таких честолюбцев и проходимцев, как Магницкий и Рунич; но оба эти реформатора все-таки прикрывали свои мрачные цели началами, сходными с воззрениями Шишковской «Беседы». «Арзамас», можно сказать, целиком вступил в борьбу со старым своим врагом, очутившимся уже на административной почве. Недавно опубликовано было письмо¹ к государю бывшего попечителя с.-петербургского округа С.С. Уварова (от 17-го ноября 1821 г.), смело объяснявшее средства, употребленные Руничем для возведения простых ученых и учебных положений в преступные заявления и в уголовные проступки, — письмо, не оставшееся без неприятных последствий для его автора. Позднее, когда с назначением министром самого А.С. Шишкова (1824) пресловутая «Беседа» очутилась, так сказать, во главе управления ведомством народного просвещения — она нашла всех старых своих противников на своих местах. Новый министр, как видно из его записок, до конца своей жизни сохранял убеждение, что шаткость общественного порядка в России находится в зависимости от ослабления основ старой русской жизни, старого русского воспитания и образования, потрясенных литературной реформой последнего времени, которая открыла будто бы двери всяческому легкомыслию и вольнодумству. Следствием этих убеждений было появление цензурного устава 1826 г. с его известным, крайне притеснительным характером². В особенной смешанной комиссии, которая была составлена для просмотра иностранного цензурного устава, тогда же выработанного министром, заседали два арзамасца, Уваров и Дашков. Под их влиянием комиссия занялась не только иностранным цензурным уставом, но подняла вопрос и о русском недавно вышедшем, и строго разобрала его положения и основания³. Комиссия подготовила, таким образом, возможность нового проекта с более благоприятными условиями для русской ученой и художественной деятельности, который действительно вскоре и появился. Это был тот знаменитый цензурный устав 1828 г., который стоял так выше людей своего времени и укоренившейся цензурной практики, что никогда не был вполне применен

¹ В Материалах для ист. образования, г. Сухомлинова, 1866. Статья I.

² Мы воздерживаемся от ссылки на некоторые его параграфы, просто лишаящие возможности русских ученых и писателей заниматься вопросами истории, права и иностранными литературами. Любопытные могут найти устав в Полном Собрании Законов.

³ Из неопубликованных записок А.С. Шишкова.

к делу и большей частью оставался мертвой буквой вплоть до своего уничтожения в 1865 г.

Вообще, «Арзамас» представляет в истории нашей общественности поучительный пример собрания с одними нравственными и образовательными целями, формально просуществовавшего менее трех лет, но оставившего после себя долгий след и живую мысль, которая питала людей его, когда они уже были рассеяны по свету. Долго сохранили они свою либеральную окраску, одинаковое понимание европейских идей и неотлагательных нужд русского общества. Только гораздо позднее, в половине следующего царствования начинает тускнеть и заглубевать между ними единившая их мысль; люди «Арзамаса» наживают себе противоположные цели, расходятся в разные стороны и даже становятся отъявленными врагами друг друга. Что касается Пушкина, он остался ему верен всю жизнь.

Первые примеры светлых общественных стремлений, полученные им в общении с Жуковским, Карамзиным, Блудовым, Дашковым и другими членами «Арзамаса», залегли глубоко в его душе, вместе с твердым пониманием исторической почвы, на которой стремления эти могут быть осуществляемы. Если это созерцание не тотчас же выразилось на первых порах в его суждениях и поступках, то причиной были непреодолимые соблазны жизни, вместе с порывами и увлечениями молодости; но оно пустило корни в его мысль, в нравственную его природу, и при первой возможности дало свои отпрыски. Можно полагать, как уже было сказано нами, что атмосфера тайных обществ, окружавшая некогда его существование, сообщила впоследствии его слову ту прямоту, смелость и откровенность, с какими он отвечал на всякий вопрос, откуда бы он ни исходил. «Арзамас» дал ему нечто другое. Он научил его свободно, самостоятельно и независимо подчиняться условиям русского быта, желать им наиболее разумно содержания, искать для этих условий основ в мысли, философской поддержке, теоретического оправдания, и в то же время сохранять за собой право судить отдельные явления самого быта по своему разумению. Никогда он не был более смел и независим, как в то время, когда добровольно признавал необходимость покориться тому или другому требованию установленного порядка, потому что основывал эти уступки на представлениях и мотивах, еще казавшихся многим ересями и опасными идеями.

Но до всего этого еще было далеко, а теперь покамест невидимо копились только и отлагались на душе Пушкина все те начала, которые составили его последующий характер. Он продолжал пробо-

вать людей, искать впечатлений, либеральничать и потешаться жизнью. И вот, например, какой отрывок из его утерянных записок, касающийся Карамзина, сохранился в его бумагах, отрывок необычайно рисующий как его самого, так и высокую природу нашего историографа. Отрывок важен еще и тем, что написанный, по всем вероятностям в 1825 г., вскоре после смерти историографа, он выражает глубокую привязанность его автора к описываемому лицу и составляет как бы характеристику и надгробные проводы всему периоду нашего развития, кончившемуся с этим лицом.

«Кстати, замечательная черта, — говорит Пушкин. Однажды начал он (Карамзин) при мне излагать *свои любимые парадоксы*. Оспаривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе!» Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменялся. Я встал. Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мной, он ласково упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: «*Вы сказали на меня то, чего ни Шаховский, ни Кутузов на меня не говорили*». В течение шестилетнего знакомства, только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы, не говоря уже о Шишкове, которого он просто любил. Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось... Я прыснул, и мы оба расхохотались» ... В.А. Жуковский терпел точно такие же, если не большие выходки молодого человека и баловал его; может быть, пуще всех. Он, между прочим, первый смеялся его пародиям и эпиграммам на себя. П.А. Катенин рассказывает в своих (неизданных) «Воспоминаниях» о Пушкине, что Александру Сергеевичу очень нравилось, когда его сравнивали с Вольтером, и особенно доволен он был каламбуром, который выходил из шуточного прозвища, данного переводчиком «Андромахи» своему молодому другу. Катенин часто называл его: *un monsieur a rouer (Arouet)*, и Пушкин всякий раз заливался при этом веселым смехом, но собственно ни на какого, даже микроскопического Аруэта, ни тогда, ни после, поэт наш не походил. В описываемую эпоху он представляется нам веселым молодым человеком, у которого было гораздо более своевольтства, чем нажитых принципов, и гораздо более склонности к задирающей шутке или к производству эффектных либеральных гимнов, чем революционного одушевления или действительной ненависти к людям и установлениям.

Уважение к самостоятельному суждению и независимым мнениям Катенина пережило у Пушкина эпоху молодости и продолжа-

лось в зрелые годы его, но критические воззрения Катенина не имели большого влияния на Пушкина, как на поэта, потому что стесняли постоянно его свободу творчества и фантазии. Один пример таких воззрений находится и в «Воспоминаниях» П.А. Катенина. Так, упоминая о пьесе «Моцарт и Сальери», критик осуждает Пушкина за то, что построил свой драматический этюд на сомнительном анекдоте и оклеветал Сальери. Другой учитель Пушкина от этой эпохи, Чаадаев, кажется, действительно имел некоторые права на это звание, признанные за ним и нашим поэтом, как известно, но, конечно, не в той степени, в какой обыкновенно провозглашал их сам наставник. П.Я. Чаадаев уже тогда читал в подлиннике Локка и мог указать Пушкину, воспитанному на французских сенсуалистах и на Руссо, — как извратили первые философскую систему английского мыслителя своим упрощением ее, и как мало научного опыта и исследования лежит у второго в его теориях происхождения обществ и государств. Выводы и соображения, которые рождались из анализа этих предметов, конечно, должны были поражать Пушкина новостью и сделать в глазах его «мудрецом» самого их проповедника. В перечне людей, у которых Пушкин искал тогда наставлений, нельзя забыть об А.Н. Оленине. Почтенный председатель академии художеств, будучи родственником и почитателем Г.Р. Державина, разумеется, склонялся на сторону «Беседы» и не совсем одобрительно смотрел на полемические замашки «Арзамаса», но он имел важное качество. По званию артиста и по прямому знакомству с классическим искусством, он понимал эстетические законы, которые лежат в основании художнического производства вообще, а потому мог уразуметь изящество произведения, если бы даже оно явилось и не с той стороны, откуда он привык его ожидать. Так, он был один из первых, которые признали поэтическое достоинство «Руслана и Людмилы». Качество это сделало самый дом его нейтральной почвой, на которой сходились люди противоположных воззрений, что облегчалось еще необычайной любезностью хозяйки, урожденной Полторацкой, а потом, через несколько лет, приветливостью красавицы-дочери, воспетой Пушкиным. Поэт наш был у них, как свой человек, и по семейным их преданиям, часто беседовал с А.Н. Олениным об искусстве. Впрочем, ни одно из этих лиц не провело никакой глубокой черты на его характере или на его таланте, по которой можно было бы судить о роде и степени их влияния. Один «Арзамас» оставил только на нем неизгладимые следы своего политического и литературного на-

правления, а все прочее сгладилось или пропало в его дальнейшем, самостоятельном развитии.

Несчастье Пушкина состояло в том, что современная литература не отвечала ни на один вопрос, существовавший уже в обществе: читать было нечего, а еще менее чему-либо учиться у нее.

Нет сомнения, что период петербургского брожения, который можно назвать «искусом», пережитым мыслью Пушкина, ранее бы кончился для него, если бы тогда существовало какое-либо серьезное литературное направление, которое обыкновенно понуждает людей собирать свои силы и ставить задачи для их деятельности. Но эпоха живых, горячих литературных споров, мы уже сказали, кончилась, и на арене русской печати не стояло никакого вопроса. Место Карамзина, как основателя школы, оставалось пусто с 1815 г., когда он покинул его для главного своего труда, и было пусто лет десять, когда его занял сам Пушкин. Мы уже видели, чем занимались журналы, отчасти связанные с литературными обществами; но и те, которые могли назваться независимыми, носили на себе не менее плачевный беллетристический и критический характер. «Вестник Европы» Каченовского, например, бесспорно был лучшим журналом эпохи и оставался первым до самого появления «Московского Телеграфа» (1824). Никто, конечно, не забудет его литературных заслуг. «Вестник Европы», хотя издали и очень робко, но, все-таки следил за развитием конституционных порядков в Польше, за так называемым освобождением крестьян в Остзейских провинциях, печатал заметки о «свободном труде», и сначала даже намекал, в упрек классицизму нашей сцены, на существование великой романтической школы Гете и Шиллера. Он особенно выдался вперед при появлении «Истории Государства Российского» Карамзина, когда первый осмелился отнестись к ней критически и показать возможность другого понимания задач и фактов русской истории, за что и получил от ультра-карамзинистов генерическое прозвище «Зоила».

Кстати заметить, что ультра-карамзинисты имели, кроме того, очень много скрытых, не высказавшихся противников в публике. При выходе восьми томов истории Карамзина (1818) — этого памятника, с которого собственно и начинается у нас работа общественного самоопределения и самосознания, — труд Карамзина встречен был недоброжелательно не только людьми тайных кругов, но и множеством лиц, имевших претензию на либеральное, независимое развитие. Даже известный анекдот Пушкина свидетельствует о том же. «Историю Государства Российского» называли «придворной ис-

торией» и упрекали ее в отсутствии настоящих, исторических при-
емов для исследования прошлого славян и духа Московского кня-
жества. Ничто, однако же, не показывает так наглядно приниженно-
го состояния литературы тех годов, как обстоятельство, что наружу, в
печать и в публику, выходили от противников истории только замет-
ки о формальной ее стороне, а речь о принципах велась втихомолку.
Принципы, лежавшие в глубине разноречия между врагами и за-
щитниками «Истории», так и остались под спудом и не дошли до
потомства ни в одной печатной строчке. А между тем в них-то и
было все дело, потому что относительно археологии, ученого иссле-
дования предмета, эрудиции вообще, обе стороны в сравнении с ябло-
ком раздора — с обсуждаемой ими историей, были пигмеи и обыкно-
венно довольствовались кое-какими заметками, походившими на дет-
ский лепет. Итак, сущность спора, по необходимости, состояла в раз-
личном определении целей истории, в различном представлении той
службы, какую она вообще должна приносить современному обще-
ству, тех ответов, которых вправе ожидать от нее новые поколения в
их нуждах и требованиях, а это уже связывалось с развитием поли-
тических воззрений и направлений, существовавших в обществе. Вот
где было настоящее слово этого спора между враждующими парти-
ями; но ни секретные враги Карамзина, ни явные его приверженцы
никогда не затрагивали этого слова в литературе, хотя много зани-
мались им в частной жизни и частных беседах.

Со всем тем, если проследить все содержание московского «Ве-
стника Европы» в полном его составе за время, которым занимаемся,
то общий характер журнала окажется не более важным, чем у его
собратов по журналистике, и все дельные его статьи явятся опять
чем-то в роде приятных неожиданностей. Подробный список с ог-
лавлений его книжек мог бы представить такой же скорбный лист,
смеем выразиться, нашей литературы с 1815 по 1820 г., какой сам
сложился у нас из перечня статей «Соревнователя» и «Благонаме-
ренного», уже сообщенного читателю. И «Вестник Европы» напол-
нялся произведениями, отстоявшими далеко от уровня общего обра-
зованная эпохи. «Речь о главных обязанностях молодого человека,
вступающего в свет», Гавриила Попова, «О Спорах и Нориках, древ-
них именах Словен», «Отрывок из рассуждения о чистой Математи-
ке», «Об отличительных свойствах памятников Египетских и о том,
почему знаменитейшие из новейших художников не берут их для
себя за образцы», и проч., и проч. Вот что составляло ученый багаж
журнала. С беллетристической и художественной литературой было

еще хуже, и нет никакой возможности пробежать его переводы, в роде отрывка «Из обозрения степей славного путешественника Гумбольдта», хотя это не представило бы особенного труда, так как отрывок весь на четырех страничках, или перечитывать его мечтательные повести, его ребяческие идиллии, его стихотворения, притчи, басни и аллегории. Все это кажется как будто насмешкой над тогдашней читающей публикой, особенно когда знаешь разнообразие идей, полученных ею от Запада и сравнительную обширность ее образования.

Петербургский конкурент московского «Вестника Европы», журнал столь многоизвестного Н.И. Греча «Сын Отечества», также не лишен своего рода литературных заслуг. Он стоял ближе к умственному движению петербургской жизни, в которой принимал довольно деятельное участие, находясь постоянно в связях с противниками Шишковской школы, а потом с врагами партии правительственных мистиков, и не раз давал у себя место их жарким, прямым и косвенным протестам. Притом же журнал старался быть разнообразным и очень занимался критикой текущих явлений словесности. На страницах его встречаются самые почетные имена эпохи, начиная с Карамзина и С.С. Уварова, в нем даже и переписывавшихся между собой (1818 г., № VII), и переходя через ряд таких имен, как Головнин, Коцебу, А. Бестужев, Куницын, Давыдов и др. Все они сообщили свои вклады журналу, хотя, надо сказать, в необычайно микроскопических размерах. Чуть ли не наибольший из них, «Отрывок из путешествия вокруг света, флота капитана Головнина», умещался на 5-ти страничках крупного шрифта. Со всем тем нельзя не изумляться тому, что при подобных связях редакции и при такой обстановке журнал никогда не выходил из рамки умной, изворотливой посредственности. У него не было, как и у московского «Вестника Европы», руководящих идей. Само разнообразие журнала покупалось ценою крайнего ничтожества статей, сообщавших обыкновенно на двух-трех страничках разгониистой печати известия об иностранных литературах, всю современную историю и политику, разборы русских книг, сведения о театре и проч. Ученая и литературная критика, занимавшая в нем не более места, чем все другие статейки, не имела никаких твердых оснований, не проводила никаких зрело обдуманых убеждений, если исключить несколько протестов за свободу мышления и развития — и большей частью писалась с ветра, по капризу или случайному настроению авторов. Благодаря такому повсеместному состоянию критики в это время, весьма замечатель-

ные и почтенные ученые труды, явившиеся между 1816 — 20 гг., как, например, «Опыт теории налогов» Н. Тургенева, «Право естественное» А. Куницына, «Начертание статистики российского государства» К. Арсеньева, «История философских систем» А. Галича — никогда не знали на родине своей дельной оценки, которая вошла бы в сущность излагаемых ими предметов и учений. Последние три сочинения разобраны были не периодическими нашими изданиями, как следовало бы ожидать, а администраторами из партии мистических обскурантов, которые и произвели этот разбор, подкрепив его еще и надлежащими мерами, тем с большей свободой и развязностью, что ни с каким общественным и ни с каким авторитетным мнением в печати не имели надобности считаться. Все эти добросовестные труды, к которым следует еще причислить перевод Д. Велланского: «О свете и теплоте, как известных состояниях всемирного элемента» (из Окена) 1816, — просто потонули в пучине «большого света», где некоторые из них были подняты, как, напр., теории Окена — Велланского, усвоенные кн. Одоевским, а другие исчезли уже без следа, под шум разговоров о тысяче других явлений всякого рода. Так кончалась в памятное время министерства князя А.Н. Голицына первая четверть литературного периода, блестящее открытие которого Карамзиным и его последователями и сподвижниками в начале столетия, казалось, сулило ему совсем другую будущность.

Вина этого заглохшего состояния печати, конечно, отчасти падает на суровые обычаи тогдашней цензуры, изумлявшей слепотой и бессмысленностью придирок даже очень осторожные правительственные умы, но вместе с ней вину эту делят и многие другие лица и само общество. Цензура эта, как известно, была порождением страха в виду возбужденного состояния умов на Западе. Русская печать, еще ничем не заявившая склонности следовать революционной пропаганде своих и западных агитаторов, просто платилась за излишество и шалости европейской печати, возбуждавшей ужас всех оберегателей европейского порядка, в числе которых значилась тогда и наша родина. Как далеко она зашла в этой работе *предупреждения преступлений*, показывают многие изумительные примеры. В той же просьбе Пушкина, 1833-го года, о дозволении ему политической газеты, откуда мы уже извлекли один отрывок, находится и еще следующая зачеркнутая фраза, совершенно справедливая в сущности и опущенная им, вероятно, из нежелания возбуждать неприятные воспоминания у тех людей, в которых он нуждался: «Литераторы во время царствования покойного Императора — говорит Пушкин — были

оставлены на произвол цензуры своенравной и притеснительной. *Редкое сочинение доходило до печати*¹. В другой статье Пушкин потрудился сообщить и самые факты цензурной практики, на основании которых он сделал это замечание. Место, где он упоминает о ней, взято нами из статьи: «О цензуре», и в печать не попало. Известно, что статья эта принадлежит к ряду кратких разборов, писанных Пушкиным, тоже в 1833 году, на известную книгу Радищева, главы которой он проверял одну за другой на дороге из Петербурга в Москву. Приводимое место до такой степени ярко обрисовывает обычные приемы тогдашней цензуры, что после него нет надобности вести речь далее об этом предмете. «Было время, — пишет Пушкин, — *слава Богу, что оно прошло и, вероятно, уже не возвратится*, — что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной. Некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветою. Например — какой то стихотворец говорит о *небесных* глазах своей возлюбленной. Цензор велел ему, вопреки просодии, поставить, вместо небесных, голубые — *ибо слово небо принимается иногда в смысле высшего промысла*. В славянской балладе Ж. назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и не хотел пропустить баллады. Некто критиковал трагедию Сумарокова; цензор вымарал всю статью и написал на поле: «переменить, соображаясь с мнением публики...» Понятно становится, отчего некоторые имена тогдашних цензоров, как гг. Бирюкова, Тимковского и Красовского, например, не сходили с языка у писателей 20-х годов: они не могли надивиться довольно силе их фантазии и изобретательности при толковании самых простых мыслей и представлений. Пушкин ошибся только в одном: времена старой цензуры возвратились лет через 15 и даже в следствие одних и тех же причин, чужды русскому миру. Возникли и новые имена цензоров чуть ли еще не превзошедшие свои первообразы в подозрительности и в чудовищности своих догадок.

Но были еще причины беспомощного состояния литературы и поважнее цензуры, которая только делала свое настоящее дело. Об

¹ Пушкин отчасти испытал и на себе это действие цензуры. Имя его было так страшно и подозрительно ей, что он принужден был печатать несколько стихотворений, и притом самых чистых и возвышенных, как, напр., пьесы: «Овидию», «Мечта воина» — без подписи своего имени, а только со звездочками, во избежание ее придирок («Полярн. Звезда» 1823 года). Элегия («Простишь ли мне ревнивые мечты») тоже явилась без подписи автора («Пол. Звезда» 1824 г.).

идеальной цензуре с качествами государственного ума, способной строго оберегать интересы правительства и общественный строй, а вместе и понимать свободу, нужную мысли и словесности — тогда еще не было и помина. Цензура просто понималась, как застава, через которую следует пропускать как можно менее народа; но цензура, подобно всем другим установлениям, умеряется массой общественных и нравственных сил, ей противостоящих. К несчастью, последних-то и не было на лицо. Все лучшие силы времени ушли в молчаливые, гордые политические круги, презиравшие литературу, и заперлись там, почти никогда не выходя на литературную арену. После того, как с нее сошли и ветераны Карамзинского периода, вместе с главой своим, на другие, более обширные поприща — арена эта оставалась достоянием наших литературных обществ с их многочисленным персоналом, который, однако же, не имел ни трудовой энергии, ни особенно важных нравственных интересов, для ведения борьбы с некоторой настойчивостью и одушевлением. Цензура имела дело с разрозненными личностями и мелкими побуждениями, которых потому скоро и легко одолевала и устраняла. Умы и характеры другого рода сами сторонились перед нею, как перед несчастьем эпохи, чем, конечно, цензура оказывала плохую услугу обществу в деле изъяснения, поправления и обсуждения идей, в нем проявившихся.

Производительные силы не совсем, однако же, заглохли у нас и под ее гнетом. Литература наша пробуждена была из летаргического сна своего двумя явлениями, следовавшими одно за другим: поэмой «Руслан и Людмила» Пушкина, которая походила на неожиданный луч солнца, осветивший литературное поле, давно с ним незнакомое, и альманахом «Полярная Звезда» К. Ф. Рылеева и А. Бестужева, который обнаружил, что само поле это еще не вовсе лишено семян и цветов, и далеко не похоже на голую степь, какую из него хотели сделать люди и обстоятельства. Так как оба явления принадлежат, по нашему мнению, к весьма крупным событиям той эпохи, то мы и скажем о них несколько слов, начиная с позднейшего, альманаха «Полярная Звезда».

Какую значительную долю влияния на словесность, а через нее и на общество, могли бы иметь наши политические круги, доказывает то обстоятельство, что два члена из среды их, явившись с «Полярной Звездой» (1823), привели в движение все умы, поднятые уже деятельностью Пушкина, и положили конец их праздному существованию, так что 1823-й год должен считаться годом возрождения лите-

ратуры и поворота к труду, замыслам и начинаниям разного рода. Это подтверждается и фактами. «Полярная Звезда» поставила себе задачей собрать в один центр все наличные и доселе разрозненные литературные силы, что было необходимо и что она сделала при громком сочувствии, как публики, так и писателей. Второй ее задачей было учинить поверку всего литературного наследства, оставленного прежними деятелями, и при том с точки зрения новых людей, которые призваны пользоваться наследством и желают оценить его по соображениям и по мерке своего времени. За эту работу взялся постоянный «обозреватель» «П. Звезды», А. Бестужев, суждения которого, правда, часто рождались по вызову эффектной, вычурной фразы, попадавшей под его перо, но смелость которого и независимость от предания уже предвещали начало нового периода литературы. Пушкин скоро понял важность задачи, принятой на себя новым критиком, и поспешил к нему на встречу. Прямо и бесцеремонно завязывает он с ним в 1823 г., из Одессы, где тогда находился, переписку, которая делается все серьезнее, чем далее идет. Он опровергает некоторые положения Бестужева, предлагает свои определения людей и произведений, взамен высказанных критиком, и видимо не желает остаться без дела и участия в этом, только что открытом процессе над миром литературных явлений, процессе, который должен был положить конец мирному общежитию литераторов под гул одних и тех же похвал, под покровом одного и того же всеобщего потворства и кумовства. Но, литературный орган, созданный «Полярной Звездой» и имевший все задатки весьма блестящей будущности, рассеян был политической бурей, посеянной самими его основателями и их товарищами по заговору. Не пропал только толчок, данный литературе изданием; живительный дух, которым от него повеяло освежил атмосферу словесности, и вслед за ним являются новые сборники, новые издания: «Мнемозина» кн. Одоевского, «Северный Архив» Булгарина, и наконец «Московский Телеграф» Полевого. Сам Пушкин, поддержанный в роли представителя новых творческих начал и романтизма на Руси восторженными похвалами Рылеева и Бестужева, крепнет в силах и действительно становится главой и светилом литературного периода, который по справедливости своей носит его имя.

Но это еще будущее. Обратимся к поэме «Руслан и Людмила» и посмотрим, что такое она была для этой эпохи. Пушкин писал ее в маленькой своей комнатке, на Фонтанке, куда он возвращался после пирушек, литературных вечеров, походов всякого рода; где он

лежал иногда отчаянно больной и где потом принимал своих гостей, готовый на всякую проказу по первому их призыву¹. «Руслан и Людмила» создавалась в среде всего этого смутного, тяжелого, в разных смыслах, времени и была единственным делом, занимавшим Пушкина в течении многих лет. Несколько подробностей, касающихся истории возникновения этого первого труда нашего поэта, которые сообщаем ниже, кажется, не будут лишними даже для определения степени его развития и состояния его мысли в ту эпоху.

Известно, что Пушкин потрудился оставить нам в записных своих тетрадях почти всю историю своей души, почти все фазисы своего развития и даже большую часть мимолетных мыслей, пробежавших в его голове. Исключение из этого правила составляет только первая, начальная тетрадь его, пустые страницы которой дают красноречивое свидетельство о том, как еще бедна была его жизнь нравственным содержанием. Он ничего не внес в первую свою тетрадь, кроме двух посланий к приятелям, одной эротической эпistolы, одной французской блюетки, переложенной потом в русскую пьесу («Твой и Мой»), одной эпиграммы («Ты прав, несносен Фирс»), пять-шесть стихотворений вчерне², да несколько бессвязных, неразборчивых строк какой-то начинавшейся, но незаконченной фантазии, похожей на программу к пьесе — «Фауст и Мефистофель». Никаких признаков беседы с самим собою, что составляло отличительную черту позднейших его тетрадей, здесь мы не встречаем, а если и является нечто подобное такой беседе, то исключительно в форме рисунков. С одним из них мы уже знакомы, но, кроме его, тетрадь наполнена эскизами женских головок, начертанных весьма бойким карандашом и мужских портретов, иногда в целый рост, как, например, тогдашнего петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, который в то же время был и героем театральных, закулисных романов. Между этими изображениями мы встречаем и голову самого Пушкина, слившуюся в один поцелуй с другой неизвестной женской головкой:

¹ Несколько слов о ней сохранилось в «Русском Альманахе», изд. В. Эртелевым и А. Глебовым (стр. 218).

² В числе их находится и пьеса: «Уединение» («Деревня», по первой редакции), конец которой, направленный против крепостного права, стал известен и государю, одобрявшему как мысль, так и стихи произведения; но эта вторая и существеннейшая половина его не попала ни в одно издание сочинений поэта при его жизни. Так точно другое стихотворение, тогда же им написанное (а не в лицее, как утверждают некоторые биографы), именно: «Послание к Императрице Елизавете Алексеевне», только один раз было напечатано в журнале «Соревнователь Просвещения» (1819, № 10-й) и затем уже не повторялось более вплоть до 1856 г.

импровизированный художник так дорожил подобного рода воспоминаниями, что под рисунком сделал подпись: «Le baiser, 1818, 15 Déc.» От всех листов начальной его тетради веет страшно-рассеянным существованием, не находившим времени поместить что-либо иное, кроме впечатлений, какие вызывала и искала игра молодых и только что проснувшихся физических сил. Напрасно было бы ожидать тут следов его чтения, бесед с людьми, наблюдения жизни, нравственных и исторических заметок, что составляет такую поучительную сторону его тетрадей вообще: автору еще нечего было соображать, нечего помещать и не в чем исповедываться.

Ясно становится, что жизнь для Пушкина представляла еще не что иное, как простой сбор материалов, разбор и обсуждение которых отлагались до другого времени.

Есть, однако же, как в этой начальной тетради, так и в отдельных листах, составляющих ее дополнение, свидетельство, что самый упорный, усидчивый труд не был чужд ему даже и в это время: перемаранные, искрещенные и опять восстановленные строфы «Руслана и Людмилы» занимают в тех и других огромное место. Если принять в соображение, что поэма задумана еще на лицейской скамье и не совсем была готова даже весной 1820 — то время, употребленное на ее создание, придется определить четырьмя или, может быть, пятью годами. Ни одна из поэм не стоила Пушкину стольких усилий, как та, которою он начинал свое поприще и которая, по-видимому, не должна была очень затруднять автора: только необычайная отделка всех ее частей могла бы изоблечить тайну ее произведений, но об этом никто не догадывался: тогда вообще думали, что Пушкину достается все даром. Дни и ночи необычайного труда положены были на эту полусушутливую, полусерьезную фантастическую сказочку, и мы знаем, что даже основная ее мысль, идея и содержание достались Пушкину после долгих и долгих исканий. Так, мы встречаем у него множество программ для русской сказки, в числе которых наиболее понятная и разборчивая назначает еще героем поэмы пыльного Бову, попавшего в руки злого царя и спасающего свою жизнь разгадыванием его загадок и исполнением его неисполнимых задач, при помощи, с одной стороны, дочери царя, царевны Мельчигреи, а с другой — доброго волшебника. Имена действующих лиц приложены тут же: Маркобрун, Сувор, Зензивей, Милитриса, *Дидон*, *Гвидон*. Лет через 15, когда Пушкин вздумал опозитизировать русскую сказку на свой манер, он употребил в дело последние два имени. Всего замечательнее, что первая мысль о нынешнем названии поэмы представилась

Пушкину во французской форме, именно так: «Rousslane et Ludmilla». Слова эти написаны на самой программе о Бове и уже предвещают чужестранные, ариостовско-французские приемы самой поэмы, которую они породили.

Так в течении трех лет шумной петербургской своей жизни, Пушкин находил приют для мысли и души своей в одной этой поэме, возвращался к самому себе и чувствовал свое призвание через посредство одного этого труда! Со стороны это может показаться очень мало, но у Пушкина, как и у всех его друзей, начиная с Жуковского, было предчувствие, что «Русланом» он мог завоевать себе исключительное положение в литературе.

И действительно, Пушкину суждено было именно поднять и оживить литературный мир и общество своей поэмой. При появлении ее в 1820 г., она делается сигналом пробуждения не только старых партий и их воззрений на словесность, но и всех их страстей, которые казались заснувшими надолго. Классики-староверы и прежние реформаторы принимаются снова за давний, оставленный ими спор. Затем все, что только страдало отсутствием чтения, поэтических впечатлений, художественного удовлетворения мысли, то есть огромное большинство русских читателей — бросается на поэму Пушкина, как на живое слово, разрешающее долгий пост, в котором томился русский люд со своими эстетическими потребностями. Не подлежит сомнению, что всеобщее царство скуки и пошлости, охватившее нашу словесность незадолго перед появлением поэмы, много способствовало ее успеху, но она имела еще и сама по себе обаятельные качества. Никто не мог вдоволь наслушаться сладчайшей стихотворной речи, какой заговорил ее автор, а еще более никто не мог довольно удивиться бойкости всех его приемов, рассказу его, исполненному движения, разнообразию найденных им мотивов, занимательности содержания, построенного на сказочных небывлицах. Все, что прежде выдавалось за народную русскую жизнь в повестях Карамзина, в балладах Жуковского, в одах на манер «Ермака» Дмитриева и проч., меркло перед новым способом изображать сказочный мир и вводить его в сферу искусства. Не то, чтобы тут открывались вполне или даже частью разоблачались тайны народного творчества и народной фантазии, хотя некоторые из их ходов и приемов угаданы довольно счастливо, но тут поражало мастерство и виртуозность, с какими разрабатывались произвольные темы, в духе народных сказаний. К этому присоединились еще и другие оригинальные отличия поэмы от старых подделок под русские предания: ни малейшего

признака нервной слабости или фальшивого одушевления, ни напыщенности, ни слезливости, ни фантазмагории страхов и чертей; напротив, все в ней было весело, бодро, страстно и имело молодое здоровое выражение. Вот чем поразила первая поэма Пушкина современников, которые, наслаждаясь ею, думали, что она передает сущность и характер народной поэзии. Конечно, теперь «Руслан и Людмила» являются не более как изумительным *tour-de-force* начинающего таланта, и о сродстве поэмы с народным творчеством не может быть и речи.

Вообще, историческое изложение совершенно необходимо, когда идет речь о первых опытах Пушкина и о восторгах, с какими их встречала публика. С этой поры, с «Руслана» именно каждое из его произведений только увеличивает круг литературного волнения, поднятого начальной поэмой. Надо перенестись мысленно в ту эпоху и, если возможно, сделаться на мгновение ее современниками для того, чтобы основательно понять, какое громадное впечатление должны были производить следовавшие за тем поэмы Пушкина. Все было в них открытием. «Кавказский Пленник» и «Бахчисарайский Фонтан», например (1822 — 24), изумили и околдовали публику неподдельным языком страсти, искренностью чувства, пылом молодого сердца, биение которого слышалось, так сказать, во всех их строфах, уже не говоря о поэтично-реальной обстановке, в которой двигались их романтические события и байронические характеры.

Впечатление росло с каждым годом. Едва публика успела насытиться двумя поэмами Пушкина, как он явился перед ней опять с ослепительной картиной Петербурга и с начальным абрисом характера, уже не имевшего и признаков романтической неопределенности прежних его героев (первая глава «Онегина», 1825). Затем, когда в том же году разнесся слух о «Цыганах» и отрывки из них пошли по рукам в списках, Пушкин возведен был общим приговором в гениальные писатели, хотя далеко еще не все права на это название состояли у него на лицо. Кстати о списках. Это напоминает нам, что Пушкин мог уже и тогда избавиться от стеснительных условий печати, характеризовавших эпоху. Издателям его и поверенным в делах стоило не малых трудов, чтобы помешать распространению каждого нового его произведения в многочисленных рукописных экземплярах прежде посещения самими оригиналами типографского станка, который, таким образом, становился ненужным автору для сообщения с публикой и для приобретения славы. Известно, что одни только *денежные соображения*, которые у Пушкина всегда стояли на

первом плане, помешали всем его поэмам, следовавшим за «Русланом», опередить пример, данный позднее комедией Грибоедова, и — миновав цензуру и печать, обойти весь русский мир, до самых крайних его углов, в рукописях. Но мы ушли вперед и возвращаемся к нашему рассказу.

Прежде чем была окончена поэма «Руслан и Людмила», над Пушкиным обрушилась давно ожидаемая и предвиденная катастрофа.

Подробности дела, кончившегося высылкой Пушкина из Петербурга, не вполне известны, так как составляют еще секрет архивов; но можно принять за достоверные и доказанные следующие известия о нем. Дело началось по докладу петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, который получил, не без труда и издержек, как мы слышали, копию с известной оды «Свобода» и с нескольких политических эпиграмм и песен, ходивших под именем Пушкина в городе. Многим уже было тогда известно, что доклады генерал-губернатора о лицах и происшествиях, несмотря на все его добродушие и рыцарскую правдивость, носили строгий, несколько преувеличенный характер¹, и не имели важных последствий только по отвращению государя вообще к шуму из пустяков. На этот раз случилось иначе. По всем вероятностям, государь повторил только слова доклада, когда, встретив на прогулке, в Царском Селе, директора лицея Энгельгардта, сказал, что Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами, которые вся молодежь учит наизусть (Пушин, «Атений», 1859 г. № 8). Энгельгардт горячо защищал характер молодого поэта, и слова его были выслушаны благосклонно. Дело в том, что рыцарская струна в сердце государя, всегда очень чувствительного к правдивому заявлению, была уже затронута поступком Пушкина в канцелярии генерал-губернатора, куда он был потребован вслед за докладом. Приглашенный указать свои стихи, Пушкин с откровенностью и полной надеждой на высокий характер того, от имени которого исходило приказание, написал тут же на память все литературные грехи своей музы, за исключением, впрочем — как говорили тогда — одной эпиграммы на гр. Аракчеева, которая бы ему никогда не простилась. Со всем тем можно полагать, что ни заступничество Энгельгардта, ни этот поступок самого Пушкина не в состоянии были бы смягчить во многом ожидавшего его приговора, если бы не явились еще более могущественные ходатаи за поэта. Н.М. Карамзин,

¹ См. «Историю» г. Богдановича.

предуведомленный П.Я. Чаадаевым о бедствии, грозившем Пушкину, поспешил к нему на помощь и заинтересовал в судьбе его статс-секретаря гр. И.А. Каподистрия, пользовавшегося еще тогда — до греческого восстания — великим доверием государя. Граф Каподистрия, знакомый с характером настоящих агитаторов в Европе, понимал Пушкина чуть ли не лучше самых близких его знакомых и хорошо видел, на какой основе тщеславия, минутных увлечений и молодых страстей держится вся его политическая пропаганда. Будущий президент греческой республики употребил свое влияние для того, чтобы изменить первоначальное, довольно суровое решение, принятое относительно памфлетиста и, благодаря еще поруче Карамзина, успел в том. Вместо ссылки в Сибирь, которая угрожала Пушкину, или даже водворения на покаяние в Соловецком монастыре — как утверждают некоторые — все дело ограничилось простым служебным переводом из Петербурга в канцелярию генерала И.Н. Инзова. Последний, занимая должность «попечителя колонистов южного края», проживал в Екатеринославле и состоял в ведомстве того же министерства иностранных дел, где служил Пушкин и на управление которым граф И.А. Каподистрия имел почти одинаковое влияние с его официальным начальником графом Нессельроде. В довершение своих благодеяний, граф предупредительно снабдил еще Пушкина собственноручным, рекомендательным письмом к генералу Инзову, что помогло изгнаннику нашему с первого же раза установить некоторый род свободных отношений к новому своему начальству. Все это делалось с ведома и совета Карамзина. 5-го мая 1820 г. Пушкин и покинул столицу.

Есть однако же еще одна подробность, принадлежащая тоже к этому делу и опускаемая обыкновенно биографами, но весьма важная, как для характеристики самой эпохи так и по тому обстоятельству, что в свое время потрясла Пушкина до глубины души: — мы говорим о слухе, который еще задолго до призыва поэта к генерал-губернатору распространился в городе и упорно держался затем некоторое время. На основании его, во всех углах говорилось, что Пушкин будто бы был подвергнут телесному наказанию при тайной полиции за вольнодумство. Когда слух дошел до Пушкина, он обезумел от гнева и чуть не наделал весьма серьезных бед, чему легко поверить, зная его представления о чести и о личном человеческом достоинстве. Через пять лет он еще дрожал от негодования, вспоминая о тогдашней позорной молве, запущенной на его счет, и памятником этого душевного состояния остался в его бумагах один стран-

ный документ от 1825 года. Проживая тогда в Михайловском после второй своей ссылки и изыскивая все способы освободиться от заточения, Пушкин решился обратиться с письмом на имя императора; но вместо дельного и согласного с обстоятельствами письма, из-под пера его вылился какой-то пламенный и фантастический монолог, в котором правдиво было только глубоко-возмущенное чувство, его подсказавшее. Письмо было набросано по-французски и выписку из него мы здесь приводим в переводе. Разумеется, оно никогда и ни в каком виде не было послано. «Мне было 20 лет в 1820 г., — говорит в нем Пушкин. Несколько необдуманных слов, несколько сатирических стихов обратили на меня внимание. Разнесся слух, что я был позван в тайную канцелярию и высечен. Слух был давно общим, когда дошел до меня. Я почел себя опозоренным перед светом, я потерялся, дрался — мне было 20 лет! Я размышлял, не приступить ли мне к самоубийству или... Но в первом случае я сам бы способствовал к укреплению слуха, который меня бесчестил, а во втором, я не смывал никакой обиды, потому что обиды не было: я только совершал преступление и приносил жертву общественному мнению, которое презирал... Таковы были мои размышления; я сообщил их одному другу, который вполне разделял мой взгляд. Он советовал мне начать попытки оправдания себя перед правительством: я понял, что это бесполезно. Тогда я решился выказать столько наглости, столько хвастовства и буйства в моих речах и в моих сочинениях, сколько нужно было для того, чтобы принудить правительство обращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири, как восстановления чести.

«Я был глубоко тронут великодушными мерами правительства относительно меня, которые окончательно уничтожили смешную клевету...»

Черновое письмо здесь обрывается, но остановимся на нем еще одно мгновение.

Нет никакой возможности, на основании исторических данных, принять целиком объяснение Пушкина и поверить, что только из желания смыть с себя пятно, наложенное неблагородной почвой, отдался он задирающему либерализму и всем увлечениям жизни и пера, которыми ознаменовали петербургский период его развития. В отрывке есть еще и смешение эпох: сколько нам известно, например, в Петербурге Пушкин ни с кем не дрался, и слова его могут быть отнесены только к эпохе его пребывания в Кишиневе. Истина письма заключается, как уже сказали, в неудержимом чувстве негодова-

ния, которым оно пропитано, благодаря одному воспоминанию о давно забытом слухе. Самый факт возникновения такого слуха еще очень знаменателен, и если мы теперь свободно, хотя и не без стыда за свое довольно давнее прошлое, говорим о нем с публикой, то именно в виду его исторического значения. Стоит только подумать, что такой слух зародился и находил себе полную веру в недрах того же самого общества, которое занято было глубокомысленными нравственными и политическими вопросами, которое готовилось к социальному перевороту и для которого издавалась с высочайшего дозволения волюминозная книга Делольма «Конституция Англии», даже и посвященная августейшему имени¹. Позорный слух никого не изумил, никому не показался бредом, изрыгнутым каким-либо маньяком: так еще сходилась он с административными нравами вообще, с тем, что всегда можно было ожидать от условий тогдашней русской жизни. Если вспомнить еще, что слух передавался тогда совсем не с ужасом или негодованием от человека к человеку, а с шуткой и добродушной веселостью, то характер обстановки, в которой жило это общество, и самых его понятий о правах людей и чести, покажется, может быть, далеко не блестящим.

Как бы то ни было, Пушкин покинул Петербург, конечно, неохотно, но не с тем мрачным отчаянием, которое сопровождало его позже при вторичном насильственном переселении из Одессы в Михайловское (1824). Он уносил из Петербурга сладкие воспоминания и полагал, что расстанется с ним не надолго. С тех пор Петербург никогда уже не терял над ним своего обаятельного влияния; мы знаем, что, несмотря на бездну новых впечатлений, встреченных па юге России, Пушкин уже не отрывал глаз своих от Петербурга. Он жил его жизнью, разделял мысленно его удовольствия и занятия, и вместе с партией друзей, там оставленных, боролся с теми, кого они считали врагами. В этом смысле замечание наше о косвенном влиянии на судьбу поэта министра народного просвещения, князя А.Н. Голицына, оправдывается фактами. Пушкин уже около месяца жил в Кишиневе, когда книга Куницына, по которой он учился — «Право естественное» — подверглась запрещению и конфискации по определению ученого комитета министерства народного просвещения, в

¹ Вот полное ее оглавление по каталогу Смирдина, где она приведена за № 2112: «Конституция Англии, или состояние английского правления, сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями, соч. де-Лольма, пер. с фр. Иван Татишев, 2 части. М. В универс. типогр. 1806 г. (8) 15 руб.»

октябре 1820, согласившегося с мнением о ней Магницкого и Рунича. Через год нагнала его весть в том же Кишиневе о полном торжестве мистической обскурантной партии, об исключении четырех профессоров из стен петербургского университета и проч. Известия эти, из которых последнее совпало еще с возбужденным состоянием умов в Кишиневе, видевшем так сказать зародыш греческой революции в своих стенах, и затем дальнейшее ее развитие в соседней Молдавии — открыли двухгодичный период настоящего «*Sturm und Drang*» в жизни Пушкина. Тогда-то написана была известная эротическая поэма его, в виде ответа на корыстное ханжество клерикальной партии, наградившая потом автора мучительными угрызениями совести на всю жизнь, и тогда же воцаряется в душе его, под именем байронизма — мрак и хаос искусственно-возбужденных и разнузданных страстей, прорезаемый по временам полосами чистого, светлого, целомудренного творчества. Время было страшное, и поэзия одна спасла тогда Пушкина от конечной потери той изящной, нравственной физиономии, под которой он известен русскому миру: она одна поддерживала его и вывела опять на предопределенную ему дорогу.

V.

НА ЮГЕ РОССИИ.

1820 — 1823.

Прибытие в Кишинев Пушкина после поездки на Кавказ и в Крым. — Его настроение. — Планы обличительной комедии, трагедии, сатиры и поэмы. — Русский байронизм и его характеристика. — Село «Каменка» и ее влияние. — Начало греческой революции. — Кишиневское общество. — Назначение графа М. С. Воронцова наместником края и переход Пушкина на службу в Одессу.

Нет никакой нужды повторять здесь еще раз сказание о прибытии Пушкина в Елисаветград к генералу Инзову, о болезни, постигшей его там, и о появлении в городе семейства Раевских, которое увезло с собой поэта на Кавказ, в Пятигорск, куда само направлялось. Также точно могут быть опущены и известия о том, мирно-художественном характере жизни, сделавшейся уделом поэта сперва в Пятигорске, а потом в Крыму. Все это неоднократно пересказывалось биографами Пушкина, на основании собственноручных его писем к брату и к б. Дельвигу, которые тоже приводимы были *in extenso* уже несколько раз. Гораздо любопытнее этих данных — новый свет, брошенный на поездку Пушкина документами, недавно опубликованными: важнейший из них принадлежит Н. М. Карамзину, который в письме к Дмитриеву («Переписка Кар. с Дмитр.», стр. 290) положительно заявляет, что путешествие на Кавказ дозволено было Пушкину, как *знак прощения поэта за прошлые его вины*, прибавляю, что правительство еще положило ему выдать при этом

на дорогу 1000 руб. Факт пересылки этого правительственного пособия Пушкину через посредство К.А. Булгакова не подлежит сомнению. В «Русском Архиве» 1863 г. (№ 12) напечатано письмо Инзова, извещающее К.А. Булгакова о получении этих денег и о передаче их по назначению, но при этом ген. Инзов приписывает одному себе почин дозволения вояжа, прося Булгакова замолвить перед И.А. Каподистрия доброе слово, в случае, если последний не одобрит этого распоряжения. Оба известия, Карамзинское и Инзовское, могут быть соглашены: правительство, наказавшее Пушкина, выслало ему в знак примирения 1000 р., еще не имея сведений о состоявшемся его путешествии, и потом одобрило этот факт, как отвечающий его собственным намерениям относительно поэта. Рука благородного начальника Пушкина по министерству иностранных дел, И. А. Каподистрии, чувствуется во всех этих распоряжениях; да он и не ограничился этим, а в следующем, 1821 г, справлялся еще о положении Пушкина прямо из Лайбаха, где тогда находился с императором на конгрессе. Все это давало Пушкину основательный повод надеяться на скорое возвращение в Петербург. Вышло однако же иначе. С того же Лайбахского конгресса, на котором рассуждали о делах Испании и Греции, граф Иван Антонович отказался от должности статс-секретаря и в следующем году покинул Россию: Пушкин был забыт, да к тому же и байроническое направление, которому он все более и более подчинялся, оказалось важной помехой к осуществлению его ожиданий и предположений.

История развития байронического направления и есть собственно история Пушкина за все время его пребывания на юге России. Там он приобрел его, и там же пережил его и победил. Но байронизм русский вообще и Пушкина в особенности, имел только отдаленное сходство с явлением, известным в Европе под этим именем. На нашей почве байроническое настроение приобрело такие родовые черты, такую чисто-местную национальную окраску, и в крайних своих порывах оттенялось такими своеобразными, иногда свирепыми и вообще антигуманными подробностями, что изучение *нашего* байронизма становится делом крайне любопытным и поучительным.

Байронизм подкрадывался к Пушкину тихо, и прежде всего своими эстетическими и художественными приемами, в ожидании времени, когда практические следствия этого учения, устраивающие самую жизнь, окажут, в свою очередь, неизбежное действие на его существование. Мы скоро увидим, как понято было им это учение и в какой оригинальный цвет оно окрасилось; но здесь должны еще сде-

лать предварительно следующее замечание. Полное подчинение образу, волновавшему тогда почти все умы Европы, должно было неизбежно свершиться в душе Пушкина при первом знакомстве с Байроном: тут он обретал, наконец, учение, соответствующее пылу молодого ума и притом такое, которому легко было покориться, ибо оно прежде всего стояло за право личности относиться свободно ко всем явлениям жизни исторического, политического и общественного характера. Весь круг идей, в котором он доселе вращался, показался ему крайне ничтожен и бледен перед основаниями и стремлениями британского поэта, и только вместе с утихающей молодостью и возвращавшейся трезвостью суждения всплыли наверх опять взгляды и уроки, полученные им от петербургского периода жизни, в беседах с людьми, подобными Карамзину, Жуковскому и проч., как сказали, и которые глубоко залегли в его душе. Ход этой нравственной революции, настигший Пушкина в Кишиневе, мы здесь и изложим по документам, которые сохранил сам поэт для своей биографии в своих заметках.

Старый генерал Раевский, которого Пушкин, в одном из своих писем, называет *человеком без предрассудков*, был родственником Потемкина и живым остатком екатерининского века, сохранившись от него при критическом отношении ко многим темным его сторонам, одно существенное его предание, именно учение о праве главы избранной дворянской фамилии понимать службу государству и свои обязанности перед ним так же, как честь и доблесть своего звания, независимо от каких-либо посторонних требований и внушений, что не мешало ему самому быть очень твердым и подчас суровым истолкователем личной своей воли с другими. Семейство его состояло тоже из гордых и свободных умов, воспитанных на тех же доктринах личного, унаследованного права судить явления жизни по собственному кодексу и не признавать обязательности никакого мнения или порядка идей, которые выработались без их прямого участия и согласия. Старшая дочь Раевского, Катерина Ник., та, о которой Пушкин отзывался, как о женщине необыкновенной, умела покорять людей твердостью характера и прямоотой своего слова. В Кишиневе, куда она явилась позднее, и уже супругой генерала М. Ф. Орлова, ее называли за эти качества в шутку друзья дома «Марфой Посадницей». Под ее руководством и под руководством ее сестры, впоследствии кн. Волконской, Пушкин принялся на Кавказе за изучение английского языка, основания которого знал и прежде. Книга, которую они выбрали для практических упражнений, была — «Со-

чинения Байрона». Таким образом, благоговение к великому поэту росло в Пушкине по мере самого углубления в смысл его идей; а известно, какие задушевные отношения образуются между читателем и автором от подобных долгих, непрерывных бесед друг с другом. На Кавказе же, к семейству генерала Раевского присоединился и старший сын его, Александр Николаевич, с которым Пушкин сошелся тотчас же и очень близко. Пушкин возымел с самого начала весьма высокое понятие о качествах своего друга. Он прямо писал брату, что старший сын Раевского будет более нежели известен; а на словах, как нам передавали, выражался еще решительнее. При тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы, Пушкин говорил об Алекс. Н — е, как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий. Друзья часто сиживали, как вспоминает сам поэт в другой, позднейшей своей поездке на юг (путешествие в Арзерум, 1829), на берегах Подкумка, в виду величавого Бешту, и долго беседовали. Содержание этих бесед никто, конечно, передать не может, но вот что любопытно: А. Н. Р. уже пользовался тогда репутацией скептического ума в нашем обществе. Когда, в 1823 г., Пушкин напечатал свое лирическое стихотворение «Демон», общественное мнение узнавало в недовольном, разочарованном человеке пьесы лицо его друга, хотя никаких дельных оснований для такого предположения вовсе не существовало. Даже и в печать проникло мнение, что стихотворение списано с живого и существующего оригинала. Пушкин вздумал приготовить по этому поводу заметку, которую собирался послать в журналы, без подписи имени и как бы от постороннего лица, но которая, однако же, не попала в печать, хотя по изворотливости языка и некоторому тону лицемерия, обусловливаемых тогдашней цензурой, видимо приготавливалась для опубликования. Приводим заметку, как она найдена нами, в кратких афоризмах, не совсем обделанных и едва набросанных, потому что и в этом черновом виде своем она еще крайне любопытна, наивно объясняя усилия, с какими люди того времени додумывались до созерцания «демонов».

«Многие, — пишет Пушкин, — были того же мнения¹ и даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в этом *странном* стихотворении... Кажется, они неправы; по крайней мере, я вижу в «Демоне» цель более нравственную. Не хотел ли

¹ В предшествующем, недостающем периоде была или могла быть, по всем вероятностям, речь о «Демоне», как о копии с живого оригинала.

поэт олицетворить сомнение? В лучшее время жизни — сердце, не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия сущности рождают в нем сомнение, чувство мучительное, но не продолжительное... Оно исчезает, уничтожив наши лучшие и поэтические предрассудки души... Недаром великий Гете называет вечного врага человечества — духом *отрицающим*... И Пушкин не хотел ли в своем «Демоне» олицетворить сей дух отрицания или сомнения и начертать в *приятной* картине печальное влияние его на нравственность нашего века?»

Во всяком случае, благодаря обществу, в котором теперь обрелся Пушкин, ум его настроен был гораздо серьезнее, чем когда-либо прежде. Все было серьезно кругом него, начиная с кавказской природы и кончая людьми. Действие подобной обстановки отразилось и на его произведениях. Прекрасные этнографические подробности, которыми наполнен «Кавказский Пленник», тогда же задуманый, показывают, что старый, шаловливо-остроумный тон его музыки был уже порван и мысли указано новое течение. Даже в неудачной попытке создать байронический характер в лице героя поэмы, несостоятельность которого почувствована была самим автором прежде публикации, есть намек на появление умственных и творческих задач, гораздо более важных, чем все доселе его занимавшие. Но главная услуга, оказанная Пушкину теперешней его обстановкой, все-таки заключалась в том, что возбудила в нем жажду учения, самообразования, подняла в уме его вопросы, для которых требовалась уже вседневная привычка к размышлению и круг познаний, доселе ему еще не достававший. По образованию он не стоял в уровень ни со своими привычными собеседниками, ни с репутацией, которой начал пользоваться; он бросился на труд пополнения своего воспитания с удвоенной энергией. Последней не могли ослабить уже и все утехы Юрзуфа, местечка в Крыму, сделавшегося почти знаменитым в истории нашей литературы, благодаря пребыванию в нем Пушкина. Там он отдыхал от кавказского лечения, вместе с семейством Раевских и другими наехавшими гостями и гостями. Как ни велики были забавы и обаятельные впечатления крымской жизни сперва в Юрзуфе, а потом в Бахчисарае, сохраненные и стихотворениями Пушкина¹, они уже не могли пошатнуть или заслонить собою цели,

¹ См. пьесы 1820 г.: «Дориде», «Дорида», «Нереида», элегии: («Редет облаков летучая гряда») и др.

которая теперь поставлена им была для себя. Раевские покинули Крым несколько ранее. Словно для окончания предварительного его воспитания он проехал еще на возвратном пути к ним, в известную Каменку, — село Раевских-Давыдовых, — Киевской губернии, о которой будем говорить далее, и оттуда уже явился в Кишинев к своему начальнику генер. Инзову. Во время довольно длинного вояжа этого, центральное управление колонистами переведено было из Екатеринослава в Кишинев, который и сделался, поэтому, резиденцией как Инзова, так и его чиновников. Пушкин явился в Бессарабию с жадной к умственному труду и с готовым уже байроническим настроением.

Внешняя жизнь Пушкина в Кишиневе и обстановка его жизни уже известны публике из наших «Материалов для биографии А.С. Пушкина» (1855), из обстоятельной монографии г. Бартенева «Пушкин на юге России», дополнением которой (и в высшей степени драгоценным) служат отрывки из «Дневника и воспоминаний И.П. Липранди», приложенные к «Р. Архиву» 1866. Отрывки этого «Дневника» получают особенную важность, как свидетельство современника и очевидца о характере и настроении поэта в данное время. После этих разъяснений остается еще исследовать тайный процесс его мысли, откуда выходили все его поступки, предприятия и общий тон жизни. К описанию этого процесса приступаем теперь.

Учение и самообразование продолжались у Пушкина и тогда, когда он поселился в доме Инзова, на горе, в так называемой «Метрополии» Кишинева. Пушкин принялся за соби́рание народных песен, легенд, этнографических документов, за обширные выписки из прочитанных сочинений и проч. К сожалению, вся эта работа поэта над самим собой, за очень малыми исключениями, о которых речь впереди, пропала для нас бесследно. По словам И.П. Липранди, Пушкин прибегал даже к хитрости для пополнения недостающих ему сведений: он искусственно возбуждал споры о предметах, его интересовавших, у людей более в них компетентных, чем он сам, и затем пользовался указаниями спора для приобретения нужных ему сочинений. В Кишиневе же он начал ряд тех умных «Заметок», которые продолжались у него и гораздо долее 1828 года, когда были впервые напечатаны («Северные Цветы», 1828) под общим заглавием: «Мысли и замечания». Вообще, он сам хорошо выразил серьезную сторону своей жизни в известном послании к Чаадаеву из Кишинева, помеченном числами 6—20 апреля 1821 и столько раз уже приводимом

биографами для подтверждения факта о трудолюбии и дельном настроении поэта за все это время:

«Учусь удерживать вниманье долгих дум
И в просвещении стать с веком наравне».

Любопытен только вопрос — что значило тогда в русском обществе: стать с веком наравне?

Здесь кстати будет заметить, что стихотворение написано, как скоро увидим, в самом разгаре политических страстей и байронического брожения у Пушкина. Спокойный, мудро-эпический тон пьесы находится в совершенном противоречии со всем, что мы знаем о бешеной жизни Пушкина в эту эпоху, и еще раз показывает, как заблуждаются биографы и в какое заблуждение вводят читателей, когда на основании стихотворений в которых личность поэта является преображенной поэзией и творчеством, вздумают судить о действительном реальном ее виде, в известный момент. Правда, что они могут сказать: в поэтическом отражении писатель более походит на самого себя, чем в дрязгах и треволнениях жизни, но тогда уже не следует вовсе и заниматься последней, а довольствоваться только одним художническим ее обликом.

Плодом занятий и размышлений Пушкина осталась между прочим, от этого времени статья «Некоторые исторические замечания», не попавшая в печать. Причину этого исключения можно искать в резкости ее формы и языка: *домашние*, так сказать, исследования почти всегда так пишутся. Некоторые критики, в том числе и г. Бартенева, видят в статье Пушкина признаки ранней зрелости ума и суждения, ссылаясь особенно на его упреки императрице Екатерине за отобрание монастырских имений, которые *могли быть* употреблены духовенством на дело народного образования. Мы не имеем такого высокого мнения о статье, которая для нас представляет только занимательность, как превосходный пример либеральных толков времени и светской учености, нами уже описанной. Собственно говоря, статья посвящена исключительно царствованию Екатерины II-й, а все предшествующие упомянуты только вскользь и огулом, но основы ходивших тогда мнений о новейшей Русской Истории сохранены в ней в достаточной полноте. Любопытно, что Петр Великий, на реформы которого смотрели в прошлом столетии не совсем благоприятно даже такие противоположные умы, как президент академии наук, княгиня Дашкова, и историк князь Щербатов, восстанавливается запиской Пушкина в полном величии, но на основаниях довольно

фантастического характера: «Петр I-й, — говорит автор ее, — не страшился народной свободы и неминуемого действия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Движение, им данное государству, продолжалось и после него: «...Наследники северного исполина, — продолжает автор, — изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше его образованности и добро производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе»... Через несколько строк после этого, Пушкин прямо переходит к верховникам, вызвавшим герцогиню Анну Ивановну на престол и также быстро определяет их замыслы; но это место у Пушкина мы считаем важнейшим местом из всей его записки. Оно представляет нам как бы дальний отзвук «Арзамаса», тем более замечательный, что он раздался в среде и на почве радикальных убеждений. Вот это место: «Аристократия после него (Петра) неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян¹. Если бы гордые замыслы Долгоруких и прочих совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; *ныне же* политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян: *желание лучшего соединяет все состояния против общего зла и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас на ряду с просвещенными народами Европы*»... Это место заслуживает названия пророчества, но из всего последующего окажется, что в своих нападках на аристократию, Пушкин подразумевал только своекорыстную, эгоистическую и невежественную касту олигархов, а совсем не целую сословную партию. Затем автор записки обрушивается уже всей силой негодования на царствование Екатерины II-й,

¹ Если сличить это место с цитатой о феодализме, которую мы не без намерения привели выше, то разница между созерцанием Пушкина в 1821 и взглядами его в 1831 окажется очень значительной. Мы объясняем далее причины этой кажущейся разновидности.

и оно понятно — почему? Восторженные поклонники императрицы, как тогда, так и гораздо позднее еще, составляли у нас партию консерваторов, которая противопоставляла всем благим начинаниям Александровской эпохи блеск, величие и мудрость царствования великой бабки императора. Борьба с этой партией выразилась у Пушкина столь же резким, сколько и односторонним обличением идеала, который создали себе консерваторы из лица императрицы. Отсюда желчный, неумеренный тон его записки. Правление Екатерины обвиняется *в важных ошибках против политической экономии*¹, в жестокости деспотизма, при лицемерном усвоении либеральной внешности перед Европой (повторяется сказка о Княжнине, будто бы умершем под розгами Шешковского за свою трагедию), в раздаче крестьян любимцам своим, закрепощении Малороссии и Польши, в растлении общественных нравов, в расточительности и проч. Не находит пощады и известный призыв депутатов в комиссию об уложении: «Фарса наших депутатов, — говорит Пушкин, — столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие» и проч. Словом, это великое имя принесено было в жертву тогдашнему радикализму вполне и совершенно бесстрашно.

Из приведенных нами выписок достаточно видно, каким резким сторонником «эманципации», свершившейся только 40 лет спустя, был Пушкин в свое время. В этом качестве заявлял он уже себя с весьма ранних пор, как знаем, да иначе и не могло быть у питомца и друга Тургеневых, которые крестьянский вопрос считали единственной серьезной стороной тогдашнего либерализма и тогдашних либеральных ассоциаций. Не довольствуясь партикулярными, так сказать, заявлениями своего сочувствия к вопросу, Пушкин хотел написать еще комедию или драму потрясающего содержания, которые могли бы выставить в позорном свете безобразии крепостничества, а вместе с тем показать и темные стороны самого образованного общества нашего. Программа такой комедии или драмы, затерявшаяся в бумагах поэта, изложена в довольно странной форме. Все действующие лица будущей драмы названы в ней по именам предполагаемых ее исполнителей на сцене, т.е. фамилиями тогдашних знаменитейших актеров петербургского театра.

Вот что говорит программа: «*Валберхова* — вдова, *Сосницкий*

¹ Пушкин никогда не занимался полит. экономией, но вспомним моду на Адама Смита, Беккариа, Филанжери и проч. Без слова о полит. экономии нельзя было обойтись.

— ее брат, *Брянский* — любовник Валберховой, *Рамазанов*, *Боченков*. Сосницкий дает завтрак, Брянский принимает гостей. Рамазанов узнает Брянского. Изъяснение. *Пополам*. Начинается игра. Сосницкий все проигрывает, гнет на карту *Величкина*. Отчаяние его».

Конечно, трудно было бы доискаться смысла в этой лаконической программе, если бы не существовала еще другая, которая может служить пояснением первой и которую здесь же прилагаем:

I.

С. и *В.* (то есть Сосницкий и Валберхова — брат и сестра). *В.* Играл? *С.* Играл. *В.* Долго ли тебе быть Бог знает где? Добро бы либерал... да ты-то что?¹ Зачем не в свете... где вся молодежь? *С.* Вы все бранчивы... Скучно... То ли дело ночь играть. *В.* Скоро ли отстанешь? *С.* Никогда, сестрица милая... Уезжай. У меня будет завтрак. *В.* Игра?... *С.* Нет... *В.* Прощай.

II.

С. Карты!.. *Величкин* (то есть старый слуга или дядька Сосницкого). Проиграетесь... *С.* Полно врать... Я поспею.

III.

В. и *Бр.* (то есть Валберхова и любовник ее Брянский, тоже игрок. Вероятно, первая умоляет своего любезного спасти ее брата).

IV.

Бр. и *Рамазанов* — узнают, уговариваются (то есть два шулера, один великосветский, а другой из низших слоев общества, узнают друг друга и уговариваются проучить Сосницкого).

V.

Валб. Что за шум? *Величкин*. Играют. *Валб.* Поди за Брянским.

¹ Тут есть исторический намек. Вдова Валберхова, по этой программе, должна была говорить, вероятно, о либералах-аристократах эпохи, братавшихся с разночинцами и убежавших от общества и его удовольствий для того, чтобы предаваться серьезным занятиям и беседам о важных предметах. Пушкин часто упоминал и потом об этой черте эпохи.

VI.

Валб. И Брянский такой же.

VII.

Брян. и *Валб.* (Вероятно объяснение между ними). *Бр.* Я пополам! (то есть пополам с Рамазановым). Ему урок... проигрывается...

VIII.

Сос. В отчаянии (т.е. уже проигравшийся). *Бр.* (Вероятно, подстрекающий его). *Величкин* уговаривает, тот ставит его на карту, проигрывает. *Величкин* плачет, *Сосницкий* тоже. *Брянский* и *Рамазанов* (вероятно, открывают заговор). Конец.

Из сличения обеих программ оказывается возможность продолжить правдоподобное изъяснение всего плана будущей комедии. По нашему мнению, дело должно было заключаться в том, что аристократическая вдова (*Валберхова*), имеющая любимого ею брата, желает спасти его от несчастной страсти к игре. Она советуется со своим любовником, тоже из высшего света и тоже игроком, но уже опытным и знакомым с проделками шулеров. Любовник обещает ей содействие, и на первом же игровом вечере у *Сосницкого* встречает полного шулера, *Рамазанова*, узнает его, и принуждает обыграть хозяина пополам с собою, но в шутку. Так и делается. Под конец сеанса они заставляют *Сосницкого* поставить на карту своего старого дядьку *Величкина*. Происходит раздирающая сцена, кончившаяся наставлениями и поучениями и проч.

Вот какого рода обличительную комедию задумывал Пушкин в Кишиневе. По нашему мнению, известные посмертные отрывки из какой-то стихотворной комедии Пушкина, приведенные нами в «Материалах 1855 г.» и повторенные изданием *Исакова*, принадлежат к той же мысли о комедии из крепостного и шулерского мира — только план ее уже изменился несколько, и вместо брата и сестры являются на сцену мать и сын. Она также не была написана, и понятно почему.

По свойству своего таланта, Пушкин не мог долго держаться в ограниченных рамках светской драмы или обличительной комедии, при самом твердом намерении отдаться им вполне. Мы видим, что едва он поставил вехи для своего произведения, как тотчас же пере-

шел к мысли о политической трагедии. Здесь, конечно, открывалось более простора для лирического вдохновения, которое ему всегда легко доставалось и не требовало в такой мере обдумывания мотивов и жизненного наблюдения. Трагедия отвечала притом гораздо лучше состоянию его души и мысли и лучше могла выразить весь пыл смутных оппозиционных порывов, которые их одолевали. Вот почему почти рядом с программой комедии является у него программа трагедии «*Вадим*», часть которой уже известна публике по собранию его сочинений. Под этим именем Пушкин замыслил написать картину заговора и восстания «*славянских племен*» против «*иноплеменного*» ига, напомнить именем Вадима известную трагедию Княжнина, удостоенную официального преследования в прошлое столетие, и наконец открыть эру мужественных Альфиеровских трагедий в русской литературе, на место любовных классических, которые в ней господствовали. Все содержание новой трагедии должно было вертеться около движения народных масс и служить апофеозой гражданским доблестям их руководителя Вадима, причем и «*славянские племена*» и «*иноплеменники*» составляли только весьма прозрачную аллегорию, за которой легко было разобрать настоящих деятелей и настоящих врагов, подразумеваемых трагедией. Пушкин так ясно хотел выразить свою истинную цель, что в сцене трагедии, напечатанной в изданиях его сочинений, стих, вложенный им в уста Рогдая, одного из заговорщиков, описывающего всеобщий ропот новгородцев:

«*К пришельцам ненависть
Я зрел на каждой встрече*» —

был просто написан так, как будто дело шло о событии очень близком и современном:

«*Вражду к правительству
Я зрел на каждой встрече*».

Но и эта трагедия не удостоилась отделки и продолжения, и опять понятно по какой причине. Истинного в ней было только настрояние автора, а затем ни история, ни предание — никаких дельных материалов для нее не приготовили. Все было в ней выдумка и подлог, а долго обращаться с подобными элементами производства Пушкин не мог, как уже было сказано. Он бросил трагедию и перешел к мысли о поэме с таким же псевдоисторическим и либеральным содержанием, но ложь и несостоятельность замысла и тут оста-

новили его. Он отказался и от поэмы. От нее уцелели для нас только два отрывка («Два путника» и «Сон»), которые приведены в издании его «Сочинений» и которые уже блещут неподдельной красотой своих подробностей, как читатель может сам удостовериться.

Должно согласиться, что эта тайная деятельность мысли и творчества у Пушкина носит совершенно другой характер, чем та, которую он открыл публике и которую мы знаем по его сочинениям от эпохи 1821 — 1824 г. Под лучезарными произведениями его поэтического гения, отданными свету, текла, не прерываясь вся жизнь, другая, потаенная струя творчества общественного, политического, исповеднического и задушевного характера, имевшая большое влияние и на общий тон его поэзии. Из этого источника, может быть, получала последняя то жизненное, реальное выражение, которое в ней неотразимо чувствуется, несмотря на чистую сферу искусства, в которой она постоянно держалась, как в настоящем своем элементе. Это тем важно, что даже для понимания настоящего смысла многих его лирических песен, представляющих как бы малые законченные и самостоятельные поэмы, необходимо еще знание душевных и умственных волнений поэта, которые составляют, так сказать, их подкладку. В таком именно пояснении нуждаются особенно все стихотворения Кишиневской эпохи, посвященные имени «Овидия», поклонение которому зародилось у Пушкина тотчас по приезде на новое место жительства и служения.

По справедливому замечанию г. Бартенева (в статье «Пушкин на юге России»), Пушкину показалось, что между ним и несчастным щеголем времен Августа, автором «Искусства любить» и «Превращений», есть, кроме сходства талантов, еще разительное сходство в судьбе и общественном положении. Пушкину приятно было думать, что на расстоянии тысяч-двух лет он испытывает одинаковую участь и страдает одинаковыми нравственными страданиями с изгнанником первого римского императора. Он оплакивал судьбу Овидия, трогательно взывал к его тени, и не довольствуясь спорами о месте погребения его, совершил поездку в обществе Липранди, по свидетельству последнего, к предполагаемому месту Овидиевой гробницы. Все это факты вполне определенные, но остается затем не разъясненным вопрос: как мог горделивый образ Байрона мирно уживаться в душе Пушкина рядом с образом бедного римского денди, лишенного всякой нравственной энергии, разливавшегося постоянно в лесть, жалобах и мольбах к Августу из надежды возвратиться опять в Рим, к месту своих прежних подвигов? Дело в том, что и Байрон и

Овидий были олицетворение противоположных стремлений самого Пушкина в ту эпоху. Он жил тогда двойной жизнью, именно — потребностью отрицания современных условий общественного быта, которая в удалении от главных административных центров находила себе больший простор. Это настроение хорошо уживалось с Байроном, питаясь духом и мыслью британского поэта, но вместе с тем Пушкин жил еще надеждами и планами, прямо противоположными этому настроению, диаметрально исключавшими его. Пушкин жаждал именно, на подобие своего предшественника, Овидия, наслаждений столичного жителя, светских и блестящих литературных успехов, которые тянули его в Петербург, где они преимущественно обретались и раздавались. Мы уже видели, что с самого своего появления на юге, Пушкин имел причины ждать скорого вызова своего обратно в Петербург; тем не менее он постоянно делал на месте все возможное, чтобы помешать такому вызову. Цели его двоились, как и самая мысль: Байрон и Овидий призваны были выражать те силы, которые боролись в собственной его душе. Когда надежда появления опять на берегах Невы все более и более с течением времени вымирала у Пушкина, Байрон или, лучше, то русское видоизменение байронизма, о котором упоминали, окончательно овладело им и подчинило его себе безраздельно.

Мы пришли к основному началу, определившему и окрасившему собою один замечательный период в жизни Пушкина, и уже необходимо должны ближе заняться вопросом: — чем сделался вообще «байронизм» на русской почве и какой стороной привился он в частности к нашему поэту?

Уже с первых шагов Пушкина в Кишиневе можно усмотреть признаки особенного понимания той свободы мысли, которую байронизм будто бы предоставляет человеку, и той смелости поступков, на которую будто бы он уполномочивает. После недолгого пребывания на квартире, Пушкин переехал в дом, занимаемый наместником Бессарабии И. Н. Инзовым, в старом городе, как сказали. Личность этого почтенного человека недостаточно исследована у нас, хотя вполне заслуживала бы внимания. Мы почти ничего не знаем о достойном генерале. Все наши сведения о нем ограничиваются несколькими официальными данными, заключающимися в известном издании: «Александр I и его сподвижники», да известиями, что Инзов, через воспитателя своего, князя Н. Н. Трубецкого, а потом через своего начальника, кн. Н. В. Репнина, при котором служил адъютантом, рано ознакомился с учениями наших, так называемых, мартинистов про-

шлого века, и до конца жизни сохранял их строгий взгляд на жизнь и обязанности христианина. Есть и еще одно свидетельство о почтенном генерале — это портрет Инзова, оставленный нам Ф.Ф. Вигелем в его «Записках»; но портрет видимо написан под влиянием оскорбленного самолюбия, ибо «Записки» Вигеля, несмотря на их живое и местами талантливое изложение, были у автора еще и орудием посмертной мести против лиц, когда-либо не доверявших его нравственному характеру или помешавших ему достигнуть влиятельного поста на службе, которого он и не заслуживал по милости множества закоренелых предрассудков. Вот почему, когда он рисует честного и благородного Инзова мрачным, сосредоточенным в себе честолюбцем, человеком необузданных страстей, которые он старался подавить в себе, по принципу мистического самоумерщвления, то мы уже догадываемся, почему такие, а не иные краски очутились на его кисти. Инзов, между прочим, исповедывал — как и вся его партия — известное учение о *благодати*, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вот почему, например, в распущенном, подчас даже безумном Пушкине, Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине, с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного Н.С. Алексеева, он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту. Вот что писал сам Пушкин в 1825 г. про Инзова, придавая своей автобиографической заметке форму диалога между собой и каким-то воображаемым высокопоставленным лицом. Из этого диалога мы извлекаем следующие строки: «Инзов меня очень любил и за всякую ссору с молдаванами объявлял мне комнатный арест и присылал мне — скуки ради — французские журналы... Генерал Инзов — добрый, почтенный... (человек). Он русский в душе. Он не предпочитает первого английского шалопаю своим соотечественникам. Он уже не волочится, страсти в нем уже давно погасли; он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет их; не боится насмешек, потому что выше их и никогда не подвергается заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив»... Очерк, конечно, слаб, так как видимо служит Пушкину только оттенком для какого-то другого характера, но и эти отрицательные черты уже много говорят в пользу первого начальника нашего поэта.

Но как он отвечал на все благорасположение своего ментора?

Мы знаем, что и прежде, и после этой эпохи, Пушкин нисколько не церемонился в обращении со всякого рода авторитетами, ему встречавшимися, что он никогда, ни перед кем не мог воздержаться от проказы или шутки; но здесь, по всему, что до нас дошло, примешалось к этой черте нечто злобное и рассчитанное. Он как будто с наслаждением дразнил старого генерала. Тот же Вигель, и на этот раз со всеми признаками достоверности, рассказывает, что, обедая у Инзова, Пушкин нарочно заводил вольнодумный разговор, и зная строго-религиозные убеждения хозяина, старался развивать наиболее противоположные им теории. Замечательно, что он никогда не мог окончательно рассердить Инзова, так, как и Карамзина прежде. Напротив, когда в 1823 г Инзов сдал должность начальника новороссийского края, которую исправлял с июля 1822 г., графу М.С. Воронцову, то всего более огорчен был добровольным переходом на службу к своему преемнику — бывшего своего чиновника, столько им любимого — Пушкина. «Ведь он ко *мне* был послан» — жаловался добрый старик.

Кроме этой развязности в обращении с людьми, русский байронизм отличался еще и другими своеобразными чертами. Он, например, никогда не отдавал себе отчета о причинах ненависти к политическим деятелям и к современному нравственному положению Европы, которой отличалось это учение за границей. Нашему байронизму не было никакого дела до того глубокого сочувствия к народам и ко всякому моральному и материальному страданию, которое одушевляло западный байронизм. Наоборот, вместо этой основы, русский байронизм уже строился на странном, ничем неизъяснимом, ничем не оправдываемом презрении к человечеству вообще. Из источников байронической поэзии и байронического созерцания добыто было нашими передовыми людьми только оправдание безграничного произвола для всякой слепо-бунтующей личности и какое-то право на всякого рода «*демонические*» бесчинства. Все это еще переплеталось у нас с подражанием аристократическим приемам благородного лорда, основавшего направление и всегда помнившего о своем происхождении от шотландских королей, как известно. Мы приводим здесь разительный пример именно такого понимания байронизма. В бумагах Пушкина осталась записка по-французски, неизвестно кем писанная, но, вероятно, вызванная каким — либо предшествующим разговором ее автора с нашим поэтом. Дикое сочетание аристократической кичливости с грубостью мысли и чувства в ней поразительны. «*Vous êtes, mon digne maître,* говорит записка,

brave, mordant, méchant — cela n'est point assez: il faut être tyran, féroce, vindicatif. C'est où je vous prie de me conduire. Les hommes ne valent pas qu'on les évaluent par les étincelles de sentiments par lesquelles je me suis imaginé des les évaluer. C'est par *berquovetz* qu'il faut les éstimer. Il faut devenir aussi égoïste et aussi méchant qu'ils le sont en général, pour en venir à bout. C'est alors seulement qu'on peut assigner la place qu'il convient à chacun d'occuper. Et ce bien cela, mon tres-aimable compatriote, ou bien ai-je tort? Prononcez!» («Вы, мой достойный наставник, смелы, язвительны, злы — но этого еще мало: надо быть тираном, свирепым, мстительным. Прошу вас научить меня этому. Люди не стоят того, чтобы их ценили по искрам чувства, как я было вздумал их оценивать. Их надо весить *берковцами*. Подчинить их себе можно только тогда, когда сам сделаешься таким же эгоистом и таким же злым, каковы они. После этого уже можно приступить к назначению каждому его настоящего места. Так ли это, мой любезный соотчич, или я ошибаюсь? Решайте».) Такие-то записки мог получать теперь Пушкин — этот, по природе своей, как мы знаем, добродушный и любящий человек. Не по действию одной случайности, как нам кажется, сохранилась и самая записка в его бумагах. Может быть, он тайно гордился в это время титулом мастера в науке вздорной ненависти к человечеству, которым чествовала его записка, сама будучи произведением пустого тщеславия, распаленного праздным существованием на трудах и поте того самого человечества, которое она учила презирать.

Мы приведены в необходимость оспаривать мнение, довольно распространенное, по которому весь кишиневский период Пушкинской жизни, со всеми его увлечениями, считается делом преднамеренным у поэта, напускным, заимствованным, как мода. Друзья Пушкина, а за ними и биографы, распространившие это мнение, ссылаются в подтверждение его не только на те просветы поразительно трезвых суждений, какие почасту бывали у поэта, но и на самые статьи его, в которых заключаются автобиографические намеки, в роде статьи: «Анекдот о Байроне», тогда же им написанной. Известно, что эта статья говорит о врожденной религиозности Байрона и проводит мысль, что многое в английском поэте должно приписать его страсти или его слабости — казаться не тем, худшим, чем он в самом деле был. Говоря это, Пушкин мог, будто бы, разуметь столько же Байрона, сколько и самого себя. Но состояние его тетрадей и записок, в которых Пушкин никогда не лгал на себя, опровергает эти предположения, показывая, что ночь, облежавшая сознание поэта в

кишиневскую эпоху, была действительной ночью, и что яркие просветы зрелой мысли, которыми она прорезывалась, свидетельствуют только о силе нравственного творчества, не вполне утерянной им и тогда. Мы уже сказали, что поэзия, например, была его спасительницей и вывела его опять к свету и правде, при врожденной мощи и крепости его мысли, созревавшей чрезвычайно быстро, как окажется из дальнейшего изложения нашего очерка.

Совокупное действие известий о торжестве враждебных ему начал в Петербурге, вызывающих и возбуждающих подробностей тогдашней кишиневской жизни, а наконец слухов о греческом восстании в Молдавии, которое ознаменовало себя на первых порах невероятными жестокостями и предательствами, придало особый характер беседам Пушкина с самим собой. Тетради его каждой своей страницей говорят уже о необычайном состоянии его фантазии, возбужденной до крайней, высочайшей степени. Рисунки, которыми он любил досказывать все недоговоренное или неудобно высказываемое, теперь умножаются. Одной стороной они примыкают к прежним упражнениям этого рода, представляя, на подобие их, цепь мужских и женских головок, вероятно портретов, иногда целые фигуры, а иногда и полные картинки, содержание которым давали теперь или анекдоты из жизни самого поэта, или скандальная хроника города Кишинева¹. Пушкин как будто сам занялся приготовлением «иллюстрации» для собственной биографии. Но в эту иллюстрацию введены уже были черты и элементы, не существовавшие до Кишинева, и после Кишинева нигде не повторявшиеся снова: они поражают своим характером. Здесь именно является впервые тот цикл художнических шалостей, которому французы дают название *diableries* — чертовщины. Этот род изображений отличается у Пушкина, однако же, совсем не шуткой: некоторые эскизы обнаруживают такую дикую изобретательность, такое горячее, свирепое состояние фантазии, что приобретают просто значение симптомов какой-то душевной болезни, несомненно завладевшей их рисовальщиком.

¹ Так известная проделка Пушкина с молдавским боярином Балыш, которого он заставил лично отвечать за неосторожное или необдуманное слово жены, получила следующее «иллюстрированное» толкование. Пушкин изобразил в пустой комнате длинного сухощавого человека, по-видимому, только что разбуженного, в куртке, но без исподнего платья, который стоит с раздвинутыми руками, и с видом крайнего изумления ищет, этой принадлежности своего туалета. Комната украшена только деревянным стулом, да на окне, спиной к зрителям, помещается символ лукавой робости — кошка. Внизу надпись: «Ma femme, ma cullote, et mon duel donc! Ah, ma foi, qu'elle s'en tire comme elle voudra, puisque c'est elle qui porte cullotte».

В одной из тетрадей, после пометок, способствующих к открытию времени ее употребления, из которых одна гласит: «18 Juillet 1821, nouvelle de la mort de Napoléon»; а другая: «bal chez l'archevêque arménien» встречается весьма сложная «сатанинская» композиция, описание которой даст понятие читателю и о всех прочих того же рода. Под скрипку маленького беса с хвостиком танцуют четыре мужских и женских бесенят, наделенных тоже хвостиками. На полях картинка составляя рамку ее, видны две виселицы: под одной из них, с повешенным человеком, сидит задумавшись мужчина в большой круглой шляпе; под другой видно колесо и орудия пытки. Картинка имеет еще и соответствующий эпилог: внизу ее распростерт скелет, со стоящей перед ним фигурой на коленях, как будто старающейся отыскать признак жизни в костяке. Через страничку является и достойное «pendant» к этой композиции. «Pendant» изображает большого беса, сидящего в тюрьме, за решеткой, и греющего ноги у огня. Нельзя не обратить внимание на господствующий мотив всех этих рисунков, постоянно вертящихся около представлений тюрьмы, казни, пыток и проч. Мотив не ослабевает, не изнашивается в течении целого года. Так в рисунке, принадлежащем уже к 1821 г., мы еще видим чертика, распростертого на железной решетке, под которую подложен огонь, усердно раздуваемый другим, принокшим к земле, чертиком. Сверху, как бы с неба, летит на помощь пациенту какая-то крылатая женщина, по фигуре принадлежащая к тому же семейству демонических личностей. Для того, чтобы подолгу останавливаться на производстве этого цикла фантастических изображений, надобно было находиться в особенном нравственном и патологическом состоянии.

Нет никакой возможности остановиться на мысли, что все эти рисунки следует отнести к пустым произведениям праздных минут Пушкина. При дальнейшем исследовании оказывается, что они были предтечами и так сказать живописной пробой серьезного литературного замысла — именно большой политической и общественной сатиры, которая и начинается в среде их, как в своем настоящем источнике. Действие ее должно было происходить тоже в аду, при дворе сатаны. Если судить по нескольким стихам, или, лучше, по некоторым обломкам стихов, вырванным нами из хаоса (и то с великим усилием) ее перемаранных строчек, поэма начиналась у Пушкина довольно торжественно. Нет сомнения, что следующие строчки отзываются чем-то торжественным:

«Во тьме крошечной...
Откуда изгнаны навек
Надежда, мир, любовь и сон,
Где море адское клокочет,
Где грешника внимая стон
Ужасный сатана хохочет...»

Тот же эпический тон сохраняется и в следующем отрывке, как нам кажется:

«Один (сатана) в своих чертогах он;
Свободней грудь его вздыхает,
Живее мрачное чело
Волнение сердца выражает:
Так моря зыбкое стекло...»

Приемы эти, однако же, скоро пропадают и уже в отрывках, добытых нами из второго приступа Пушкина к своей поэме, они сменяются иронией и шуткой, обнаруживая гораздо большую развязность кисти, чем прежде. Считаю нужным еще раз повторить, что стихи, которые мы приводим, никак не могут считаться стихами в настоящем смысле слова, и о том, что бы вышло из них у Пушкина, не дают ни малейшего понятия.

«Так вот детей земных изгнать!
Какой порядок и молчанье!
Какой огромный сводов ряд!..
Но где же грешников варят?..
— Там, гораздо дале.
— Где мы теперь? — В парадной зале!»

Кто этот ответчик, мы не знаем. Разговор между посетителем ада и его руководителем, неизвестным Вергилием поэмы, продолжается еще далее, в том же тоне.

«Сегодня бал у сатаны,
... На именины все званы...
Смотри, как два бесенка
На кухню тащут поросенка...
А этот бес — как важен он!
Как чинно выметает вон
Опилки, серу, пыль и кости...
— Скажи мне, — скоро-ль будут гости?»

Мы приведем еще и третий отрывок, несмотря на бессвязность

его, в которой виноват опять наш, по необходимости, плохой разбор. В нем уже является и первый гость:

— Кто там?
 — Привел я гостя. — Ах, Создатель,
 Вот доктор Ф.¹, наш приятель! —
 — Живой! — Он жив, да наш давно.
 Сегодня-ль, завтра-ль, все равно!
 — Об этом думают двояко;
 Обычай требовал однако
 Соизволения моего...²».

Итак, вот все осколки какого-то литературного замысла. По отсутствию программы, на этот раз совершенно недостающей, сверх обыкновения, сатирической поэме Пушкина, всякие догадки о ее содержании, конечно, становятся невозможны, но, однако же, позволено, думаем, сделать предположение, что в числе грешников, варящихся в аду, и в сонме гостей, созванных на праздник геенны, явились бы у Пушкина некоторые лица городского кишиневского общества и наиболее знаменитые политические имена тогдашней России, прием которых в подземном царстве соответствовал бы, разумеется, представлению автора о их бывшей или текущей земной деятельности. Мы уже знаем, что, по роду своего таланта, Пушкин не мог долго выдерживать, несмотря на все искусственные возбуждения духа, чисто сатирического настроения³. Вот почему сатанинская поэма, задуманная им, была брошена после нескольких приемов и уступила место другой не менее сатанинской, но более чувственной и страстной поэме. Эту поэму он и кончил, сообщив ей, между прочим, изумительную отделку. Поэма нажила ему много хлопот впоследствии, а что всего важнее, составила для него предмет неумолкаемых угрызений совести и вечного раскаяния — до конца жизни, как уже сказа-

¹ Не Фрикен ли? известный кишиневский врач того времени.

² Один отрывок, из того же плана поэмы, — смерть, обыгрывающая посетителя в карты, — приведен в «Сочинениях Пушкина» 1857 т. VII, лис. 88-й.

³ Этому не противоречит и значительное количество эпиграмм, оставшихся у Пушкина от кишиневской жизни и написанных для потехи приятелей. Они не имеют ничего общего с сатирой, требующей другого настроения. Все они, сколько мы их ни видели, уже потеряли от времени свою соль и жало. Таковы эпиграммы на К — зи, на Федора Кру — го, прозванного Тадарашкой, на известную умницу Тарсис (кишиневская Жанлис), на страстную игрицу в банк m-me Богдан и т.д. К тому же роду принадлежат эпиграммы и послания к Аглае, обращения к женщине, потерявшей один глаз, и проч. Цинические эпистолы к еврейке, содержательнице одного постоянного дома, довершают этот ряд застольных экспромптов и произведений.

ли. В нее, в эту поэму именно и разрешилась наконец вся фантастическая «чертовщина», нами описанная, что свидетельствует, между прочим, и короткая программа поэмы, нашедшая себе достойное место в промежутках между упомянутыми рисунками. По циническому и кощунскому своему характеру, она не может и не заслуживает быть выписанной здесь.

Итак, с рокового 1821 г, начинается короткая полоса Пушкинского кощунства и крайнего отрицания, о которой принято у нас умалчивать, как будто это мимолетное и случайное настроение способно в глазах мыслящего человека изменить или отнять хоть одну черту из того светлого образа его симпатической личности, постоянно выражавшей чистейшие стремления человеческой души, который сложился в представлении публики и ничем потрясен быть не может. Опасения друзей и поклонников Пушкина за его образ, на основании того или другого факта из его жизни, по крайней мере, напрасны, и доказывают, что они еще не усвоили себе полного понимания типа, за который радеют...

Проследим далее всю эту историю заблуждений самого светлого ума эпохи, поучительную во многих отношениях и для наших современников.

В процессе усвоения Пушкиным псевдо-байронических приемов и навыков мысли, очень видную и влиятельную роль играет село Каменка, киевской губернии — поместье Давыдовых, которые по матери, в первом замужестве Раевской, приходились близкими родственниками как старому генералу Раевскому, ее сыну, так и двум приятелям Пушкина, Александру и Николаю Раевским, ее внукам. Зимой 1821 г., генерал Инзов отпустил Пушкина в Киев отпраздновать свадьбу генерала М.Ф. Орлова, который женился на одной из Раевских — Екатерине Николаевне, а оттуда Пушкин, в феврале того же года, проехал в Каменку, где, между прочим, окончил «Кавказского Пленника». Там-то он встретился с декабристом И.Д. Якушкиным, объезжавшим южный край с целью узнать мнения членов бывшего «Союза Благоденствия» и вообще либеральных людей местности об упразднении «Союза», произнесенном в Москве, и о взглядах их относительно тайных обществ вообще. Якушкин рассказывает в своих записках, что накануне его отъезда из Каменки там состоялось было присутствующими нечто в роде формального совещания, где обсуждался вопрос о том: нужны или нет тайные общества в России; что Пушкин стоял за необходимость последних; что при закрытии совещания, достаточно обнаружившего мнения его уча-

стников, Пушкин, ожидавший немедленного посвящения себя в члены тайного общества, подошел к нему, Якушкину, с упреком и сказал: «Я никогда не был так несчастлив, как в эту минуту: я уже видел жизнь свою облагороженной, и все это оказалось злой шуткой». Все это правдоподобно, хотя и можно сомневаться относительно точных слов Пушкина при этом случае, которые, заключая в себе ту же мысль, могли быть и иные; но дело в том, что произнося их в минуту воодушевления, он также мало был заговорщиком и отчаянным радикалом, как мало был атеистом, создавая свои поэмы и эпиграммы в воспаленном состоянии ума.

Сама пресловутая «деревня Каменка» держала Пушкина под своим влиянием совсем не революционной пропагандой, которой у нее никогда и не было, несмотря на то, что, при образовании тайного общества на юге (1823 г.), в число его членов попали В.Л. Давыдов, князь С.Г. Волконский, А.В. Поджио, люди, связанные близким родством между собой и с хозяевами «деревни». Еще не определено доселе — насколько согласие участвовать в заговоре выходило у лиц, замешанных в нем, из твердого политического убеждения их, и насколько оно было делом случайности, уважения и доверчивости к вербовщику и даже просто фальшивого стыда перед смелым оратором. Ни тогда, не позднее Каменка не отличалась твердым служением какой-либо политической идее или ясным пониманием и преследованием какой-либо цели и задачи пропагандного свойства. Она подчиняла себе Пушкина совсем не общественной или революционной стороной своей деятельности, а тоном своих суждений о лицах и предметах, образом мышления, в ней господствовавшим, способом относиться к явлениям жизни и духовному миру человека, ею усвоенным. Ни перед кем так не хотелось Пушкину блеснуть либерализмом, свободой *от предрассудков*, смелостью выражения и суждения, как перед друзьями, оставленными в Каменке. Можно сказать, что пресловутая деревня постоянно носилась перед глазами его и служила как бы орудием, которое держало его на крайних вершинах русско-байронического настроения. Не подлежит сомнению, что отсюда же получил он и созерцание, подсказавшее известные его «Наставления» меньшому брату, Льву Сергеевичу, при выходе его в свет, писанные по-французски в самый разгар сношений наставника с Каменкой и помещенные частью в наших «Материалах» (1855, т. I, стр. 234), и полнее в «Библиографических Записках» 1859, № 1, и в монографии г. Бартенева. Приводим здесь несколько выдержек из «Наставления» в нашем переводе: «Тебе предстоят столкновения с

людьми, которых ты еще не знаешь. Прежде всего постарайся думать об этих людях как можно хуже: тебе не часто придется правлять свое суждение... Презирай их, как можно вежливее: в этом заключается лучшее средство уберечься от ничтожных предрассудков и ничтожных страстишек, которые ждут тебя при появлении в свет... Не будь угодлив и подавляй в себе чувство доброжелательства, к которому можешь быть склонен. Люди не понимают его и расположены видеть в нем низость, так как всегда рады судить других по самим себе... Никогда не принимай благодарений: по большей части благодарность есть не что иное, как предательство... Относительно женщин — желаю тебе от души обладать той, которую ты полюбишь» и проч.

Некоторые из афоризмов, заключающихся тут, звучат совершенно одинаково, по нашему мнению, с афоризмами цинической записки, советовавшей ненавидеть человечество, которую уже знаем. Достаточно сблизить несколько цитат из обоих филантропических кодексов этих, для того, чтоб усмотреть их родство и внутреннюю связь. Если бы это мрачное воззрение на общество и на условия человеческого существования в среде его соединялось еще с отдалением от забав и искушений света можно бы было принять, по крайней мере, последовательность и достоинство строгой выдержки в исповедниках такого учения. Ничего подобного, однако же, у них не встречается, а наоборот, можно положительно утверждать, что они были рабами, в полном смысле слова, того самого света, который учили презирать и остерегаться. Они жаждали его одобрений, похвал, его удивления. Так и Пушкин много говорил и делал лишнего для вызова восторгов и рукоплесканий у толпы, а всего более у своих приятелей Каменки. Он вернулся от них в Кишинев накануне, можно сказать, бегства из города князей А. Ипсиланти и Кантакузена в Молдавию, поднятия ими знамени восстания и начала греческой революции. В руках кого-либо из тогдашних обитателей Каменки должно храниться послание Пушкина к одному из Давыдовых, из которого приводим здесь несколько стихов, по черновому списку:

«Меж тем, как генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименея,
Под мерку подойти готов,
Священной страстью пламенея;
Меж тем, как ты, проказник умный,
За ужином с бутылками аи,
Проводишь ночь в беседе шумной
..... Раевские мои.

Когда везде весна молодая
 С улыбкой распустила грязь
 И с *горя* на берегах Дуная
 Бунтует наш безрукий князь¹ —
 Тебя, Раевских и Орлова,
 И память Каменки любя,
 Хочу сказать тебе два слова
 Про Кишинев и про себя...»

Строфа, следующая затем, посвящена известию с смерти митрополита, известию, которое, между прочим, с некоторыми подробностями о похоронах этого иерарха, находится и в печатных записках Пушкина, но тон печатной заметки, конечно, значительно разнится от тона послания, постоянно отличающегося характером развязной до неприличия шутки. В том же самом тоне следуют строфы и далее:

«Говеет Инзов и намедни
 Я променял Вольтера бредни
 И лиру, грешный дар судьбы,
 На часослов и на обедни,
 Да на сушеные грибы...»

И так далее, до последних пределов глумления. Окончание послания не представляет уже никакой возможности для разбора, пропадая в бесконечных поправках. Пушкин вспоминает тут, как Давыдов с братом своим («Аристиппом» других стихотворений поэта) надевали демократический халат и выпивали чашу до дна *за тех* и *за ту*, но *те*, прибавляет автор, в Неаполе шалят, а *та* едва ли воспринет: народы тишины хотят, усталых к миру тянет и проч. Не трудно догадаться, что под *теми* Пушкин подразумевает итальянских карбонариев, а под *той* — революционную Францию, скованную реставрацией и даже воевавшую за укрепление династии Бурбонов в Испании.

Здесь, между прочим, впервые упоминается о *бунте А. Ипсиланти*. Весть о том, что долго и в тайне формировавшаяся этерия начала внезапно борьбу с Турцией у самых границ Бессарабии, поразила кишиневское общество изумлением. По прибытии Пушкина из Каменки, где, как мы видели, он довольно долго гостил, восстание этеристов было уже совершившимся фактом: 5-го марта 1821 г. уже начались резня и убийства в Яссах и Галаце. Пушкин едва успел собрать первые подробности о деле, как, с дозволения Инзова, уехал

¹ Князь Ипсиланти.

в Одессу (май, 1821), и уже оттуда извещал, по всем вероятиям, кого-либо также из каменных жителей, следующим письмом о начале греческой революции: «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь последствия важные не только для нашего края, но и для всей Европы.

Греция восстала и провозгласила свою свободу. Теодор Владимирско, служивший некогда в войсках покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом вооруженных арнаутов, и объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников, что решились освободиться от незаконного ига, что...¹. Сия прокламация взволновала всю Молдавию. Кн. Суццо и... консул хотели удержать распространение бунта. Пандуры и арнауты отовсюду бежали к смелому Владимирско — и в несколько дней он уже начальствовал 7000 войска.

21-го февраля генерал князь Александр Ипсиланти, с двумя из своих братьев и с князем Георг. Кантакузен, прибыл в Яссы из Кишинева, где оставил он мать, сестер и двух братьев. Он был встречен тремястами арнаутов, и... и тотчас принял начальство города. Там издал он прокламации, которые быстро разошлись повсюду: в них сказано, что феникс Греции воспрянет из своего пепла, что час гибели для Турции настал и проч. *и что великая держава одобряет подвиг великодушный.* Греки стали стекаться толпами под его трое знамен, из которых одно трехцветное, на другом, развевается крест, обвитый лаврами, с текстом: «сим знаменем победиши»; на третьем изображен возрождающийся феникс. Я видел письмо одного инсургента. С жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти, восторг духовенства и народа; прекрасные минуты надежды и свободы!

В Яссах все спокойно. Семеро турок были приведены к Ипсиланти и тотчас казнены, — странная новость со стороны европейского генерала! Турки, в числе 100 человек, были перерезаны, 30 греков убиты тоже. Известие о возмущении дошло до Константинополя. Ожидают уже... но еще их нет. Трое бежавших греков находятся со вчерашнего дня в здешнем карантине. Они уничтожили многие ложные слухи. Старец Али принял христианскую веру и окрещен именем Константина. 2-х-тысячный отряд его, который шел на соединение с сулиотами, уничтожен турецким войском. Восторг умов дошел

¹ Письмо в этом месте прожжено два раза насквозь.

до высочайшей степени: все мысли устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества. В Одессе я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков; все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты; все говорили о Леониде, о Фемистокле, все шли в войско счастливица Ипсиланти. Жизнь, имения греков в его распоряжении! Вначале имел он два миллиона. Один Паули дал 600,000 пиастров, с тем, чтобы ему их возратить *по восстанию Греции!* 10,000 греков записалось в войско, Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско. Он называется главнокомандующим северных греческих войск и уполномоченным тайного правительства. Должно знать, что уже 30 лет составилось и распространилось тайное общество, коего целью было освобождение Греции. Члены разделены были на три степени. Низшую степень составляла военная (т.е. состоявшая из военных людей), вторую граждане: члены их имели право каждый приискивать себе товарищей, но не воинов, которых избирала только 3-я, высшая степень. Ты видишь простой ход и главную мысль сего общества, которого основатели еще неизвестны. Отдельная вера, отдельный язык, независимость книгопечатания; с одной стороны просвещение, с другой глубокое невежество — все покровительствовало вольнолюбивым патриотам. Все купцы, все духовенство, до последнего монаха считались в обществе, которое ныне торжествует. Вот тебе подробное описание последних происшествий нашего края; кинем пророческий взор на будущее и постараемся разгадать судьбу Греции.

«Странная картина! Два народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время встают от долгого усыпления и возобновляются, являются на политическом поприще мира¹. Первый шаг Ипсиланти прекрасен и блистателен! Он счастливо начал!! — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! отныне он принадлежит истории: завидная участь! Кинжал изменника опаснее для него сабли турков; Константин² не будет совестливее Клодовика и влияние молодого мстителя Греции может его встревожить. *Признаюсь, я бы посоветовал кн. Ипсиланти предупредить престарелого злодея*: нравы той страны, где он теперь действует, оправдывают политические убийства.

¹ Пушкин, вероятно, подразумевал во втором народе Италию и карбонарское движение ее.

² То есть Али-Паша, принявший христианство.

Важный вопрос: что станет делать Россия? Зайдем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов? Во всяком случае буду уведомлять».

Восторженный тон по поводу восстания, которым отличается письмо — приводимое тоже с черного оригинала — не долго держался у Пушкина, как мы увидим скоро. Мысль о необходимости в иных случаях политических убийств доказывает, что Пушкин старался играть роль свободно-мыслящего человека перед друзьями чрезвычайно тщательно, но у него была еще переписка из Одессы с кишиневскими знакомыми и особенно знакомками, которая носит совсем другой характер. Она возвращает нас к описанию самого общества, где процветали его корреспонденты. Как элемент брожения, возмутивший физический и нравственный организм Пушкина, оно заслуживает стоять на первом месте в биографическом описании.

Кишиневское общество, как и всякое другое, искало удовольствий и развлечений, но благодаря своему составу из помеси греко-молдавских национальностей, оно имело забавы и наклонности, ему одному принадлежащие. Многие из его фамилий сохраняли еще черты и предания турецкого обычая, что в соединении с национальными их пороками и с европейской испорченностью представляло такую смесь нравов, которая раздражала воображение и туманила рассудок, особенно у молодых людей, попадавших в эту атмосферу любовных интриг всякого рода. По внешности кишиневская жизнь ничем не отличалась от жизни губернских городов наших: те же рауты, балы, игрецкие дома, чопорные прогулки в известной части города по праздникам, беготня и поздравления начальников в торжественные дни и проч., но эта обстановка едва прикрывала своеобразные черты домашнего и нравственного быта жителей, не встречавшаяся нигде более, кроме этой местности. С первого раза бросалось в глаза повсеместное отсутствие в туземном обществе не только моральных правил, но и просто органа для их понимания. То, что повсюду принималось бы как извращение вкусов или как тайный порок, составляло здесь простую этнографическую черту до того общую, что о ней никто и не говорил, подразумевая ее без дальнейших околичностей. Правда, что в некоторых домах все крупные этнографические черты подобного рода стояли открыто на виду, а в других таились глубоко в недрах семей, но отыскать их там находились всегда охотники, заранее уверенные в успехе. Люди заезжие из

России употребляли на поиски этих редкостей много времени и не очень давно встречались еще старожилы, которые признавали свою кишиневскую жизнь самым веселым временем своего существования. Пушкин не отставал от других. Душная, но сладострастная атмосфера города, мало-эстетические, но своеобразные наклонности и привычки его обитателей действовали на него, как вызов. Он шел на встречу ему, как бы из «point d'honneur». Картина Кишинева, которую здесь представляем, оправдывается всеми свидетельствами современников, несмотря на многочисленные их умолчания и вообще смягчающий тон. Мы не преувеличиваем ее выражения, а скорее еще не уловили вполне характера распущенности, каким отличался город в самом деле. Это подтверждается и фактами.

«Воспоминания» И.П. Липранди, о которых уже упоминали, например, дают возможность, несмотря на свой сдержанный тон, бросить взгляд на внутренний быт этого общества, и содержат много любопытных откровений и разоблачений. Для представления обстановки Пушкина в Кишиневе не мешает ознакомиться с характером самих домов, где он любил проводить свое время. Так, у вице-губернатора М.Е. Крупянского процветала карточная игра, кончавшаяся обыкновенно ужином. Пушкин был усердный посетитель его вечеров, столько же привлекаемый игрой, сколько и встречами в его семье с красавицей молдаванкой, Марией Егоровной, по мужу Эйхвельт, которая получила прозвание еврейки за воображаемое сходство с Ревеккой Вальтер-Скоттовского романа: «Айвенго» — (не должно смешивать ее с еврейкой цинических эпиграмм Пушкина). В другом доме Кишинева, именно у члена верховного совета Е.К. Варфоломея, Пушкин встречал опять красавицу, дочь хозяина, знаменитую Пульхерию Егоровну. Песенка, тогда же сложенная в ее честь и очень распространенная в городе, называет ее «Кишиневский наш божок». Здесь уже царствовали танцы под звуки домашнего оркестра из крепостных цыган, прерывавшего кадрили и мазурки более или менее дикими песнями своего народа. Обе героини, Эйхвельт и Варфоломей, имели еще по приятельнице, из которых каждая не уступала им самим ни в красоте, ни в жажде наслаждений, ни в способности к бойкому разговору. Между этими молодыми женщинами Пушкин и тогдашний его поверенный по всем делам кишиневской жизни, Н.С. Алексеев, к которому он скоро и переселился на житье из строгого дома ген. Инзова, и устроили перекрестную нить волокитства и любовных интриг. Все эти сведения нужны еще и для того, чтоб понимать намеки в некоторых стихотворениях

и в последующей переписке Пушкина, в которых он упоминает о еврейке, Пульхерии и проч., присоединяя к ним иногда (как в письме к Алексееву уже от 1830) имена Стамо, Худобашева. Стамо и Худобашев были чиновниками нашего правительства, служившими Пушкину мишенью для насмешек и подчас весьма нецеремонных шуток. Стамо он даже считал своим братом по Аполлону, так как тот занимался еще и поэзией.

Недаром отпрашивался Пушкин у добродушного Инзова и в Одессу так часто. Там у него были новые любовные связи, не уступавшие кишиневским, но никогда не заслонявшие их. Некоторые имена из числа этих последних он даже и популяризировал на Руси; как, например, имя пресловутой «Калипсо». Мы видели еще черновое письмо Пушкина из Одессы от этой эпохи к двум кишиневским дамам, фамилии которых неизвестны. В послании своем, Пушкин преимущественно обращается к той из них, которую называет уменьшительным именем *Maïguine*, *aimable Maïguine* и вот какой речью говорит с ней: «*Hélas, aimable Maïguine, loin de vous mes facultés s'anéantissent; j'ai perdu jusqu'au talent des caricatures, quoique la famille du pr. M-i soit digne d'en inspirer... Mais est-il vrai que vous crûtes venir à Odessa. Venez au nom de Dieu. Nous aurons pour vous attirer bal, opéra italien, soirées, concerts, cicisbés soupirant — tout ce qu'il vous plaira. Je contreferai le singe et je voas dessinerai M-me de T... A propos de l'Aretin — je vous dirai, que je suis devenu chaste et vertueux — c'est à dire en parole, car ma conduite a toujours été telle*» и т.д. Послание было бы просто непонятно, если бы мы не знали, что наглость обращения с людьми вообще входила в систему русского байронизма и что она вызывалась, кроме всего другого, еще и моральной бедностью самого общества, с которым поэт пришел в соприкосновение. Обыкновенно случалась беда для кого-нибудь, если при игре и самом ходе этих интриг встречался какой-нибудь непрощеный человек на пути, в роде неизвестного француза, по имени Дегильи, которого Пушкин письменно вызывал на дуэль, вероятно для отстранения его соперничества. Чтобы покончить с этим порядком фактов приводим ответ Пушкина, когда Дегильи устранился от дуэли. Ответ сообщен нам Н.С. Алексеевым.

Avis à M-r Deguilly, ex-officier français.

Il ne suffit pas d'être un Jean.....; il faut encore l'être franchement.

A la veille d'un... duel au sabre, on n'écrit pas sous les yeux de sa femme des jérémiades et son testament. On ne fabrique pas des contes à dormir debout avec les autorités de la ville, afin d'empêcher une

égratignure. On ne compromet pas deux fois son second. (Выноски Пушкина: Ni un général qui daigne recevoir un piedplat dans sa maison).

Tout ce qui est arrivé, je l'ai prévu, je suis fâché de n'avoir pas parié.

Maintenant tout est fini, mais prenez garde à vous. Agréez l'assurance des sentiments que vous méritez.

Pouschkine.

6 Juin, 1821.

Notez encore que maintenant en cas de besoin je saurai faire agir mes droits de gentilhomme russe, puisque vous n'entendez rien au droit des armes.

Пушкин не считал тогда унижительным для себя действовать таким образом и говорить языком обоих приведенных документов.

За исключением двух-трех греческих и русских домов, державшихся в стороне от общества и поставленных на европейскую ногу, не с кем было и завязывать серьезных отношений: все остальное население города, высший класс его, не понимали даже особенного привилегированного положения, в которое поставлена была Бессарабия или понимали его очень узко и своекорыстно. Кишинев обладал еще в то время каким-то фальшивым подобием конституционной палаты, не оказывавшей никакого влияния на нравы, обычаи и политическое его развитие. После присоединения Бессарабии там учрежден был верховный совет из местных почетных лиц края, который, опираясь на особый статс-секретариат по делам области, существовавший в Петербурге, постоянно воевал с генерал-губернаторами, отстаивал боярские привилегии и мешал устройству каких-либо правомерных отношений между сословиями. Благодаря этому совету, управление краем было вообще слабо, а при добром Инзове его можно сказать и совсем не существовало. Обстоятельство это, вместо того, чтобы открыть простор для частной деятельности, хотя бы и в духе местного, провинциального патриотизма — открыло здесь только дорогу дружной оппозиции, когда надо было обличить и искоренить злоупотребления или помочь стране освободиться от того или другого вопиющего обычая. Позднее, когда управление краем (1823) вверено было графу М.С. Воронцову, он приступил к упразднению совета, и сделал это без особенных затруднений, так как учреждение не имело, корней в населении и ничему не служило, кроме собственных эгоистических и узких интересов.

Неудивительно поэтому, что интеллигенцию города составляли совсем не местные жители, а пришлое военное население, именно большинство офицеров 16-й дивизии, с прикомандированными к ней чинами генерального штаба и с общим их начальником генералом М. Ф. Орловым. Они-то образовали временное, но истинное передовое сословие города.

Эта 16-я дивизия, принадлежавшая к составу 2-й армии гр. Витгенштейна и к 6-му корпусу ее — испытала вскоре тяжкую участь: на нее упали первые удары правительства, обеспокоенного известиями о существовании военного заговора на юге. Правда, что дивизия и выдавалась назойливо из всех либеральным характером своего понимания служебных обязанностей. Мы не имеем ни желания, ни возможности определять степень виновности перед дисциплиной и военными законами главных деятелей ее. Может быть, известный майор В. Ф. Раевский, посаженный в крепость и сосланный затем по суду на поселение (1822 г.), и действительно проводил в ланкастерских школах взаимного обучения, которые он устраивал для солдат с согласия своего начальника, вредные тенденции, опасные для духа армии. Может быть также, что обвинения в непозволительном сближении начальников с нижними чинами и в поблажке подчиненным имели своего рода основания. Точно также любимая мысль либеральных начальников воздерживать дурных командиров от излишних строгостей и объяснять им настоящие приемы и условия службы, — могла быть производима неосторожным или мало обдуманым способом. Все это остается для нас делом недоступным для исследования, да и совершенно посторонним целям, какие имеем в виду. Позволительно только думать, основываясь на всем, что знаем об эпохе, что 16-я дивизия сделалась жертвой столько же своих ошибок, сколько и вражды направлений, существовавшей в самом составе управления армией, где представители суровых обычаев военной дисциплины сталкивались с представителями новых либеральных воззрений на способ служебного воспитания солдат. Политические необходимости, как говорится, выдвинули старую консервативную партию вперед из ее страдательного положения, а первый случай ничтожного нарушения дисциплины, нисколько не связанный с вопросами о началах военного управления, дал ей возможность отметить за прежнее пренебрежение к ней и показать свою силу. Вообще говоря, благодаря той борьбе направлений, которая распространена была повсеместно, и неизвестности, какое из них господствует в данную минуту, всякому развитому человеку эпохи и на всех поприщах

приходилось уже отдаваться реформаторским поползновениям на свой риск и страх. Никто порядочно не знал, находится ли он на настоящем правительственном пути или уже сошел с него и когда? Каждому предоставлялось самому угадывать, что именно должно полагать, в известную минуту, дозволенным и недозволенным; многие, конечно, и ошибались при этом, становясь преступниками вследствие только неправильной выкладки своего ума. Как бы то ни было, но когда буря разразилась над Кишиновом, то она унесла, кроме упомянутого майора В.Ф. Раевского, еще двух бригадных генералов, самого начальника дивизии и, что всего печальнее, ознаменовалась страшными кровавыми расправами с нижними чинами, вовлеченными в проступки по недоразумению, ошибочному пониманию приказаний, ограниченности.

Разоблачения всего этого дела в упомянутом уже «Дневнике» И.П. Липранди просто неоцененны по свету, который они бросают на всю внутреннюю историю 16-й дивизии. Кстати заимствуем еще один отрывок из этих «Записок». Когда В.Ф. Раевский уже заключен был в Тираспольскую крепость — Пушкин отказался от случая устроить с ним свидание, во избежание неприятных последствий, какие это дело могло иметь для самого узника, что еще раз показывает у Пушкина обычное его натуре соединение крайнего увлечения с трезвостью суждения, когда ему оставалось время подумать о своем решении. Взамен Раевский, бывший также и поэтом, успел прислать ему лирическое стихотворение «Певец в темнице» из своего заключения. Он нашел возможность, по замечанию Пушкина, говорить в этом стихотворении о *Новгороде*, Пскове, Марфе Посаднице, *Вадиме*. Пушкин хвалил стихотворение, особенно остановился на одном, либерально-риторическом четверостишии его, прибавляя, «как это хорошо, как это сильно! Мысль эта никогда не встречалась: она давно вершилась в моей голове, но это не в моем роде: это в роде Тираспольской крепости, а хорошо». Таков рассказ И.П. Липранди. Никто не подозревал тогда, что сам Пушкин втайне писал о Новгороде и о Вадиме и что недавно еще покинул их, признав в них, может быть, и тогда — *не свой род!* Мудрено, впрочем, было и не писать про них: они составляли тогда излюбленную тему светской либеральной эрудиции, а за ней и стихотворного декламаторства¹.

¹ В июньской книжке «Вестника Европы» за 1874, передан следующий рассказ самого В.Ф. Раевского, касающийся этого дела:

«1822 года, 5-го февраля, в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих две-

Близко и скоро сошелся Пушкин со всеми, наиболее замечательными людьми этого военного круга, благодаря своим связям с домом М. Ф. Орлова, где очень часто бывал, и благодаря еще интересу, который находил в беседах кружка. Здесь-то он набирался сведений, встречаясь с очень умными и развитыми людьми и участвуя в жарких их прениях о разных предметах из области искусства, иностранной литературы и всеобщей истории, которые иногда раздражали его, давая более или менее заметным образом чувствовать недостаточную его подготовку к серьезным учено-литературным состязаниям. Он бросался тогда на книги, запирался у себя в доме и на время покидал волокитства и интриги. Между серьезными умами, составлявшими обычное общество М. Ф. Орлова, и генеральный штаб его дивизии, давши, между прочим, и русской литературе и русскому обществу несколько очень известных и почетных имен, частью также процветали фантастические представления исторических и политических вопросов; но фантазия была тогда вообще важной участницей в деле мышления, и очень немногие уберегали себя от этой примеси. Кстати будет упомянуть здесь об анекдоте, который довольно живописно рисует проникновение фантастического элемента во все слои общества и в такие звания, которые, по-видимому, с ним должны были бы считаться несовместимыми. В городе существовала масонская ложа, под названием «Овидиевой», которая состояла под непосредственным управлением бригадного генерала П. С. Пушина, который чуть ли не был и основателем ее. Новости никакой

рей. Арнаут, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуй, душа моя! сказал Пушкин весьма торопливо и изменившимся голосом.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные; вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток С. (Эти слова относятся вероятно к следствию, которое производил С. над нижними чинами одной роты). Но что такое?

— Вот что, продолжал Пушкин: С. сейчас уехал от генерала (Инзова); дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил — приложил ухо. С. утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушка — ты знаешь, как он тебя любит — отстаивал тебя горячо. Долго еще продолжался разговор; я многого не дослышал; но из последних слов С — ва ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.

— Спасибо, сказал я Пушкину; я этого почти ожидал; но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается турецкою расправой; впрочем, что будет, то будет. Пойдем к Липранди, — только ни слова о моем деле».

она не представляла: масонские ложи плодились, и одна тайная масонская ложа «Для офицеров» вскоре образовалась и в Петербурге, но «Овидиева» существовала почти открыто. Конечно, только убеждение в возможности найти сочувствие к своему учреждению между людьми даже высшей администрации, — поддерживало генерала при осуществлении его мысли, и, конечно, также ему никогда в голову не приходило, что в нужную минуту, пожалуй, ожидаемое сочувствие может и не оказаться на лицо¹. Весьма забавен факт, рассказываемый про нее тоже Липранди. На одно из заседаний этой ложи, которое приходилось в день Пасхи и имело место в подвале какого-то каменного дома, явился *Болгарский архимандрит*, пожелавший сделаться братом-каменщиком. Следуя обычному церемониалу приема новых членов, он спустился в подвал с завязанными глазами, ведомый под руки, но болгары, его соотечественники, собравшиеся у решетки дома, полагая, что духовный пастырь их попал в западню и подвергается опасности, бросились за ним и торжественно вывели спасенного на Божий свет, прося и принимая от него благословения. Мы знаем, что случай этот чрезвычайно забавлял Пушкина. Он не преминул поместить его в своих тетрадах особой картинкой, которая заслуживает внимания. Под сводами какого-то массивного строения, которое должно принять за паперть церкви, перед большим образом с зажженной лампадой, стоят 7 лиц по порядку один за другим, представляя из себя самое странное и дикое смешение национальностей и характеров: именно тут собраны греческий монах, молдаванский боярин, бессарабский мужик, католический поп, якобинец в фригийской шапке и с палкой в руке и проч. Внизу красуется подпись: «12 апреля, День Светлого Воскресения, 1821 г.» Картинка, по всем вероятностям, очень близко передавала состав ложи, но она также может служить и эмблемой того смешения национальностей,

¹ К, нему-то, несколько позднее и уже в эпоху *Греко-Турецкой брани*, Пушкин обращался с экспромтом, не лишенным, впрочем, своего рода иронического оттенка, как можно судить по последним его стихам:

«И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа —
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь — свобода!
Хвалю тебя, о верный брат,
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй — им просвещенный!»

которое воцарилось в городе, когда разыгрался последний акт революционной драмы в Молдавии и Валахии в том же 1821 г.

После того, как мелкий, неспособный и кровожадный А. Ипсиланти был наголову разбит турками в Валахии и дело этеристов окончательно погибло в Дунайских княжествах, возникнув с новыми людьми, силами и с большей патриотической энергией на юге Балканского полуострова, Кишинев представил редкое зрелище. Он получил свою долю инсургентов, разбежавшихся в разные стороны, кто куда мог. Кроме немногих образованных греческих фамилий, искавших в нем приюта от внезапной политической бури, их застигшей, Кишинев увидал в стенах своих еще толпы фанариотов, молдаван и бродяг, которые принесли с собой, вместе с навыком к интригам, коварному раболепству и лицемерию, еще свежие предания своих полу-разбойничьих лагерей. Тогда-то Пушкин впервые познакомился с недавними бойцами румынского восстания, людьми, которые почти и не сознавали разницы между борьбой за дело освобождения родины и подлым грабежом, насилием и убийством. Отзыв Пушкина об этих войнах «освобождения» увидим сейчас. Наглость в обращении была уже почти тут необходима, просто для того, чтобы держать всю эту негодную эмиграцию перед собой в должных границах. К сожалению, навык к презрительному своеволию обращения, полученный Пушкиным прежде и усиленный этой толпой, укоренился в нем на довольно долгое время. Большая часть молдаванских бояр, с которыми он ссорился и за ссоры с которыми Инзов объявлял ему домашние аресты, не принадлежала прямо к эмиграции, выброшенной греческой революцией в Кишинев. Еще менее принадлежали к ней наши русские заезжие по службе и по делам соотечественники, тоже не избавившиеся от его придиорок, вспышек и вызовов. Пушкин уже нажил в среде кишиневского туземного и пришлого населения наклонность к самоуправству и властолюбивым притязаниям. Так со всех сторон — со стороны друзей, рукоплескавших его лихим, наиболее эксцентрическим проделкам, со стороны женщин, им встреченных, и тем более покорявшихся ему, чем решительнее были его слова и поступки, со стороны общества, не обладавшего никаким моральным содержанием для того, чтобы сдерживать его порывы и робко пропускавшим мимо себя молодого человека, которому вздумалось его оскорблять и попирать — все клонилось к тому, чтобы помочь Пушкину в деле искажения его природной, нравственной физиономии, в чем он и успел на целых два года.

В ином месте («Материалы для биографии Пушкина 1855 г.)

мы сказали, что Пушкин вел «журнал» греческого восстания — и к этим словам ничего более присоединить не можем и теперь. Из трех отрывков, оставшихся от этого труда, очень обезображенных временем, нельзя вывести никакого заключения, кроме того, что Пушкин весьма интересовался сначала молдавской революцией. Приводим их в примечании, без перевода французского их текста¹. Гораздо понятнее и в смысле пояснения видоизменений мысли Пушкина, гораздо важнее его суждения о деятелях и орудиях греческого восста-

1

I.

Notice sur la revolution d'Ipsylanti

Le Hospodar Ipsylanti trahi la cause de l'Éthérie et fut cause de la mort de Riga et... Sons fils Alexandre fut Éthériste (probablement du choix de Capo-d'Istria et de l'aveu de l'Empereur). Ses frères, Кан, Контогони, Софианос, Тапо. Michel Suzzo fut reçu Éthériste en 1820; Alexandre Suzzo, Hosp. de Valac. Apprit le secret de l'Éthérie par son secrétaire (Valetto), qui se laissa pénétrer ou gagner en devenant son gendre. Alex. Ips. en janvier 1821 envoya un certain Aristide en *Servie* avec un traité d'aillance offensive et deffensive entre cette province et lui, général des armées de la Grèce. Aristide fut saisi par Alex. Suzzo, ses papiers et sa tête furent envoyés à Constantinople — cela fit que les plans furent changé tout de suite, Michel Suzzo ecrivit à Kichineff. On empoisona Alex. Suzzo et Ipsylanti passa à la tête de quelques Arnauts et proclama la révolution.

II.

Les *capitans* sont des indépendants, corsaires, brigands ou employés Turcs revetus d'un certain pouvoir. Tels furent Lampro etc. et en dernier lieu Formaki, Iordaki-Olimbiotti, Колокотрони, Контогони, Anastas etc. Iordaki-Olimbiotti fut dans l'armée d'Ipsyl. Ils se retirèrent ensemble vers la frontière de la Hongrie. Alex. Ipsylanti menacé d'assassinat s'enfuit d'après son avis et fulmina sa proclamation. Iordaki à la tête de 800 h. combattit 5 fois l'armée Turcs, s'enferma enfin dans le monastère (de Scovlian). Trahi par les juifs, entouré des Turcs il mit le feu à la poudre et sauta.

Formaki, capitain, Etheriste, fut envoyé de la Morée à Ipsyl., se battit en brave et se rendit à cette dernière affaire. Decapité à Constantinople.

III.

Notice sur Penda-Déka.

Penda-Déka fut élevé à Moscou; en 1817 il servit à un évêque grec réfugié... et fut remarqué de l'Empereur et de Capo-d'Istria. Lors du massacre de Galatz il s'y trouva. 200 Grecs assassinèrent 150 Turcs. 60 de ces derniers furent brûlés dans une maison où ils s'étaient réfugiés. P.D. vint quelque jours après à Ibraïl comme espion. Il se presenta chez la Pacha et fuma avec lui comme sujet Russe. Il rejoignit Ipsylanti à Tergovitsch; celui-ci l'envoya calmer les troubles de Jassy — il y trouva les Grecs vexés par les Boyards; sa présence d'esprit et sa fermeté les sauvèrent. Il prit de munitions pour 1500 hommes tandis qu'il n'en avait que 300. Pendant 2 mois il fut prince de Moldavie. Кантакузен arriva et prit le commandement. On se retira vers Stinka. Кантакузен envoya P.D. reconnaitre les ennemis. L'avis de P.D. fût de se fortifier à Barda (1-re station vers Jassy). K. se retira à Skovlian et demanda que P.D. fit son entrée dans la garantaine. Panda-Déka accepta. P.D. nomma son second Papas-Ouglon-Arnaute.

ния, с которыми так близко познакомился в Кишиневе и в своих частых посещениях Одессы. Пушкин является здесь в качестве трезвого судьи виденного и испытанного, и в этой новой роли своей чрезвычайно хорошо обрисовывается следующим отрывком, писанным по-французски из Одессы уже в 1823 г., когда пыл байронического настроения начинал улегаться в его душе и место его заступало прямое наблюдение жизни. Отрывок составлял часть чернового пространныго письма к какому-то дальнему приятелю о греческом движении в княжествах и его героях, которых Пушкин так хорошо узнал. Мы приводим его в буквальном переводе, не желая обременять читателя долее чужестранной речью, к которой должны были даже несколько раз прибегать по необходимости: «Константинопольские нищие, карманные воришки (*coupeurs de bourses*), бродяги без смелости, которые не могли выдержать первого огня даже плохих турецких стрелков — вот что они. Они составили бы забавный отряд в армии графа Витгенштейна. Что касается до офицеров, то они еще хуже солдат. Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева, со многими из них были лично знакомы, и свидетельствуем теперь о их полном ничтожестве: ни малейшей идеи о военном искусстве, никакого понятия о чести, никакого энтузиазма. Они отыскиали средство быть пошлыми в то самое время, когда рассказы их должны были бы интересовать каждого европейца. Французы и русские, которые здесь живут, не скрывают презрения к ним, вполне ими заслуженного; да они все и переносят, даже палочные удары с хладнокровием, поистине достойным Фемистокла. Я не варвар и не апостол Корана, дело Греции меня живо трогает: вот почему я и негодную, видя, что на долю этих несчастных (*misérables*) выпала священная обязанность быть защитниками свободы».

В таком виде представляет нам Пушкин сподвижников Ипсиланти и Кантакузена после двух лет своего знакомства с ними. Гре-

Il n'y a pas de doute que le prince Ipsyl. eut pu prendre Ibraïl et Jourja. Les Turcs fuyaient de toutes parts croyant voir les Russes à leur troussse. A Boncharest les députés Bulgares (entre autre Capidgi...) proposèrent à Ips. d'insurger tout leurs pays — il n'osa!

Le massacre de Galatz fut ordonné par A. Ipsyl. en cas que les Turcs ne voulussent par rendre les armes.

Читатель вспомнит, что об одном из этих капитанов, Кирджали, Пушкин составил впоследствии рассказ, вероятно тоже на основании теперь не существующих своих записок о греческом восстании.

ческое восстание в княжествах, воспламенившее всю Европу, встречало в нем теперь, благодаря образцам его деятелей, выброшенным в Кишинев и Одессу, докладчика очень строгого. Это уже было далеко от того, сравнительно недавнего, времени, когда он искренно увлекался их попыткой, как видели из первого его письма о революции, и пророчил им громадный успех, как видно в его «Записках» (см. печатные «Записки» Пушкина в его сочинениях). По весьма понятному недоразумению, мнение его о грехах Валахии и Молдавии, поднявших знамя восстания, истолковано было петербургскими и прочими друзьями его, как превратное мнение о деле греков вообще, к которому он не оставался и не мог остаться равнодушным, особенно когда оно получило тот героический характер, который проявился уже на другом конце оттоманской империи. Пушкин был раздосадован недоразумением. Свидетельством тому служит опять сохранившийся отрывок из чернового письма, изготовленного Пушкиным и посланного к кому-то в Петербург с видимой целью поправить неблагоприятное впечатление, произведенное тем ложным известием о его отдалении от партии доброжелателей греческого дела. Выдержка, прилагаемая нами, уже принадлежит к эпохе окончательного переселения Пушкина из Кишинева в Одессу (1823 — 24 г.). Несмотря на темноту недописанных фраз ее, она достаточно ясно показывает, что Пушкин старался всемерно заштитить себя от упрека в нерасположении к делу греков, которое могло бы бросить тень на его либерализм и на великодушные его чувства вообще: «С удивлением услышал я, что ты считаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно слова мои были тебе странно перетолкованы; но чтобы тебе ни говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое не доброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа. Жалею, что принужден оправдываться перед тобою и повторю здесь то, что случилось мне говорить касательно греков». (NB. В этом месте Пушкин оставил значительный пробел, который, вероятно, пополнил при окончательной редакции соображениями и фактами, в роде приведенных выше; затем он продолжает:) «Люди, по большей части, самолюбивы, легкомысленны; старые — невежественны, упрямы: истина, которую все-таки не худо повторять. Они не терпят противоречия, никогда не прощают неуважения. Они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость, и однажды к ней привыкнув — не могут с ней расстаться.

Когда что-нибудь делается общим мнением, то глупость общая вредит ему столько же, сколько и единодушие.

Греки между европейцами имеют гораздо более вредных поборников, нежели благоразумных друзей. Ничто еще не было столь народно, как дело греков, хотя многое в политическом отношении было важнее для Европы» На этом и кончается отрывок.

Хотя письмо имеет видимую цель оправдаться перед друзьями от незаслуженного подозрения в перемене своих убеждений, но некоторая сдержанность суждения, открывающаяся даже и в этих фразах, признаки *резонерства* и *оговорки*, в них чувствуемые, показывают, что Пушкин уже не состоял в числе слепых энтузиастов восстания. Происходило это, по нашему мнению, совсем не от претензии на политическую дальновидность, которая была бы чем-то необычайным в это время. Дело объясняется проще: Пушкин следовал только внушениям наших ультра-либеральных кружков, которые боялись, что турецко-греческая распря отвлечет внимание европейских народов от собственных их дел и что европейские правительства, пользуясь благоприятным случаем, направят мысль и одушевление народных масс в такую сторону, где массы эти становятся бесплодными для самих себя. Греция осуждена была также точно на упреки современного радикализма, как и консервативных дипломатов «Священного Союза», очень косо посматривавших, со своей точки зрения, на ее дело.

Перечислив все элементы, участвовавшие в образовании одного из самых мятежных периодов в жизни Пушкина, мы уже можем перейти к общим выводам относительно психического состояния нашего поэта за все время его течения. С самого его начала Пушкин становится подвержен частым вспышкам неудержимого гнева, которые находили на него по поводу ничтожнейших случаев жизни, но особенно при малейшем подозрении, что на пути к осуществлению какой-либо, более или менее рискованной, затеи встречается посторонний, мешающий человек. Самолюбие его делается болезненно-чутким и раздражительным. Он достигает такого неумеренного представления о правах своей личности, о свободе, которая ей принадлежит, о чести, которую она обязана сохранять, что окружающие, далее при самом добром желании, не всегда могут приноровиться к этому кодексу. Столкновения с людьми умножаются. Чем труднее оказывается провести через все случаи жизни своевольную программу поведения, им же самим и придуманную для себя, тем требовательнее еще становится ее автор. Подозрительность его растет: он видит

преступления против себя, против своих неотъемлемых прав в каждом сопротивлении, даже в обороне от его нападков и оскорбительных притязаний. В такие минуты он уже не выбирает слов, не взвешивает поступков, не думает о последствиях. Дуэли его в Кишиневе приобрели всеобщую известность и удостоились чести быть перечислены в нашей печати; но сколько еще ссор, грубых расправ, рискованных предприятий, оставшихся без последствий и не сохраненных воспоминаниями современников! Пушкин в это время беспрестанно ставил на карту не только жизнь, но и гражданское свое положение: по счастью, карты — до поры до времени — падали на его сторону, но всегда ли будут они так удачно падать для него — составляло еще вопрос.

Сам Пушкин дивился подчас этому упорному благорасположению судьбы и давал зарок друзьям обходиться с нею осторожнее и не посылать ей беспрестанные вызовы; но это уже было вне его власти. Ко всем другим побуждениям нарушать обет присоединилась у него еще одна нравственная особенность. Он не мог удержаться именно от соблазна идти на встречу опасности, как только она представлялась, хотя бы в ней не были замешаны его честь и личное достоинство, хотя бы она даже не обещала ни славы, ни удовлетворения какому-либо нравственному чувству. Ему нужно было только дать исход природной удали и отваге, которые, по справедливому замечанию И. П. Липранди, так преобладали у него, что давали ему вид военного человека, не отгадавшего своего настоящего призвания. Он даже не мог слушать рассказа о каком-либо подвиге мужества без того, чтобы не разгорелись его глаза и не выступила краска на лице, а перед всяким делом, где нужен был риск, он становился тотчас же спокоен, весел, прост. К сожалению, можно предполагать, что в описываемый нами период Пушкин пришел к заключению, что человек, готовый платить за каждый свой поступок такой ценной наличной монетой, какова жизнь, имеет право распоряжаться и жизнью других по своему усмотрению. Таким представляется нам в окончательном своем виде русский байронизм, — эта замечательная черта эпохи, — развитый в Пушкине стечением возбуждающих и потворствующих обстоятельств и усиленный еще молодостью и той горячей полу-африканской кровью, которая текла в его жилах.

И что же? Были минуты, и притом минуты, возвращавшиеся очень часто, когда весь байронизм Пушкина исчезал без остатка, как облако, разнесенное ветром по небу. Случалось это всякий раз, как он становился лицом к лицу к небольшому кругу друзей и хороших

знакомых. Они имели постоянное счастье видеть простого Пушкина без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостью, с честным и добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда — хорошо обнаруживается и из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всего свободнее раскрывал свою душу и сердце перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству. Сверх того, в Пушкине беспрестанно сказывалась еще другая замечательная черта характера: он никак не мог пропустить мимо себя без внимания человека со скромным, но дельным трудом, забывая при этом все требования своего псевдо-байронического кодекса, учившего презирать людей, без послаблений и исключений. Всякое сближение с человеком серьезного характера, выбравшим себе род деятельности и честно проходящим его, имело силу уничтожать в Пушкине до корня все байронические замашки и превращать его опять в настоящего, неподдельного Пушкина. Он становился тогда способным понимать стремления и заветные надежды лица, как еще они ни были далеки от его собственных идеалов, и при случае давать советы, о которых люди, их получившие, вспоминали потом долго и не без признательности. Таким образом, душевная прямота, внутренняя честность и дельное занятие, встречаемые им на своем пути, уже имели силу отрезвлять его от наваждений страсти; но была и еще сила, которая делала то же самое, но еще с большей энергией — именно поэзия.

Трудно себе и представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина — чистое творчество, обнаруживая тайну его гения и указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался нравственно, когда приступал к созданию произведений, назначавшихся им для всего читающего русского мира. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности. Он должен был сам любоваться тем нравственным типом, который вырезывался из его собственных произведений, и мы знаем, что задачей его жизни было походить на идеального Пушкина, создаваемого его гением.

Но эти два Пушкина не всегда составляли одно и то же лицо, особенно в кишиневский период, и это еще раз заставляет нас упомянуть о промахе биографов, подменивающих настоящую реальную жизнь поэта лучезарными абрисами, какими она светится в его сочинениях. Последние всегда содержат указание только на то, чем она *могла бы* быть, по мысли поэта, а что она была в действительности, — насколько приближалась и отходила от его идеала, уже должен рассказать исследователь. Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданных им с 1821 по 1823 г., то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов, «Sturm und Drang», какой немногие изживали на веку своем. Но и тогда уже чистое творчество, которым они были навеяны, служило звездой, освещавшей ему выход из жизненной смуты, и живительным источником, возобновлявшим его душевные силы; в нем он давал спасительные уроки самому себе, в нем он обретал и создавал для себя созерцание жизни, далеко превосходившее то, которым отличался в свете. Чистое творчество хранило и берегло лучшую часть его нравственной природы, не позволяло ей загубеть, составляло прикрытие его души, мешавшее ржавчине порока и страстей проникнуть до нее и разложить ее. Ему — чистому творчеству, обязан он был благороднейшими ощущениями и изящнейшими помыслами, которые одним своим появлением упраздняют, если не навсегда, то, по крайней мере, на все время беседы человека с самим собой — чудовищные софизмы, животные наклонности и дикие побуждения непосредственного чувства. Когда задачи чистого творчества стали разрастаться и умножаться перед глазами Пушкина, когда он все чаще и чаще начал относиться к жизни, как художник — «демонический» период его существования кончился. Это произошло именно с половины 1823 года.

Возрождение Пушкина совпадает и с другим важным событием. В том же 1823 г. совершился перелом в администрации Новороссийского края, которая перешла из рук Инзова в другие руки, указавшие совсем иные условия для деятельности всех призванных к устройению гражданского и политического существования страны. Наместником края назначен был граф М.С. Воронцов, который, сосредоточив все управление в выбранной им резиденции — Одессе, составил еще для своего управления общие неизменные правила, отстранявшие так же точно неряшливость и беспечность подчиненных, как и своевольные предначертания второстепенных агентов.

Усилил таким способом правительственный элемент, разбив и мало-помалу уничтожив окончательно все частные стремления, добивавшиеся власти и влияния в стране, он направил могущественные административные средства, ему предоставленные, на возвышение и устройство края, по собственной своей мысли. Замечательные государственные способности графа Воронцова и услуги, оказанные его управлением Новороссийскому краю, остались в памяти его современников и оценены по достоинству ближайшим потомством. Пушкин, с позволения Инзова, находился опять в Одессе (май, 1823) и вероятно так же, как и в первые разы, по любовным своим делам, когда пришло известие о назначении нового начальника. Тогда возникла у него впервые мысль перейти к нему на службу, которую он и не замедлил привести в исполнение. По просьбе Пушкина, он зачислен был в штат наместника, возвратился в Кишинев, чтобы окончательно распротиться с ним, и в июле 1823 г. поселился в Одессе. Пушкин ожидал очень многого от этой перемены местожительства и служения, но что вышло из этого на деле — увидим далее.

VI.
 НА ЮГЕ РОССИИ.
 1823 — 1824.

Пушкин в Одессе. — Романтизм. — Усиленные занятия. — Столкновения с обществом. — Моральные страдания Пушкина. — Неожиданная высылка в деревню и отъезд его.

Пушкин, кажется, сначала и не понял значения переворота, который свершился, как в жизни края, так и в его собственной жизни, с переменной администрации. Ему просто думалось, что он развязывается с надоевшим ему и начинавшим уже пустеть Кишиневом. М.Ф. Орлов с большей частью окружавшего его общества покинул Кишинев, так как он был призван в Тульчин для Высочайшего смотра 2-й армии (сентябрь 1823), после которого, убедясь в не благоволении к нему Государя Императора, и вышел в отставку, как известно. Промен Кишинева на Одессу казался очень выгодным Пушкину. Он сам описал привлекательную сторону тогдашней Одессы. И действительно, шумный приморский город с итальянской оперой, с богатым и образованным купечеством, с новинками и вестями из Европы, русскими и иностранными путешественниками, наконец с молодыми, способными чиновниками, прибывшими в край, по выбору его главного начальника — все эго сулило Пушкину много новых развлечений, занятий и связей, каких Кишинев, потерявший, между прочим, и значение административного центра, уже не мог дать. Будущее представлялось в довольно светлом виде и обещало, в виду всех этих

элементов и условий европейского общежития, возможность более широкого обмена мыслей, — а этим Пушкин всегда очень дорожил.

Преимущества Одессы имели, однако же, и свою оборотную, уравновешивающую сторону.

Очень скоро обнаружилось, во-первых, для Пушкина, что здесь уже не могло быть и помина о той свободе, простоте и даже фамильярности отношений к управлению, какая существовала в Кишиневе. Новый начальник с блестящей свитой чиновников и адъютантов, в числе которых был и Александр Н. Раевский, с первого раза поставил себя центром окружавшего его мира и самой страны. Образ его сношений с подчиненными одинаково удалял, как поползновения их к служебной низости, так и претензию на короткость с ним. Край впервые увидел власть со всеми атрибутами блеска, могущества, спокойствия и стойкости. Прежде всего требовалась теперь «*порядочность*» в образе мыслей, наружное приличие в формах жизни и преданность к службе, олицетворяемой главой управления. Многие весьма далеко уходили, усвоив себе одним внешним образом эти качества. Нельзя сказать, чтобы тот, сравнительно небольшой, круг талантливых людей, которые не могли или не желали устроить свою внутреннюю жизнь по данному образцу, испытывали какого-либо рода притеснения: государственный ум начальника края употреблял их так же, как и других в дело, спокойно ожидая их обращения. Нет сомнения, что и Пушкину предоставлена была бы свобода не признавать обязательности для себя никакой программы существования и поведения, если бы при этом он скромно и тихо пользовался своей льготой; но мало дисциплинированная натура поэта беспрестанно побуждала его к выходкам и поступкам, явно враждебным самой системе управления. Понятно, что не имея возможности выработать из себя «дельного» человека во вкусе эпохи, а вместе с тем и не поддаваясь ни на какую мировую сделку, ни на какое соглашение беречь про себя свое представление людей и порядков, Пушкин уже не имел особенно верных залогов успеха в новом обществе, куда попал по собственному избранию.

Другое отличие Одессы состояло в том, что узлы всех событий распутывались здесь уже гораздо труднее, чем в Кишиневе. Там легко и скоро сходили с рук Пушкину и такие проделки, которые могли разрешиться в настоящую жизненную беду; здесь он мог вызвать ее и ничего не делая, а оставаясь только Пушкиным. Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения — наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни. Соб-

ственно врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и податели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный им материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородным движением сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякого рода самостоятельности и оригинальности. Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так сказать, в пустоте и мстить невидимым своим преследователям только тем, что оставался на прежнем своем пути. Он скоро прослыл потерянным человеком между «благоразумными» людьми эпохи, и это в то самое время, когда внутренний мир его постепенно преобразовывался, место неистовых возбуждений заняло строгое воспитание своей мысли, а умственный горизонт, как сейчас увидим, значительно расширился. Опасность его положения в Одессе не скрылась от глаз некоторых его друзей, как например, от Н.С. Алексеева. Пушкин был гораздо ближе к политической катастрофе, становясь серьезнее, чем в период своих увлечений. Эта ирония жизни или истории не новость на Руси.

Единодушные свидетельства всех друзей и знакомых Пушкина не оставляют никакого сомнения в том, что с первых же месяцев пребывания в Одессе существование поэта ознаменовывается глухой, внутренней тревогой, мрачным, сосредоточенным в ней негодованием, которые могли разрешиться очень печально. На первых порах он спасался от них, уходя в свой рабочий кабинет и запираясь в нем на целые недели и месяцы. Мы и последуем туда за ним, так как кабинетный труд его один и остался в виду потомства, а все прочее давно унесено временем и позабыто.

Прежде всего следует заметить, что важную долю кабинетной деятельности Пушкина составляла его переписка, с братом и друзьями (Бестужевым, Рылеевым, Дельвигом, кн. Вяземским), преимущественно посвященная литературным вопросам и особенно развившаяся с 1823 г. Биографическое значение этой переписки очень велико: поэт является в ней со всеми качествами своего гибкого, замечательно-проницательного, подвижного ума. Общий характер ее может быть сведен на одну черту: вся она есть ни более, ни менее как томление по здоровой, дельной критике и попытка отыскать теперь же ее настоящие задачи и затронуть предметы, которыми она должна будет заниматься. *Начать критику* в нашей литературе

сделалось для Пушкина любимой, заветною мыслью. Постоянные вызовы на полемический спор, какие он стал посылать теперь друзьям, сначала много удивляли их, так как они привыкли считать его человеком, только бессознательного, непосредственного творчества, не призванным к роли литературного судьи. Они довольно долго относили критическая замашки Пушкина к капризу поэта, вздумавшего попробовать себя на новом и несвойственном ему поприще, что видно и из небрежных, часто иронических ответов на его письма, какие он получал от Рылеева, Бестужева, кн. Вяземского. В одном они отдавали ему справедливость — именно в способности чувствовать всякую литературную фальшь и усматривать промахи в логике, языке и создании у современных писателей. Между тем, можно сказать без опасения впасть в преувеличение и панегирик, что по предчувствию истины и по предчувствию нравственной сущности предметов — он стоял выше, как критик, не только заурядных журнальных рецензентов своего времени, но и таких корифеев литературной критики, как А. Бестужев, кн. Вяземский и др. Он, например, никак не мог примириться с заносчивой фразой первого, со своеволием его основных положений, но также точно не уживался и с благовоспитанным поклоном перед старыми избранными авторитетами, каким отличался второй, старавшийся скрыть снисходительность своих оценок остроумием изложения и подбором мыслей, более или менее искусно приложенных к разбираемому автору. Борьба Пушкина с мнениями Бестужева, Рылеева, Воейкова нам известна по рукописным снимкам с его посланий к ним, и в ней он является нам мыслителем-новатором, который имеет свое умное, никем еще не сказанное и часто очень меткое слово относительно людей и явлений русской литературы. Менее известны его горячие прения с кн. Вяземским, так как от его переписки с ним ничего не дошло до нас ни путем печатной, ни путем рукописной литературы; но вот какой характеристический отрывок из одного черного письма еще уцелел в бумагах Пушкина. Пушкин опровергает в нем суждения кн. Вяземского о И.И. Дмитриеве и говорит: ... «О Дмитриеве спорить с тобою не стану, хотя все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры — одного из твоих посланий, а все прочее — первого стихотворения Жуковского. По мне, Дмитриев ниже Нелединского и стократ ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны в дурном роде, холодны и растянуты, а Ермак такая дрянь, что нет мочи... Грустно мне видеть, что все у нас клонится Бог знает куда! Ты один бы мог прикрикнуть налево и направо, порастрасти

старые репутации, приструнить новые и показать истину, а ты покровительствуешь старому вралю...»¹.

Вообще, Пушкин с 1823 г., после толчка, данного его мысли «Полярной Звезды», был уже недоволен всем, что творилось в русской литературе по части критики. Он стоял выше ее современного положения и как будто ждал человека, который даст ей твердое основание и направление, призывая к тому попеременно то одного, то другого из своих приятелей. Ответа на призыв, однако же, не являлось ни откуда, да еще и рано было ему явиться: литература только что просыпалась от долгого оцепенения и находилась в периоде попыток, пробований, исканий всякого рода. Мысль шла, так сказать, ощупью на первых порах и для дельного и серьезного исследования прошлого и настоящего литературы, предпринятого сгоряча нашими критиками, не доставало оснований, которые еще не были ими нажиты. Тем удивительнее становится встречаться с некоторыми мыслями Пушкина от Одесской и позднейшего ее роста — Михайловской эпохи, которые составляют как бы предчувствие того, что будет говорить и подробно развивать последующая анализирующая критика, когда приспест ее пора. Что, как не раннюю отгадку одной из ее тем представляет, например, известное утверждение Пушкина, что ребяческое состояние нашей критики всего лучше обнаруживается в общепринятом способе причислять одинаково к лику великих писателей Ломоносова, Державина, Хераскова, Сумарокова, Озерова, Богдановича, и проч., не разбирая, чего каждый стоит по себе и в каком отношении находится к европейским литературам, откуда каждый из них вышел. В 1825 г. Пушкин сам даже попробовал составить типический очерк для деятельности Державина, и сделал это с ясностью и мастерством, которые удерживают за очерком значение блестящего критического этюда и доселе (в неизданном письме к Дельвигу из Михайловского 1825).

Еще ближе подошел Пушкин к духу и обычным, смелым и откровенным приемам последующей нашей аналитической критики, когда набрасывал в Одессе наскоро следующий отрывок. Он замечателен во многих отношениях. Со своим скептическим и ироничес-

¹ Резкость этого суждения может быть пояснена и участием в составлении его раздосадованного авторского самолюбия. Известно, что Дмитриев, при появлении «Руслана», сошелся во взгляде на поэму с постоянным своим врагом по всем другим вопросам, именно с М. Т. Каченовским, считая ее, одинаково с ним — пустой сказкой, довольно легко написанной и обязанной своим успехом всего более соблазнительным картинам, в ней заключающимся.

ким отливом, он показывает такую свободу отношений к именам, лицам и умственному состоянию общества, какая была редкостью в то время. Кажется, Пушкин и сам дорожил набросанными им мыслями, потому что вздумал воспроизвести их позднее в известной, дополнительной строфе к Онегину: «Сокровища родного слова», так что мы можем считать отрывок наш настоящей программой этого стихотворения. Вот он:

«Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1-е, общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались, но кто же виноват, как не они сами? Исключая тех, которые занимаются сплетнями литературными (*sic*), *у нас нет еще ни словесности, ни книг*; все наши знания, все наши понятия, с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных; мы привыкли мыслить на чужом языке; метафизического языка у нас вовсе не существует. Просвещение века требует важных предметов для пищи умов, которые уже *не могут довольствоваться блестящими игрушками*, но ученость, политика, философия по-русски еще не изъяснялись. Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных, и леность наша охотнее выражается на языке чужом, механические формы коего давно уже известны. Но, скажут мне, русская поэзия *достигла высокой степени образованности*. Согласен, что некоторые оды Державина, *не смотря на неправильность языка и неровность слога*, исполнены порывами гения, что в «Душеньке» Богдановича встречаются *стихи и целые страницы, достойные Лафонтена*, что Крылов *превозмог всех нам известных баснописцев*, исключая, может быть, того же самого Лафонтена, что *счастливые сподвижники Ломоносова*» (Но здесь Пушкин оставил пустое место, вероятно, для подразумевавшихся имен Шишкова, Ширинского-Шихматова, Кутузова и проч.), «что Батюшков сделал для русского языка *то же самое, что Петрарка для итальянского*, что Жуковского перевели бы на все языки, *если бы он сам менее переводил*»...

Этот иронический возглас, передразнивавший литературных лжепатриотов тогдашнего времени их собственными надутыми фразами, Пушкин не докончил, оставив его и без ответа, да это в сущности и не его было дело. Его дело было показать примеры самостоятельного творчества и возродить в других людях идею свободного и глубоко поэтического созерцания жизни...

Может показаться странным, что мы находим признаки замеча-

тельной работы мысли в этом хождении вокруг старых и новых русских писателей и в этом взвешивании их литературного значения, но надо вспомнить, что такое была в это время и еще гораздо позднее литература наша. За неимением никаких других открытых поприщ для обнаружения независимой умственной деятельности, литература сделала сама собой единственной ареной, призывавшей к себе всех, кто чувствовал склонность и способность мыслить. Уйти от нее можно было тогда только в тайные политические круги, как многие и делали. Позднее арена эта еще разрослась, приобрела несвойственные ей размеры и поглотила все другие направления, которые искали случая поместить вокруг тех же старых имен наших писателей и насущных русских произведений свои заветные идеи. Пушкин был провозвестником замаскированной публицистики, породившей в последние годы его жизни сплошной ряд более или менее замечательных деятелей.

В Одессе же явился для Пушкина и новый предмет размышлений и исследований, которому он посвящал целые дни, а потом и целые трактаты, как оказывается по его бумагам. Мы говорим о романтизме. С точки зрения современной критики, уже знающей, какое место занимал романтизм в ряду исторических явлений нашего века, чем был порожден и куда его направлял, может также показаться, что занятия романтизмом ничего более не доказывают, как отсутствие крепких научных оснований в уме, который ищет своего спасения от внутренней пустоты в царстве фантазии. На деле было несколько иначе: романтизм имел у нас смысл и значение призыва к жизненной борьбе, а не отбоя или отступления от нее.

Трудно теперь и представить себе, что заключалось для наших людей эпохи 1820 — 30 г. в одном этом волшебном слове «романтизм», которое заставляло биться все сердца и работать все головы. Прежде всего романтизм освобождал писателей от гнета творчества и от множества стеснительных школьных предрассудков относительно назначения, так называемых, образцов отечественной словесности. Он уже предвещал эпоху возмужалой мысли, как бы еще сентиментально, туманно и капризно ни выражался иногда сам. С его появления возникает у нас предчувствие о новых неофициальных путях жизненной и творческой деятельности. Романтизм послужил прежде всего возвышению отдельной личности, давая ей право говорить о себе, как о предмете первостепенной важности, и уполномочивая ее противопоставлять свои нужды, страдания и требования, даже заблуждения и ошибки всяким, так называемым, высшим инте-

рессам и представлениям. Исповедь личности получила интерес политического дела, но под одним условием, чтобы исповедь эта находила сочувственные струны в сердцах других людей и отражала собственную их историю душевных страданий, стремлений и надежд. До Пушкина, конечно, никто не давал ни малейшего образчика такой исповеди, но уже с Карамзина началось движение в сторону от торжественных родов поэзии, которые одни считались доселе заслуживающими внимания, на встречу к *мелким* предметам человеческого существования, к анализу сердечных движений, к описанию того, что угнетает, тревожит и поддерживает отдельное лицо, незаметную единицу в государстве. Ко времени Пушкина движение это выросло до того, что в конец изменило понятие о призвании литературы. Оно и теперь полагалось, как и прежде, при господстве од, высокопарных поэм и псевдонародных или патриотических трагедий, в служении общественному делу, но общественным делом становилось теперь частное воззрение, частная горе, частная жалоба. Для Европы все это могло быть безразлично или даже составлять остановку в ее развитии; для нас это было положительным выигрышем и шагом вперед. О других сторонах романтизма по отношению к русской жизни — скажем сейчас.

Пушкин имел еще свои особенные, личные причины заниматься определениями и объяснениями романтизма. Еще ранее публикации своей третьей поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823), он уже был признан у нас, как критиками, так и публикой — главой романтической школы. Он никогда не помышлял о завоевании себе этого титула или этого места, но, приобретая их по общему приговору, уверовал в свое призвание вести романтическую школу в своем отечестве, как передовой ее деятель, на высоту, какая ей будет под силу. Однако же для того, чтобы удержать за собой место главы романтической школы, необходимо было уже ближе познакомиться с сущностью и внутренним смыслом учения. Это необходимо было и по другой причине: следовало отделить понятие о романтизме от таких явлений, как слезливость последователей Карамзина, как фантазмагории и чертовщина последователей Жуковского, как пережитое им самим русско-байроническое настроение, что все еще слыло за романтизмом и прикрывалось его именем. Отсюда и выходили разыскания Пушкина.

Но на пути полного и обстоятельного определения романтизма Пушкин встретил непреодолимые затруднения, которых и победить не мог.

Напрасно прибегал он к возобновлению в памяти курса французской словесности и начинал историю романтизма с провансальской поэзии и труверов, отыскивая в их рифмованных сонетах, рондо, триолетах первые семена романтизма; напрасно противопоставлял свойства и приемы *народных* драм Кальдерона, Шекспира и проч. *придворным* трагедиям псевдо-классиков времен Людовика XIV, думая уловить в этом контрасте коренные признаки и отличия обеих школ; напрасно также наконец, как бы из отчаяния в неуспехе своих изысканий, советовал просто различать классические произведения от романтических не по духу и содержанию их, ибо тогда в ином классическом создании найдутся ясные элементы романтизма, как и наоборот, а только по их формам, которые уже не могут обмануть, будучи типически различными между собою — все напрасно! Построение какой-либо эстетической теории на романтизме — не давалось ему, что он ни делал. Некоторые из этих попыток Пушкина уяснить вопрос приведены нами были в «Материалах» 1855 (см. том I Сочинений Пушкина, изд. 1855, стр. 112, 262 и след.), но многочисленные, длинные его компиляции из курсов, но значительное количество образчиков пересказать их содержание своими словами и дополнить своими комментариями, туда не попали, как черновая работа, только внешне, механически принадлежащая поэту. Можно привести в дополнение к другим примерам его собственных мнений о романтизме еще следующий отрывок из письма к П. А. Вяземскому, набросанный предварительно поэтом вчерне: «Перечитывая твои письма, — говорит Пушкин, — берет меня охота спорить... Говоря о романтизме, ты где-то пишешь, что даже стихи со времени революции имеют новый образ от А. Шенье... Никто более меня не уважает, не любит более этого поэта, но он... из классиков — классик. C'est un imitateur. От него пахнет Феокритом и Анакреоном. Он освобожден от итальянских *concetti*, и от французских *antitheses*, но романтизма в нем нет еще ни капли... Первые «Думы» Рылеева (последние прочел я недавно и еще не опомнился: так он вырос!) — холодны... Lavigne — школьник Вольтера — и бьется в сетях Аристотеля. Романтизма нет еще во Франции, а он-то и возродил умершую поэзию. Помни мое слово — первый поэтический гений в отечестве Буало ударится в такую свободу, что — что твои немцы! Покамест во Франции поэтов менее, чем у нас... Что до моих занятий... Роман в стихах... в роде Д. — Жуана... Первая глава кончена — тебе ее доставлю... Пишу с упоением, чего уже давно со мною не

было... О печати и думать нельзя. Цензура наша так своенравна, что невозможно размерить круг своих действий: лучше и не думать».

Так нащупывали, смеем выразиться, невидимку-романтизм во всех явлениях литературы наши передовые писатели, и не могли согласиться друг с другом ни в одном выводе, хотя относительно Пушкина нельзя не сознаться, что его пророчество о близком появлении школы В. Гюго, по времени, весьма замечательно. Кстати сказать. Случайное приравнение, сделанное самим Пушкиным, Онегина к «Д.-Жуану» Байрона, было подхвачено впоследствии друзьями и послужило источником досады автора на них и объяснительной переписки с ними, как сейчас будем говорить.

Не лучше, если не хуже, были и все другие определения романтизма, исходившие от его друзей или от записных литераторов того времени. Перечет их мнений и суждений увлек бы нас слишком далеко. Скажем просто: понимание сущности романтизма не давалось русскому миру, и оно понятно, почему? В Европе романтизм был родным явлением. Корни его обретались в старой и новой истории Запада, и разгадка его явлений добывалась легко и скоро. Даже в высшем своем развитии, когда он олицетворялся титаническими характерами, в роде Рене, Манфреда, Обермана и проч., он еще отвечал только общему состоянию умов после французской революции, поднявшей все вопросы духовного и политического существования государств и оставившей большую их часть без разрешения. Каждый человек, не чуждый вовсе движения своего века, переживал с этими типами и характерами, в большей или меньшей степени, как бы собственную свою психическую историю. Он без труда находил в себе самом их безотрадный анализ, отчаянные усилия придти к какому-либо верованию и томившую их скуку. Также точно западный человек воскресал перед собой, так сказать, свои школьные годки и не выходил из круга семейных, родственных представлений, когда из усталости и противодействия философии и рационализму убегал назад, в средние века. Влюбляться в народные поверья, предания, суеверия и сказания, умиляться перед песнями труверов и миннезенгеров, утешаться фантастическими представлениями средневековых народных масс, которые помогали им переносить тяжесть жизни — все это значило на Западе только припомнить свой ребяческий возраст, оглянуться на свое прошлое. Для западного человека романтизм был не открытием, а воспоминанием. В переработке всего средневекового материала на новый лад, люди искали там свежести чувств и тех живых верований, той пищи для фантазии и согревающей теп-

лоты религиозных идеалов, каких им уже недоставало. При потворстве критики, которая в лице некоторых своих представителей, как одного из Шлегелей, например, и некоторых других, давала далее пример перехода из одного вероисповедания в другое для лучшего развития в себе элементов романтизма, направление сделалось под конец вредным и ретроградным в Европе. Иначе выразилось оно у нас, где, не имея значения бытового явления, приняло форму *художественной теории*, что составляло большую разницу.

Поводов к возникновению романтизма в его социальной и метафизической форме, представляемой героями, сейчас упомянутыми: Рене, Манфредами и проч., не существовало никаких в нашей общественной среде, так же точно, как не было данных на русской почве для процветания романтизма в смысле обновления преданий. Старая русская народная жизнь лежала еще тогда в стороне, никому неведомая и никем не исследованная: напустить на себя страстное обожание предмета, окруженного и подернутого густым мраком истории, конечно, было возможно по нужде, как мы и видели в политических наших славянолюбцах, но долго выдерживать эту роль в литературе не предстояло уже никакой возможности. Мы увидим далее, что романтизм действительно подвел Пушкина незаметно к народной поэзии, но не ее слабый, никем еще не распознаваемый голос мог участвовать в призыве нового учения к себе на помощь. Поневоле романтизм должен был явиться у нас просто в форме нового *эстетического* учения, для чего он вовсе не имел содержания по своей односторонности, и чем не мог быть по своей сущности и происхождению. Он сделался школьным вопросом из живого явления, каким он был на Западе. Очутившись у нас на этой дороге и принявши облик схоластической теории, романтизм нашел скоро бесчисленных учителей, толкователей и комментаторов. Каждый из них предлагал свое определение романтизма на основании признаков и подробностей, прежде всего бросившихся ему в глаза и, таким образом, романтизм для одних был накопление этнографических черт и народных выражений в произведении, для других — тонкий до мелочей психический анализ характеров, для третьих — подробное изложение неуловимых оттенков мысли и ощущений, а для очень многих (т.е. для большинства учителей) — проявление необузданной фантазии, которая пренебрегает всеми условиями искусства. Сам Пушкин, на другой почве, чем школьные теории, находил еще, как знаем, присутствие романтизма даже в иной беспутной жизни, лишь бы она исполнена была приключений всякого рода.

Итак, забудем о наших определениях романтизма и посмотрим, каково было влияние этого направления на нашу образованность вообще. Здесь к числу благотворных навеяний и последствий романтизма, о которых уже говорили, следует присоединить еще одну и может быть важнейшую черту. Занесенное к нам на этот раз не из Франции, а из энциклопедической Германии — романтическое движение имело последствием открытие нового материала не только для авторства, но и для умственного воспитания общества. Благодаря тому уважению ко всем народностям без исключения и ко всем видам и родам народной деятельности, которое романтизм проповедывал с самого начала, он сделался у нас элементом очень важного движения. Избранных литератур, а с ними и избранных национальностей, предопределенных, так сказать, быть вечными образцами гениальной производительности, для романтизма вовсе не существовало, к великому соблазну классически-воспитанных писателей. Наравне с высокоразвитыми древними и новыми обществами, внимание романтизма обращено было и на племена с невидными, но своеобразными зачатками духовной жизни. Из этого выходило также, что романтики не признавали никакой иерархии в родах поэтической деятельности, и народная сага, собрание песен, эпическое или лирическое творчество какого-либо незначительного племени ценилось ими иногда выше правильных, холодных драм, поэм, романов, занимавших и восхищавших цивилизованное общество. Этот космополитизм романтической школы, это благожелательство к проявлениям человеческого духа, в какой бы форме оно ни делалось, открывали школе, так сказать, целый мир предметов для вдохновения, фантазии и мысли.

Пушкин, прозванный, не без основания, «Протеем» за способность ловить поэтические оттенки чувства, образа и мысли во всех предметах, подпадавших его наблюдению, воспользовался с избытком отличием своей школы, но она еще увела его и далее. Путем изучения чужих народных произведений, романтизм приводил неизбежно и к русскому народному творчеству, еще никем не тронутому. Не могло же оно одно оставаться за чертой, в непонятном и позорном остракизме, когда все другие страны ласково принимались в пантеон, устроенный для народных литератур всего света. Конечно, обход к русским поэтическим мотивам был очень дальний, но вряд ли в то время шла к ним какая-либо другая дорога. Благодаря романтизму, и вскоре последовавшему за ним влиянию Шекспира — открылся впервые разнообразнейший русский мир, с чертами

нравов, понятий и представлений, ему одному свойственными. Оставалось подойти к нему и, конечно, мы не скажем ничего преувеличенного, если здесь заметим, что первым, подошедшим к нему прямо с поэтическим чутьем его действительного содержания, был Пушкин.

Дело обрусения Пушкинского таланта началось с «Онегина», т.е. с первого появления нашего поэта в Одессе, когда он серьезно приступил к роману, начатому несколько прежде и которым теперь несколько месяцев сряду, по свидетельству брата, был поглощен душевно и телесно. При появлении первой главы нового произведения в Петербурге, еще в рукописи (1825), друзья автора снова закричали о мастерском подражании Байрону и его Дон-Жуану. Пушкин был изумлен и огорчен: друзья не знали того поворота на встречу русской жизни, который был уже задуман им, и остановились на внешней форме романа. С жаром принялся он им толковать, что ничего общего между Онегиным и Дон-Жуаном нет, что первая глава романа есть не более, как вступление, которым он остается доволен, что следует ожидать других глав, того, что будет далее... а далее хотя он еще и неясно различал, как говорит сам в поэме, ход романа, но, конечно, русская жизнь со своими особенностями носилась уже и тогда перед его глазами.

Нам не совсем понятна теперь ошибка друзей Пушкина, почти единогласно утверждавших, что Онегин и Дон-Жуан одно и то же лицо, даже упрекавших поэму нашего автора в пошлости и прозаизме содержания. Этого мнения держался, между прочим, и К.Ф. Рылеев, а также очень умный и дельный приятель Пушкина, Н.Н. Раевский-младший, не раз поражавший поэта трезвостью своих суждений, но про которого автор «Онегина» принужден был заметить в 1823 году, в письме к брату из Одессы: «Не верь Н. Раевскому, который бранит его (Онегина). Он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм, и порядочно не расчухал». А между тем одно то обстоятельство, что Пушкин с самого начала относится очень скептически к своему герою, должно было бы навести его критиков на мысль о разнице между русской и английской поэмой. Байрон вообще никогда не смотрел иронически на своих героев, а тем менее на Дон-Жуана, в котором олицетворял некоторые стороны собственной своей природы. Пушкин тоже вложил в Онегина часть самого себя и ввел в его облик некоторые черты своего характера, но он не благоговееет перед изображением, а, напротив, относится к нему совершенно свободно, а подчас и саркастически. Конечно, говоря о двух поэмах, никогда не должно забывать высокого преимущества,

какое имеет «Дон-Жуан» в обширности плана, в смелости замысла, а также и в силе исполнения над русской поэмой, но это не мешает «Онегину» быть великим поэтическим памятником русской литературы, поучительным и для других литератур, по художественному разоблачению умственной и бытовой жизни той страны, где он возник. По нашему мнению, ничто так не подтверждает нравственного переворота, совершившегося с Пушкиным в Одессе, как способность, обнаруженная им в «Онегине», отнестись критически к «передовому» человеку своей эпохи. Почти в одно время с появлением первой главы романа (1825), в публике нашей распространилась и комедия «Горе от ума». Пушкин и Грибоедов уловили, так сказать, душу своего времени, заключив все его содержание в двух не умирающих типах: Онегине и Чацком, которые принадлежат одинаково к «большому свету», управлявшему тогда умственным развитием страны. И тот и другой страдают пустотой жизни, но Онегин есть представитель известной части светского круга, члены которого, несмотря на все свои претензии, способны были уживаться со своей обстановкой, а Чацкий есть представитель другого отдела того же светского круга, которого эта самая пустота вызывала на проповедь, борьбу и подвиг. Сознание своих и общественных недугов заставляет Онегина дорожить изяществом существования, тонкими ощущениями в области мысли и в сфере жизни, которым само презрение к современным людям и обществу служит еще поводом и поощрением; то же самое сознание разрешается у Чацкого, наоборот, искренним гневом и негодованием на самого себя и на общество: если он бьет его по лицу всеми его пороками и позорными сторонами, то не выгораживает и себя из его среды. Из этих двух типов, в бесчисленном распадении и разветвлении, действительно и слагалась тогда многочисленная русская «интеллигенция», сообщившая эпохе тот своеобразный колорит, который мы знаем за ней. Параллель между Онегиным и Чацким можно бы провести и далее, показав, что и частная их жизнь была как-то одинаково неудачна и завершилась отвергнутым чувством со стороны тех, в ком они вздумали поместить свое сердце и свою любовь; но при ближайшем рассмотрении и тут оказывается разница. У первого, Онегина, это явилось заслуженным наказанием его нравственной несостоятельности, плохо прикрываемой кичливостью и претензией, а у Чацкого то же явление было возмездием среды, не выносившей его нравственного превосходства. Во всяком случае и Пушкин, и Грибоедов, как достоверно известно из многих документов, очень хорошо знали, что делают, еще при самом замысле

своих созданий, и довольно ясно предвидели выводы и соображения, к каким они дадут повод впоследствии. Не мог только предвидеть Пушкин того, что его роман, так хорошо отражающий одну из сторон тогдашней светской жизни, будет принят у друзей за простую подделку под иностранный образец и не возбудит никакого другого вопроса.¹

Но оставляем в стороне историю недоразумений между Пушкиным и друзьями его; недоразумений этих было всегда много между ними, как увидим далее, а теперь продолжаем нашу повесть о русском романтизме.

По отношению к Пушкину, романтизм этот имел еще значение и чисто практическое, житейское, упразднив или ослабив влияние Байрона, как личности. Восторженное удивление к гениальным приемам и художественной манере Байрона-писателя еще продолжалось довольно долго, и хотя значительно ослабело с эпохи знакомства Пушкина с Шекспиром (1825 г.), но можно заметить кое-какие следы его даже в 1828 году — накануне, так сказать, «Полтавы». Люди не скоро расстаются со старыми, могущественными увлечениями и впечатлениями, но Пушкин с одесской жизни расстался с Байроном иначе. Британский поэт перестал быть для него кумиром, лод гнетом которого сам Пушкин отрекался от собственной личности и делался снимком с чужой физиономии. Байрон начинал превращаться из личности в *понятие*, что составляло уже большую разницу. Давление личности Байрона, у которой, как известно, поэт наш перенимал даже многие мелочные привычки жизни и характера, значительно ослабело, когда сам родоначальник направления, благодаря свету, брошенному на него предпринятым исследованием романтизма, переставал являться феноменом, а становился олицетворением одного из видов большого, многостороннего *литературного рода*. Власть идеала была уже потрясена тем, что он делался наравне с другими явлениями романтизма подсушен определению, разбору, классификации, но, конечно, высвободиться от прямого влияния лич-

¹ Кстати будет заметить здесь, что этому заблуждению друзей Пушкина много способствовал единственный чисто-отвлеченный вопрос, который возник в их среде и сохранен их перепиской, именно вопрос об отношениях восторга или вдохновения к искусству. Сторонникам вдохновения, как главного деятеля в производстве поэтических созданий, с которыми не соглашался Пушкин, указывая на важность обдуманного плана и предвзятого автором намерения — первая глава «Онегина» показала даже ниже «Кавказ. Пленника» и «Бахчисар. фонтана». Так именно выразился один из наиболее жарких защитников необходимости «восторга» — К.Ф. Рылеев.

ности было легче, чем освободиться от направления, данного ею самой мысли подражателя, от ее взглядов на людей и предметы нравственного свойства, от направления, ею сообщенного. Это уже могло совершиться только через посредство самостоятельного труда, озарившего бывшего поклонника, и в этом смысле услуга, оказанная «Онегиным» своему автору, должна цениться весьма высоко. С «Онегина» начинается нравственное отрезвление Пушкина от хмеля восторженного подражания Байрону, как поэт наш сам давал разуметь, и возвращение его к самому себе, к природе и свойствам своего таланта и своего характера.

Кроме «Онегина», честь быть свидетелем и участником нравственного переворота в Пушкине принадлежит еще и другому произведению — «Цыганам». Обе поэмы эти имеют право на название *поэм-близнецов*, потому что писались в одно время, чередуясь на столе автора по настроению его духа. Как ни различны они по основным своим мотивам и по характеру своих представлений, Пушкин вел это двойное и разнородное дело совершенно вровень и притом с не остывающим воодушевлением. Это доказывается пометками, какие сохранились на черновых оригиналах обеих поэм. С июля 1823 по декабрь (именно по 8-е число декабря 1823) написаны были Пушкиным две первые главы «Онегина» в Одессе. В феврале 1824 начата им третья, как видно из заметки, стоящей во главе ее — «8-e fevrier, la nuit, 1824». Между второй и третьей главами «Онегина», стало быть в течение двух месяцев, декабря 1823 года и января 1824, являются «Цыгане», начало которых украшено изображением медведя, цыганского шатра и под ним Земфиры. Окончание поэмы приходится уже ко времени ссылки Пушкина в деревню, Михайловское, и носит пометку 10-го октября 1824. Вся поэма приблизительно стоила Пушкину около 10-ти месяцев труда, далеко не постоянного, прерванного еще длинным путешествием из Одессы в Псков и от которого он часто еще отвлекался значительным количеством лирических своих песней, тогда же им произведенных.

А между тем, «Цыгане», в противоположность с реальным «Онегиным», с жизненным, бытовым оттенком его картин и характеров, представляют высшее и самое пышное цветение русского романтизма, успевшего овладеть теперь и поэтически-философской темой. Одновременное производство двух таких противоположных созданий всего лучше доказывает, что с зимы 1823 — 24 г. начинается у Пушкина новый период развития, несмотря на то, что именно в течение ее скопились и все те мелкие и крупные досады, которые сдела-

ли ему жизнь в Одессе невыносимой. Никто не будет спорить, да никто и не спорил прежде, что на «Цыганах» мелькают еще лучи байронической поэзии, но, вместе с тем, оригинальность замысла, возмужалость и зрелость таланта до того бросались в глаза современникам Пушкина, что они признали в поэме совершенно свободное, независимое создание, несмотря на некоторые признаки его родства с чужой мыслью. И современники были со своей стороны правы. Вспомнить только, что в «Цыганах» Пушкин коснулся неожиданно социального вопроса и, конечно, далеко не исчерпал его (в области романтизма он и не мог быть обрабатываем), но в полусвете поэтического вымысла указал часть присущего ему содержания чрезвычайно удачно. Вся обстановка вопроса была в поэме также по преимуществу романтическая: цыганский табор написан яркими красками, прикрывшими его, как мантией, за которой бедная действительность табора едва и чувствовалась; характеры старого цыгана, Земфиры, Алеко, переданы мастерскими очерками, но не как лица, а как олицетворение условных представлений о том или другом характере. Но в поэме было еще кое-что другое.

Публике нашей, благодаря знакомству ее с Руссо, да и с самим Байроном, не было новостью противопоставление образованного человека человеку полудикого, патриархального быта. Совершенной новостью было для нее только то, что сделал из этого противопоставления Пушкин. Алеко не вырос у него, как сказали, до вполне ощутительного образа и характера, но представлял намек на очень любопытный тип. Свободный мыслитель и потому ненавистник форм цивилизации, разорвавший все связи с обществом и его историческим положением, но не уничтоживший в себе самом того количества злобы, эгоизма и испорченности, которое они отложили в его душе: таков был намек. Алеко ищет успокоения в среде бедного цыганского табора, куда спасается от городов и столиц, но, вместо того, предательски вносит к нему все страсти их, присоединяя еще и кровавое преступление. Алеко есть олицетворенная политическая несостоятельность и нравственная пустота при громадных претензиях и сильном умственном развитии — вот что было оригинально и ново в поэме и что было почувствовано публикой¹. Восторгам ее не было пределов, когда поэма явилась в печати.

¹ У Пушкина существовали попытки к большему определению, подробнейшей обрисовке Алеко, но исчезали, совершенно позабытые автором в своих бумагах. Так монолог Алеко при рождении ему сына Земфирой пролежал в его бумагах до 1857 г., когда мы впервые сообщили его публике (Соч. Пушкина, 1857, т. 7-й, стр. 69), а

Для характеристики того времени некоторую важность представляет одно обстоятельство: долго не только публика, но и записные критики предпочитали *романтическую* поэму Пушкина, из воображаемого мира идеальных людей, его *реальной* поэме из действительного быта. Сам автор думал несколько иначе: сердце его всегда крепко лежало к своему «Онегину», а на «Цыган» он смотрел как на пробу своего таланта, и переходную ступень в его развитии: «Только с «Цыган» почувствовал я в себе призвание к драме», говорил он покойному П. А. Плетневу. Известно, что Пушкин никогда не отличался способностью к теоретическим тонкостям, и слова его должно понимать не в том смысле, чтобы с «Цыган» он намеревался посвятить себя драматической литературе исключительно, а в том, конечно, что тогда он почувствовал в себе силу открывать отношения между изображаемыми характерами, из которых зарождаются обыкновенно драматические коллизии. Другими словами, это значило, что «Цыганами» Пушкин уже прощался, с чисто романтическим творчеством, как подтверждают и факты. Быстро шло его развитие. Едва началась его работа мысли над задачами романтизма, как и принесла все свои плоды. Он скоро очутился на ином пути, куда мы за ним в свое время и последуем.

Казалось бы, что при таком серьезном настроении, при таком упражнении ума и сознания — некоторый род тишины и спокойствия должен был бы неизбежно водвориться в душе поэта и образовывать отношения к жизни, которые, по крайней мере, исключали бы возможность думать о какой-либо внезапной катастрофе в его существовании. Однако же, мысль о ней приходила поминутно в голову, как мы уже сказали, кишиневским приятелям Пушкина, навещавшим его в Одессе, и приходила уже с первых месяцев пребывания там поэта. Они начинали серьезно бояться за Пушкина, заметив его раздраженное состояние и ясные признаки какого-то сосредоточенного в себе гнева. Пушкин видимо страдал и притом дурным, глухим страданием, не находящим себе выхода. Продолжаться долго это не могло. Все, что обыкновенно разнуздывало страсти Пушкина: пошлость или мелкие цели окружающих людей, муки ревнивой или неудовлетворенной любви, досада и негодование на измену дружбы,

между тем он именно составляет часть несостоявшейся обделки, какую автор хотел сообщить физиономии и характеру своего героя. Впрочем, то же самое намеревался он прежде сделать и для «Кавказского Пленника» и оба раза бросал свои попытки, так как чистый романтизм действительно не имел ни средств, ни орудий для дельного анализа подобных характеров.

тихо подрывающей его надежды и планы — все соединилось здесь для того, чтобы приготовить одну из тех вспышек, оскорбляющих общество, которыми так изобилдовал кишиневский период его жизни. Но никакой вспышки не произошло, потому собственно, что теперь не было для них и *места*. Порядки жизни, возмущавшие Пушкина, составляли часть политической системы, зрело обдуманной очень умными людьми, которые умели сообщить ей внешний вид приличия и достоинства. Личные оскорбления наносились ему тоже чрезвычайно умелой рукой, всегда тихо, осторожно, мягко, хотя и постоянно, как бы с помесью шутливой презрения. Было бы сумасшествием требовать удовлетворения за обиды, которые можно было только чувствовать, а не объяснить. Материала для вспышек, таким образом, не существовало; вместо того, жизнь Пушкина просто горела и расплзалась, как ткань, в которой завелось тление.

Известно, какое влияние на характер и душевное состояние Пушкина имели женщины и его связи с ними. В эту эпоху он находился под гнетом бурных страстей, раздражаемых соперничеством и препятствиями разного рода. В числе лирических произведений Пушкина есть одно «Воспоминание» (1822), где мы встречаемся с любопытным биографическим фактом (см. дополнение к стихотворению, приведенное в наших «Материалах» 1855, стр. 197). Говоря о двух, уже почивших ангелах, данных ему судьбой когда-то в лице двух женщин, поэт представляет их в виде грозных теней:

«Но оба с крыльями и с пламенным мечем,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба».

По всем соображениям, обе эти личности принадлежат к Одесскому обществу. В чем состояло преступление Пушкина, за которое они *мстили* ему, неизвестно, так же точно, как неизвестны и имена их. О том и другом можно только догадываться. Весьма правдоподобно, что под одной из этих оскорбленных теней Пушкин подразумевал довольно часто поминаемую в новейших биографических розысканиях о поэте м-ше Ризнич, а под другой, умершей за границей, особу, к которой написана пьеса: «Иностранке» («На языке, тебе невнятном»). Под последней пьесой стоят в рукописях и слова: «Veux-tu m'amier? Point de D*». Не Дегилье-ли, о котором мы упоминали? Если собирать намеки для пояснения этих имен, то придется остановиться на выражении Липранди, который, перечисляя лица, близкие

к Пушкину, упоминает еще об «известной Катиньке Гик». Вероятно также, что именно о ней вспоминал Пушкин, когда уже из Михайловского писал в Одессу к какому-то Д. М. К: «Слово живое об Одессе; напишите, что у вас делается, выздоровела ли Катинька?» Любопытно, что перед самой женитьбой своей в 1830 г., Пушкин вспомнил о милых тенях и обратился к ним с невыразимо любовью и страстью, как бы прощаясь навсегда с ними, чему памятником остались два изумительных по своему пафосу и поэтической силе стихотворения: «Заклинание» и «Расставание», оба написанные в селе Болдине, в 1830 г. Несмотря, однако же, на память, оставленную обоими этими, теперь уже почти мистическими, лицами в душе Пушкина, предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из Одесского периода жизни.

Всего этого было достаточно для того, чтобы лишить Пушкина нравственного и физического спокойствия; но из собственных его откровенных замечаний оказывается, что, кроме перечисленных нами поводов к неудовольствию и раздражению, были еще и другие, чуть ли даже не стоявшие на первом плане в собственной его оценке своего положения.

По способности возбуждать его бессильный гнев и составлять безвыходное страдание души, первенствующее место принадлежало тому учтивому, хотя и высокомерному презрению к его званию поэта и писателя, которое непременно должно было родиться в деловом мире, выдвинутом на первый план новым устройством власти и управления. Жизнь Пушкина должна была казаться страшным бездельем всему этому миру, а известно, что у людей заведенного порядка, ясных практических целей, и работа мысли есть то же — безделье. Ничто так не возбуждает их презрения и тайной ненависти, как горделивая претензия человека найти себе другое занятие, кроме того, которое признано всеми за настоящее и почетное. У них не было и предчувствия, что Пушкин в своем безделье полагает основание как будущей своей славе, так и развитию художнических и просветительных начал в своем отечестве: им виднелся праздный и потому опасный человек в лице, которое принадлежит только самому себе. Ошибки и даже преступления по службе были бы лучше и

простились бы скорее. Самый успех такого лица в известной части публики, внимание, оказываемое ему каким-либо отделом русского читающего мира, еще питали аристократическое и бюрократическое презрение к нему. Люди дела объясняли успех этот заискиванием в толпе, свойственным только проходимцу, которому не на что опереться более. Еще хуже делает тот, кто, не нуждаясь в толпе, пренебрегает выгодами своего рождения и положения в свете, предпочитая унижительную роль потешника сволочи своему естественному призванию. Писатель еще может быть терпим в свите облагораживающего и вдохновляющего его патрона; самостоятельный писатель на Руси есть не что иное, как ничтожный и отчасти позорный сколок с западных французских демократов, которому у нас нечего делать. Разумеется, никто не говорил с полной откровенностью подобных вещей в глаза Пушкину, но существование такого воззрения на призвание его, как поэта, было несомненно в высшем одесском обществе и давало себя постоянно чувствовать. Что должен был испытывать Пушкин при этом косвенном отрицании и отобрании его прав на известность, заслуженное место в обществе и на уважение родины!

В надменном презрении к ремеслу Пушкина скрывалось еще и презрение к низменному гражданскому положению, которое обыкновенно связано с этим ремеслом. Обида наносилась одновременно двум самым чувствительным сторонам его существования: во-первых, его поэтическому призванию, которое доселе устраивало ему повсюду радушный, часто торжественный прием, а во-вторых, и его чувству русского дворянина, равного, по своему происхождению, со всяким человеком в империи, на каком бы высоком посту он ни стоял. Конечно, гораздо лучше было бы для поэта вовсе не обращать внимания на эти усилия понизить его общественное значение, так как оно целиком зависело от него самого и стояло выше всяких толков и завистливых отрицаний, но Пушкин думал иначе. Он с увлечением старался противопоставить в отпор гордости чиновничества и вельможества двойную, так сказать, гордость знаменитого писателя, а затем и потомка знаменитого рода, часто поминаемого в русской истории. Он сделал из этой темы нечто в роде знамени для борьбы с господствующей партией.

В 1824 году, беседуя с Алекс. Бестужевым о новой книжке «Полярной Звезды» и о некоторых мнениях ее постоянного «обозревателя», Пушкин высказал довольно парадоксальную мысль о политической независимости русской литературы, но для нас ясно теперь, что мысль эта пришла ему в голову, как оружие, которое можно

употребить при столкновениях с недоброжелателями своими: «Иностранцы нам изумляются», говорил он: «они отдают нам полную справедливость, не понимая, как это случилось¹. Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у нас с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными: вот чего W не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. Дьявольская разница!» Письмо Пушкина пошло, как и всегда, по рукам приятелей, но они не угадали, да и не могли угадать обстоятельств, которые его навеяли, и вообще жизненного происхождения заметки. Они просто-за-просто отнесли ее к обычным байроническим замашкам Пушкина, к случайным капризам его мысли, и отвечали ему полушутливо, полукорытельно, советуя бросить пустое чванство своим происхождением. Между тем, и байронизма и пустого чванства было тут именно настолько, насколько они могли служить Пушкину в борьбе его с оскорбительным административным высокомерием. К.Ф. Рылеев вполне выразил точку зрения приятелей Пушкина, лишенных возможности знать *историческую* обстановку поэта, когда, писал ему: «Ты сделался аристократом: это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь, ради Бога, Пушкиным. Ты сам по себе молодец».

Менее извинительны позднейшие наши трудолюбивые, но не очень заботящиеся о правдивости своих приговоров библиофилы и биографы, когда и они, не желая преднамеренно знать поводов, подсказывавших Пушкину заявления подобного рода, относили их прямо к свойствам его нравственной природы, к ничтожеству его характера. Впрочем, при жизни Пушкина недоразумения по поводу его убеждений возникали беспрестанно. Так, наперекор заявленному им мнению о похвальной независимости русской печати, его считали уже партизаном правительственной опеки над литературой, и это за то, что он опровергал мнение Бестужева в 1825, утверждавшего, будто правительственное ободрение талантов только портит их, будто его никогда не было у нас и проч. А между тем, Пушкин не был ни за государственное покровительство литературы, ни за пренебрежение ко всякой поддержке ее. Вот его объяснения, и хотя они уже не

¹ Дело тут идет именно об излюбленной теме Пушкина — предполагаемой независимости нашей печати от посторонних влияний.

принадлежат к эпохе, в которой находимся, но, по связи предметов, считаем нужным привести их здесь же. Они найдены нами в виде черного оригинала, изложены уже довольно спокойно и, кажется, могут представить для исследователей русской литературы исторический документ, не лишенный своего рода значения: «Мне досадно, что Г — в меня не понимает. В чем дело? Что у нас не покровительствуют литературе и что — слава Богу! Зачем же об этом говорить? Напрасно! Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности. Чего ж тебе более? Загляни в журналы; в течение 6-ти лет посмотри, сколько раз упоминали о мне, сколько раз меня хвалили, поделом и понапрасну, а далее... ни гугу! Почему это? Уж верно не от гордости или радикализма такого-то журналиста — нет! Всякий знает, что хоть он расподличайся — никто ему спасибо не скажет и не даст ни 5 рублей: так уже лучше даром быть благородным человеком. Ты сердисься за то, что я хваюсь 600-летним дворянством (NB. мое дворянство старше). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо, по своему рождению, почитаем себя равными им. Отселе гордость etc. Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас гр. Хвостов прожился на них. Там есть нечего — так пиши книгу, а у нас есть нечего — так служи, да не сочиняй. Милый мой — Ты поэт, и Я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав». Как далеко ушла наша современная литература от этого воззрения в течение последних 50-ти лет, может служить то обстоятельство, что ни один из афоризмов письма к ней уже не применим.

Нет сомнения, что в разговорах своих Пушкин излагал те же мысли, какие проводил и в письмах, но в более резкой и грубой форме, присоединяя ко всему подчас и насмешку, которая не всегда ясно распознавала своих настоящих врагов и своих друзей. Так, например, он называл и благородного начальника края, русского в душе и по всем намерениям своим, милорд Уоронцов — за английские обычаи его жизни. Это было крайним легкомыслием; второстепенные деятели еще менее щадились его озлоблением, нерасчетливым и часто несправедливым словом, а так *как* в этом городе, несмотря на весь его шум и движение, ничто не пропадало бесследно, то, конечно, сумма поводов ко вражде, взаимным обвинениям и не-

удовольствиям все росла с обеих сторон и можно уже было предвидеть время, когда настоятельно потребуется свести им итоги.

Между тем, одно благоприятное известие чрезвычайно оживило Пушкина. Он впервые прозрел в Одессе, что может жить на свете *без службы*, без покровительства властей, одними собственными своими писательскими средствами. До тех пор он был в состоянии, близком к нищете, и имел полное право сказать впоследствии, оглядываясь на прошлую кишиневскую жизнь.

«Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
 В неволе, *в бедности*, в чужих степях
 Мои утраченные годы» и проч.

На поддержку от семейства, жившего при тех началах и порядках, какие мы уже знаем, Пушкин никогда не рассчитывал, хотя и отзывался иногда с горечью об этом равнодушии к его судьбе со стороны единственных людей, от которых он мог требовать некоторых жертв. Затем и «Руслан» и «Кавказский Пленник», несмотря на громадный их успех, оставили его с пустыми руками. Издатель последнего, Н.И. Гнедич разделался с Пушкиным тем, что прислал ему, кажется, 500 р. асс., к великому недоумению поэта. Не то было с «Бахчисарайским фонтаном» (1823). Издание его принял на себя кн. П.А. Вяземский, предпославший ему, как известно, свое остроумное предисловие, и вскоре после выхода книжки отправивший к Пушкину в Одессу 3,000 р. асс., да, как кажется, еще тем и не ограничившийся. В черновом письме поэта к своему щедрому издателю, мы читаем следующие радостные и благодарные строки:

«От всего сердца благодарю тебя, милый Европеец, за неожиданное послание, то есть за посылку. Начинаю думать, что ремесло наше, право, не хуже другого — и почитать наших книгопродавцев! Одно меня затрудняет: ты продал мое создание за 3,000 р., а сколько же стоило тебе его напечатать? Ты все даришь меня, бессовестный! Ради Христа — возьми, что тебе следует из остальных денег, да пришли их ко мне — расти им не за чем, а у меня не залежатся, хоть я, право, не мот. Уплачу, старые долги и засяду за новую поэму, потому что мне полюбились¹. Я к XVIII веку не принадлежу: пишу для себя, а печатаю для денег — ничуть не для улыбки прекрасного

¹ Т.е. полюбились послания или посылки, в роде полученных им от своего издателя.

пола»... Пушкин только теперь почувствовал, что судьба его находится не в чужих, а в его собственных руках и сознание своей независимости от благожелательства посторонних лиц, возбужденное первыми материальными результатами литературных его трудов, имело влияние на дальнейшие его решения, как увидим сейчас же.

Жизнь становилась все труднее и труднее для Пушкина в Одессе. Со стороны могло казаться, что в ней ровно ничего не происходило необычайного, кроме обыкновенного естественного развития ее самой. И со всем тем она все более и более делала поэта недоверчивым, мнительным, болезненно-чутким человеком. Лучшим примером того, какую роль могли играть при подобном настроении самые пустые, ничтожные случаи, служит прием, сделанный Пушкиным пресловутой командировке за наблюдением саранчи в южных частях Новороссии, которую он получил от начальника края. Теперь уже известно, что последний, зачисляя Пушкина в экспедицию об исследовании саранчи на местах ее появления, был движим желанием предоставить Пушкину случай отличиться по службе и на той дороге, на которую он случайно попал, обратить внимание к себе высшей петербургской администрации. В том психическом состоянии, в котором находился Пушкин, благодаря всем предшествующим обстоятельствам, он принял поручение это за ядовитую насмешку, за тайное желание унижить в глазах людей его общественное положение, насмеяться над ним. Понятно, что при таких отношениях подчиненного к непосредственному своему начальству, разрыв между ними был неизбежен, но начала разрыв этот, к удивлению, именно та сторона, которая была слабейшей в деле и могла страшиться самых неприятных последствий для себя от своей решимости...

Спешим прибавить, что в этом странном споре сторона, обладавшая властью и всеми средствами для уничтожения безрассудного сопротивления, показала умеренность, сдержанность и достоинство, стоящие вне всякого сомнения.

В бумагах Пушкина сохранилось, перебеленное начисто, письмо его к правителью канцелярии наместника, почтенному и благорасположенному к поэту, Александру Ивановичу Казначееву. Письмом этим Пушкин отказывался от возложенного на него поручения, и хотя мы не знаем окончательной формы, какую дал ему автор при отправлении, но, конечно, основные черты этого заявления вполне сохранились и в нашем документе:¹

¹ Правописание П — а удержано в приводимом документе.

«Почтеннейший А.И! Будучи совершенно, чужд ходу деловых бумаг — не знаю в праве ли отозваться на предписание Е.С. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно на счет моего положения.

7 лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или П.-б. можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я минутно должен отказываться от самых выгодных предложений, единственно по той причине, что нахожусь за 2,000 верст от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты: я принимаю эти 700 руб. не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением гр. Воронцова, также как и вашим, как и мнением всякого честного человека.

Повторяю здесь то, что уже известно графу М.С. Если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме Его Сиятельства, но чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной.

Знаю, что довольно этого письма, чтобы меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку — я готов, но чувствую, что переменяв мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.

Еще одно слово: Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть... Могу представить свидетельство которого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится.

Свидетельствую вам глубочайшее почтение и серд. пред.»

По всем вероятностям этот проект или черновая программа назначались для полуофициального письма, которое могло бы быть пред-

ставлено начальнику и заменить формальную просьбу. Это оказывается, между прочим, из сравнительно умеренного и сдержанного тона документа, а также и из весьма поздней пометки, которую он носит в бумагах Пушкина — именно 25 мая (1824). В это время решение гр. Воронцова относительно поэта было уже принято. Вот почему мы полагаем, что оно состоялось совсем не вследствие письма Пушкина к правителю канцелярии наместника, а вследствие других причин, между прочим и запальчивых речей, необдуманных слов, которые письму предшествовали и от которых Александр Сергеевич не мог удержаться при первом известии о досадной экспедиции. Он заговорил тогда же о немедленной отставке своей, что равносильно было, по условиям Одесского быта, прямому вызову и оскорблению начальника края, и, конечно, скоро сделалось известно последнему. А каков был тон публичных речей Пушкина — можно уже судить по черновому письму его к тому же А.И. Казначееву, когда правитель канцелярии, тоже услышав о плане выхода в отставку, дружески предостерегал его от последствий необдуманного шага¹. Письмо походит на формальное объявление войны. Приводим его в переводе с французского.

«Весьма сожалею, — пишет Пушкин, — что увольнение мое причиняет вам столько забот, и искренно тронут вашим участием. Что касается до опасений за последствия, какие могут возникнуть из этого увольнения — я не могу считать их основательными. О чем мне сожалеть? Не о моей ли потерянной карьере? Но у меня было довольно времени, чтобы свыкнуться с этой идеей. Не о моем ли жалованьи? Но мои литературные занятия доставят мне гораздо более денег, чем занятия служебные. Вы мне говорите о покровительстве и дружбе — двух вещах, по моему мнению, несоединимых. Я не могу, да и не хочу напрашиваться на дружбу с гр. Воронцовым, а еще менее на его покровительство (мое уважение к этому человеку не позволит мне унизиться пред ним). Ничто так не позорит человека, как протекция. Я имею своего рода демократические предрассудки, которые, думаю, стоят предрассудков аристократических². Я жажду

¹ Пушкин находился в дружеских отношениях с семейством Казначеева, супруга которого, урожденная кн. Волконская, была женщина литературно-образованная и умная.

² Довольно замечательно, что Пушкин по требованиям самозащиты, *pour les besoins de sa cause*, как говорят французы, прикидывается здесь демократом, которым никогда не был. Собственно тут надо разуть распря между вельможеством и бедным, незнатным дворянством, о которой мы уже упоминали.

одного — независимости (простите мне это слово, ради самого понятия). Я надеюсь обрести ее, с помощью мужества и постоянных усилий. Вот уже я успел победить мое отвращение — писать и продавать стихи, ради насущного хлеба. Стихи, раз мною написанные, уже кажутся мне товаром, по столько-то за штуку. Не понимаю ужаса моих друзей (мне вообще не совсем ясно, что такое мои друзья). Мне только становится не в мочь зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне надоело видеть, что меня, в моем отечестве, принимают хуже, чем первого пришедшего пошляка из англичан (*le premier galopin anglais*), который приезжает к нам беспечно разматывать свое ничтожество и свое бормотанье (*sa ponchalente platitude et son baragoin*). Нет никакого сомнения, что гр. Воронцов, будучи умным человеком, сумеет повредить мне во мнении публики, но я оставляю его в покое наслаждаться триумфом, потому что также мало ценю общественное мнение, как и восторги наших журналистов...»

Однако же гр. Воронцов несколько не думал о триумфе, а, напротив, думал о том, чтоб расстаться с беспокойным подчиненным, как можно мягче, благороднее и гуманнее.

Пушкин не мог получить прямо и на месте отставки, которой так добивался: он числился в м-ве иностранных дел, откуда получал и назначенное ему жалованье, а вдобавок был прислан на службу в край по именному повелению. Для принятия каких-либо мер относительно поэта, необходимо было снестись предварительно с администрацией в Петербурге. В конце марта, 23 числа 1824 года, гр. Воронцов обратился к управляющему министерством иностранных дел гр. Нессельроде, прося его доложить Государю о необходимости отозвать Пушкина из Одессы, и выставляя для этого причины, которые наименее могли повредить Пушкину во мнении правительства — именно: накопление приезжих в Одессе ко времени морских купаний, их неумеренные восхваления поэта, постоянно кружащие ему голову и мешающие его развитию. Вообще, письмо это, составленное на французском языке, по своей осторожности и деликатности рисует характер и личность начальника с весьма выгодной стороны.

Он начинал его свидетельством, что, застав уже Пушкина в Одессе, при своем прибытии в город, он с тех пор не имел причин жаловаться на него, а, напротив, обязан сказать, что замечает в нем старание показать скромность и воздержность, каких в нем, говорят, никогда не было прежде. Если теперь он ходатайствует об его отзывании, то единственно из участия к молодому человеку не без таланта и из

желания спасти его от следствий главного его порока — самолюбия. «Здесь есть много людей, — приводим собственные слова гр. Воронцова в переводе, — а с эпохой морских купаний число их еще увеличится, которые, будучи восторженными поклонниками его поэзии, стараются показать дружеское участие непомерным восхвалением его и оказывают ему через то вражескую услугу, ибо способствуют к затмению его головы и признанию себя отличным писателем, между тем, как он, в сущности, только слабый подражатель не совсем почтенного образца — Лорда Байрона (qu'il n'est encore qu'un faible imitateur d'un original très-peu recommandable — Lord Byron) — и единственно трудом и долгим изучением истинно великих классических поэтов мог бы оплодотворить свои счастливые способности, в которых ему невозможно отказать».

Вот почему необходимо извлечь его из Одессы. Перевод снова в Кишинев к генералу Инзову, не пособил бы ничему — Пушкин все-таки остался бы в Одессе, но уже без наблюдения, да и в Кишиневе он нашел бы еще *между молодыми греками и болгарами* довольно много дурных примеров. Только в какой-либо другой губернии мог бы он найти менее опасное общество и более времени для усовершенствования своего возникающего таланта и избавиться от вредных влияний лести и от *заразительных, крайних и опасных идей*. Граф Воронцов в конце письма выражает твердую надежду, что настоящее его представление не будет принято в смысле осуждения или порицания Пушкина.

Для пояснения слов и основной мысли письма нужно сказать, что молодежь Одесского Ришельевского лицея, наезжих туземных помещиков и самого штата наместника не уступала никому в прославлении Пушкина. Много было также, как между ними, так и в самом одесском обществе, поляков, видевших в Пушкине предмет для поклонения в двойном его качестве: славного писателя и жертвы (будто бы) правительства. По случаю беспорядков в Виленском университете, возбужденных там тайным обществом «Филаретов», недавно тогда обнаруженном, предвиделось еще увеличение этого класса людей. Оно именно так и случилось. В начале 1825 г., когда Пушкина уже не было в Одессе, явились на кафедры Ришельевского лицея Мицкевич и Ежовский, высланные из Вильны и вскоре опять удаленные со своих мест за подозрительные связи с разными польскими помещиками края. Оба они в следующем году поступили на службу в Москву: Мицкевич в штат канцелярии генерал-губернатора, а Ежовский с 1826 года на кафедру греческой словесности в универ-

ситет. Наплыв иностранцев — иногда самых резких и крайних воззрений — был также не маловажен. В самом доме наместника Пушкин часто встречался, например, с доктором англичанином, по всем вероятностям, страстным поклонником Шелли, который учил поэта нашего философии атеизма и сделался невольным орудием второй его катастрофы, о чем ниже¹. Кроме того, из писем нашего поэта видно, что вскоре ожидали прибытия в Одессу почти всего общества Раевских-Давыдовых, давшего из себя столько жертв правосудию, после подавления бунта в Петербурге и во 2-й армии. Как бы то ни было, но мягкое и благожелательное представление гр. Воронцова заставляло предвидеть для Пушкина только перевод на службу во внутренние губернии, к чему оно и было все направлено. Благодаря однако же опрометчивости самого поэта, дело это усложнилось новыми, не предвиденными обстоятельствами, и получило исход, какого никто от него не ожидал.

Вероятно еще до отправления письма гр. Воронцова в Петербург, Пушкин сообщал кому-то из приятелей своих в Москве шуточное известие о себе, в котором заключалась следующая фраза: «Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого Афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный Афей, которого я еще встретил». К этому, мимоходом, Пушкин присоединил еще заключение: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная». Письмо было даже и по тону совершенно пустое, нисколько не обнаруживавшее чего-либо похожего на окончательно принятое и серьезное убеждение. Оно принадлежало, видимо, к тому разряду писем, которые назначены производить шум и толки в кругу близких знакомых. Оно решило, однако же, участь Пушкина. Благодаря не совсем благоразумной гласности, которую сообщили ему приятели Пушкина и особенно покойный Александр Иванович Тургенев, как мы слышали, носившийся с ним по своим знакомым, письмо дошло до сведения администрации. В то печальное время напряженного мистического брожения, внутренняя пустота и несостоятельность записки не могли ослабить ужаса, произведенного одним внешним ее содержанием, *словами*, в ней заключающимися. Не без основания говорил впоследствии сам ее автор, что

¹ Сведения о докторе-атеисте сообщил нам почтеннейший А.И. Левшин, который прибавил, что, лет пять спустя после истории с Пушкиным, он встретил того же самого Гунчисона, в Лондоне, уже ревностным пастором англиканской церкви.

он был сослан за *две строки* вздорного письма. Эти две строки и вызвали именно то решение, которого никто не ожидал.

Отвечая на представление графа Воронцова, управляющий министерством иностранных дел, граф Нессельроде, сообщал ему по-французски от 11-го июля 1824 г., что «правительство вполне согласно с его заключениями относительно Пушкина, но, к сожалению, пришло еще к убеждению, что последний нисколько не отказался от дурных начал, ознаменовавших первое время его публичной деятельности. Доказательством тому может служить, препровождаемое у сего, письмо Пушкина, которое обратило внимание московской полиции по толкам, им возбужденным. По всем этим причинам, правительство приняло решение исключить Пушкина из списка чиновников министерства иностранных дел, с объяснением, что мера эта вызвана его беспутством (*par son inconduite*), а чтоб не оставить молодого человека вовсе без всякого присмотра и тем не подать ему средств свободно распространять свои губительные начала, которые под конец вызвали бы на него строжайшую кару закона, правительство повелевает, не ограничиваясь отставкой, выслать Пушкина в имение его родных, в псковскую губернию, подчинить его там надзору местных властей и приступить к исполнению этого решения немедленно, приняв на счет казны издержки его путешествия до Пскова».

Граф М. С. Воронцов получил предписание в Крыму, где путешествовал в это время и где, заболев лихорадкой, остановился, долго не являясь в Одессу. По его приказанию, правитель дел его походной канцелярии А. И. Левшин передал исполнение высочайшей воли относительно Пушкина тогдашнему градоначальнику Одессы, графу А. Д. Гурьеву.

Так кончилось последнее *годовичное* пребывание Пушкина в Одессе.

30-го июля 1824 г. Пушкин уже выехал из города, получив 389 р. прогонных денег и 150 р. недоданного ему жалованья. Он обязался подпиской следовать до места назначения своего через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск, нигде не останавливаясь на пути. Маршрут этот составлен был с ясной целью удалить его от Киева и тех польских и русских знакомых, каких он мог встретить в городе и его уездах. Это явствует также и из собственноручной приписки градоначальника Одессы, графа Гурьева, к его отчету о высылке Пушкина, поданному начальнику края: «маршрут его до Киева не касается». Все эти предосторожности убеждают, что

правительство уже знало о существовании заговора на юге России и о ветвях, которые он пустил в разных направлениях, и принимало в соображение, при удалении Пушкина из Одессы, его связи с лицами, сделавшимися ему более или менее подозрительными.

Пушкин ехал скоро, в точности исполняя обещания своей подписки. По донесению псковской земской полиции, 9-го августа он уже прибыл в родовое свое поместье, знаменитое Михайловское, где его ожидали близкие — отец, мать, а также брат и сестра, с которыми он был теперь столь же внезапно соединен, как внезапно разлучен за 4 года назад. Но радость свидания была теперь значительно отравлена особенностью его положения и последствиями, какие из того истекали.

VII.

МИХАЙЛОВСКОЕ.

1824 — 1826.

Пушкин в Михайловском. — Тригорское. — Попытки освободиться от ссылки. — Планы бегства за границу.

К числу *биографических предассудков*, как бы можно было назвать некоторые предания о жизни Пушкина, распространенные его приятелями и беспрестанно повторяемые затем его биографами, следует причислить и многие сказания их о Тригорском, селе, смежном с деревней поэта. Доселе еще принято считать, что жизнь Пушкина совершенно поровну была разделена между его родимым кровом в Михайловском и обителищем его соседок по имению, знаменитым Тригорским, так что для многих имена этих местностей слились в одно представление и отдельно друг от друга почти перестали существовать. Между тем, поводов к такому умственному слиянию двух местностей не очень много представлялось в жизни Пушкина и на деле связь между ними была гораздо более внешней, чем сколько предполагают. Дружелюбных отношений Пушкина к своим соседкам нельзя подвергать ни малейшему сомнению, но никогда Пушкин не принадлежал Тригорскому вполне какой-либо частью своего ума, своей души или нравственного существования; никто в Тригорском не обладал вполне его мыслью и сердцем. Напротив, лучшую часть самого себя Пушкин постоянно маскировал перед Тригорским, точно берег свое добро для другой арены и для другой публики.

Известной хозяйке Тригорского — столь часто упоминаемой биографами, Прасковье Александровне Осиповой, а равно и двум дочерям ее, «красавицам гор», по любимому выражению Дельвига и Языкова, и вообще всему молодому женскому поколению, по временам наезжавшему в село, не мудрено было обмануться в настоящем значении своих связей с Пушкиным. Пушкин проживал по суткам и по целым неделям в их деревянном, приземистом домике; разделял их забавы и горести, выслушивал их жалобы и даже завязывал с ними дружеские, задушевные отношения. Этой чести удостоились попеременно каждая почти из постоянных и временных обитательниц Тригорского, так как Пушкин не желал никого обделить своим вниманием, которого там искали все без исключения. Но для них это было очень серьезное дело, которому они добросовестно придавали жизненный интерес, для Пушкина это было мимолетное отдохновение, изящная забава, средство обмануть время, оставшееся от трудов, и притом такое занятие, которое может быть порвано на полдороге, без тоски и сожаления. Покамест в Тригорском размышляли о каждом его слове и движении, Пушкин скоро позабывал все, что говорил и делал там. Он думал совсем о другом и никогда не говорил о том, что думает. Настоящим центром его духовной жизни было Михайловское и одно Михайловское: там он вспоминал о привязанностях, оставленных в Одессе; там он открывал Шекспира и там предавался грусти, радости и восторгам творчества, о которых соседи Тригорского не имели и предчувствия. Он делился с ними одной самой ничтожной долей своей мысли — именно планами вырваться на свободу, покончить со своим заточением, оставляя в глубочайшей тайне всю полноту жизни, переживаемой им в уединении Михайловского. Тут был для него неиссякаемый источник мыслей, вдохновения, страстных занятий и вопросов морального свойства, а все прочее принадлежало уже к области призраков, которые он сам вызвал и лелеял для того, чтобы обстановить и скрасить внешнее свое существование. Это положение выяснится очевиднее из дальнейшего нашего рассказа, который и начнем здесь сначала.

Пушкин говорит в 8-й главе «Онегина», что он уехал из Одессы —

От оперы, от темных лож
И, слава Богу, от вельмож,

в далекий северный уезд, и прибавляет:

И был печален мой приезд!

Приезд был точно печален. После первых излияний радостной встречи, трусливому отцу Пушкина и легко воспламеняющейся его супруге сделалось страшно за самих себя и за остальных членов своей семьи при мысли, что в среде их находится опальный человек, преследуемый властями. Дурное мнение последних об этом опальном человеке принято было родителями Пушкина за указание, как следует им самим думать о своем сыне: явление не редкое в русских семьях того времени.

Вот почему они уже с некоторым ужасом смотрели на дружбу, связывавшую нашего поэта с младшим братом и сестрой, полагая, вероятно, что человек, сосланный по подозрению в атеизме, уже ни о чем другом и не может говорить с ближними, как о том же самом предмете. Все это могло бы пройти бесследно и, в комической нелепости своей, не вызвать со стороны Александра Пушкина особенно сильного протеста, но к этому присоединилась еще другая и более печальная подробность. Начальник края, маркиз Паулуччи, поручил уездному Опочецкому предводителю дворянства, г. Пещурову, — пригласить отца Пушкина, которого именовал в своей официальной бумаге по этому поводу *«одним из числа добронравнейших и честнейших людей»*, принять на себя надзор за поступками сына, обещаясь, в случае его согласия, воздержаться со своей стороны от назначения всяких других за ним наблюдателей. По словам поэта, отец его имел слабость принять это предложение, движимый, может быть, столько же страхом перед начальством, сколько и благим намерением освободить существование сына от вмешательства посторонних лиц. Поэт думал, однако же, иначе об этом предмете. Когда дошла до него весть о состоявшейся сделке, он вышел из себя, явился к Сергею Львовичу и между ними произошла невероятная сцена, о которой мы упоминаем только потому, что она в картине нравов того времени составляет очень крупную черту и рисует домашнюю обстановку поэта чрезвычайно ярко.

Вот как жаловался Пушкин на свое деревенское положение во французском письме в Одессу, черновые отрывки которого как-то уцелели между его бумагами. Письмо писано на имя особы, которую Пушкин называет: *«belle et bonne princesse»*. Переводим отрывки: *«Ваша тихая дружба могла бы удовлетворить всякую душу, менее эгоистическую, чем моя, но и теперь, каков бы я ни был — она, дружба эта, еще утешает меня во всех моих горестях и поддерживает в виду того бешенства скуки (la rage l'ennuie), которая поедает мое глупое существование. Сбылось все, что я предвидел. Присутствие*

мое в среде моего семейства удвоило мои муки. Правительство... вздумало предложить моему отцу роль своего агента в преследовании меня. Отец имел слабость принять поручение, которое во всех отношениях ставит его в ложное положение относительно меня. Меня стали попрекать ссылкой, заявлять страх, что мое несчастье вовлечет и других в погибель, подозревать, что я проповедую безбожие моей сестре, которая есть небесное создание, и брату, который очень забавен и весел. А из этого выходит, что я проведу в полях все то время, когда не лежу в постели¹. Все, что малейшим образом напоминает мне море — производит во мне тоску, шум фонтана буквально порождает боль; мне кажется, что я стал бы плакать от бешенства при виде ясного неба. Что касается до моих соседей, я едва ознакомился с ними: я пользуюсь между них репутацией Онегина. Единственное развлечение мое составляет добрая, старая соседка, которую я часто вижу, слушая ее патриархальные разговоры, в то время как ее дочки... разыгрывают мне Россини... Лучшего положения для окончания моего романа вряд ли можно и желать, но скука — это холодная муза, и роман не подвигается. Однако же кланяюсь вам одной строфой. Покажите ее W и попросите его не судить о всем по этому образчику»... Эти строки уже дают понятие об общем характере Пушкинских домашних обстоятельств, но держатся еще далеко от сущности дела, а в одном месте и намеренно затеяют его. Соседка Пушкина совсем не была такой старой женщиной, как говорит поэт; беседы Пушкина с ней не имели ничего похожего на патриархальный характер, и дочки ее занимались не одним разыгрыванием Россини для гостя. Несравненно искреннее, ближе к делу было то русское письмо, которое поэт писал к неизвестному нам лицу в Петербург, прося у него помощи и восклицая в нелицемерном страхе: «спаси меня!» Письмо излагает подробности той сцены, о которой говорили. Ниже мы приводим отрывок из него, тоже по черновому оригиналу, а здесь позволяем себе небольшое отступление.

¹ Письмо это, по всем вероятностям, писано позднее второй половины сентября 1821 г., потому что в это время настроение поэта чувствительно разнится с тем, которое он тут описывает, как это видно из послания его в Дерпт к студенту А.Н. Вульффу. Пушкин тогда препроводил к нему стихотворную цидулу, в которой, извещая, что вскоре ожидает брата Льва (Лайон — стихотворения) в деревню (вероятно Лев Сергеевич уезжал тогда из Михайловского в Псков для каких-либо дел) и притом с ящиком бутылок, выражает намерение посвящать дни — Тригорскому, ночи — Михайловскому, восхищаясь заранее тем, что им обоим предстоит или быть мертвецки пьяными, или смертельно влюбленными. Стихотворение помечено у Пушкина: 20-го сентября 1824 г. (См. том 7-й Сочинений Пушкина, 1857, стр. 91).

Труд наш уже давно был закончен, когда в «Русском Архиве» 1872 года, № 12, явились перебеленные подлинники тех писем Пушкина, на которые здесь ссылаемся и которые адресованы им были Жуковскому от 31-го октября и от 24-го ноября 1824. Итак, неизвестное лицо, нами поминаемое, был никто иной, как Жуковский. Несмотря на это сообщение «Русского Архива», мы оставили в нашем тексте черновые отрывки Пушкинских писем нетронутыми, во-первых, потому, что они содержат некоторые подробности, не попавшие в перебеленные их копии, а во-вторых, для того, чтоб дать случай любопытствующим читателям познакомиться со способом окончательной переправки или передачи своих заметок, какой употреблял обыкновенно поэт, приводя их в порядок. Оказывается, что он всегда сохранял основную мысль и даже тон чернового оригинала при его переработке, что дает весьма значительную ценность нашим отрывочным выпискам из его писем, цельные копии которых, может быть, никогда и не найдутся. Не менее любопытно и другое сообщение «Русского Архива» в том же №. Письма Пушкина сопровождаются там еще письмом Праск. Алекс. к Жуковскому, которая, не будучи с ним знакома лично, извещает его о том, что Пушкин с отчаяния будто бы написал письмо псковскому гражданскому губернатору Б.А. Адеркасу, прося последнего известить правительство, что он, Пушкин, предпочитает содержание в крепости или самую дальнюю ссылку своему пребыванию в Михайловском. Осипова прилагает и копию с этого письма, сообщенную ей по секрету Пушкиным, прося разумеется Жуковского предотвратить беду, которая из всего этого может произойти. Через несколько времени П.А. Осипова извещает Жуковского, что, по счастливому случаю, вмешательство его в это дело уже бесполезно: человек, которому Пушкин вручил письмо для доставления Б.А. Адеркасу, не застав его в Пскове вернуться обратно со своей посылкой, которую Пушкин уже и истребил. Все это, по нашему мнению, была просто выдумка, направленная к тому, чтобы сильнее подействовать на безгранично доброго и честного В.А. Жуковского. Мы увидим сейчас, что к таким выдумкам для облегчения своего положения Пушкин прибегал и позднее и всегда в сообществе какого-либо доверенного лица, посвященного в его тайну. На этот раз сообщником была П.А. Осипова, да она, как оказывается из этого же письма, знала и другой секрет Пушкина, о котором говорим далее.

Но обратимся к письму Пушкина.

«Посуди о моем положении дома. Приехав сюда, я был встре-

чен и обласкан..., но скоро все переменялось. Отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь... Вспыльчивость мешала мне с ним откровенно объясниться: я решил молчать. Он стал укорять брата... что я преподаю ему и сестре безбожие. Назначенный за мною смотреть, П... (Пещуров?)¹ осмелился предложить отцу моему распечатывать мою переписку — короче быть моим шпионом!

...Желая, наконец, вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу моему и прошу позволения говорить искренно — более ни слова... Отец рассердился, закричал — я сел верхом и уехал. Отец призвал моего брата и велел ему не знаться *avec ce monstre, ce fils dénaturé* (с этим чудовищем, с этим сыном погибели). Голова моя закипела, когда я узнал это. Иду к отцу, нахожу его в спальне и высказываю все, что было у меня на сердце целых три месяца; кончаю тем: «*что говорю ему в последний раз*». Отец мой, воспользовавшись отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил!* потом, что *хотел бить*... Перед тобою я не оправдываюсь, но чего же он хочет для меня с уголовным обвинением?... Рудников Сибирских и вечного моего бесчестия... Спаси меня!»

Ужас Пушкина был основателен. Вспышка его отца могла кончиться на этот раз иначе, чем вспышки его обыкновенно кончались — т.е. спокойным выжиданием со стороны домашних исхода пароксизма. Если бы *добронравнейший* Сергей Львович, поддерживаемый супругой, под влиянием которой состоял всю жизнь, вздумал повести обвинение далее стен своего дома, сообщить жалобе своей некоторую гласность, то последствия для нашего поэта могли быть неисчислимы. Последний основательно говорил, обращаясь опять к тому же неизвестному лицу: «Я сослан за одну строчку глупого письма. Если присоединится к этому обвинение в том, что я поднял руку на отца — посуды, как там обрадуются. Шутка эта пахнет каторгой». И он был прав. Дело, однако же, до этого не дошло. Мы слышали, что Жуковский горячо принялся за утешение семейной распри этой и вразумление старого Пушкина, который, уже при первом известии о жалобах на него сына, отступился от своих слов и сказал: «Экой дурак! В чем оправдывается! еще бы он прибил меня!»

¹ Уездный предводитель дворянства, по самому званию своему, носил обязанность наблюдать за образом жизни и поведением дворян своего уезда, а потому правительство, возлагая, по закону, труд смотреть за Пушкиным на г. Пещурова не делало тем из него ни особого агента, ни притеснителя *ex officio*, на что он, по нравственному характеру своему, и не был способен.

Но зачем же было тогда обвинять в несбыточном злодействе, замечает Пушкин, передавая эти слова другу. Мать, Надежда Осиповна, по его же замечанию, прибегла, для оправдания вспылчивости супруга, к каламбуру: «да, он, Сергей Львович, *убит его словами!*» Впрочем, советы ли Жуковского, или урок, полученный от сына, подействовали на старого Пушкина, только уехав вскоре со всем семейством из Михайловского в Петербург, он оттуда в ноябре 1824 г. послал благовидный по форме, но решительный отказ от возложенной на него обязанности отеческого наблюдения за сыном. Ссора между отцом и сыном длилась, однако же, вплоть до 1828 г., когда они примирились, благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от правительственного надзора и ласково принят, незадолго перед тем, молодым Государем. Во второй раз (первый случай относится к 1815 г.) Сергей Львович искал сойтись с сыном, озадаченный его успехами и приобретенным положением между людьми.

Александр Сергеевич Пушкин остался теперь один в Михайловском на всю зиму 1824—25 г. Политическое наблюдение за ним перешло опять к Опочецкому предводителю, а для религиозного его руководства назначен был настоятель соседнего Святогорского монастыря (в 3 верстах от Михайловского), простой, добрый, и, как описывает его наружность И.И. Пущин, несколько рыжеватый и малорослый монах, который от времени до времени и навещал поэта в деревне. Так как ясного разграничения между обязанностями светского и духовного надзора не могло быть, то настоятель почел за нужное явиться в Михайловское, заслышав, в январе 1825 г., что к изгнаннику Михайловского неожиданно приехал из Петербурга какой-то неизвестный посетитель. Посетитель этот был покойный декабрист И.И. Пущин.

Он нашел своего лицейского приятеля в единственной жилой комнате старого деревянного дома, бывшего некогда палатами Елизаветинского ссыльного, удалого Осипа Абрамовича Ганибала. Одна комната с ширмами служила Пушкину спальней, столовой и рабочим кабинетом; все другие оставались запертыми и нетопленными. Только на другой половине, — через сенной коридор, разделявший дом, — И.И. Пущин видел еще жилую, просторную комнату, царство няни поэта — Арины Родионовны, доброй старушки, охотно приживавшейся рюмочки, как известно, которая тут учила и муштровала толпу швей и ткачих, засаженных за эти работы старыми господами. И.И. Пущин пробыл менее суток в Михайловском, слушал чте-

ние комедии «Горе от ума», им же и привезенной, из уст Пушкина, который сопровождал чтение это своими меткими и умными замечаниями, и по прежнему старался, насколько мог, отстранить попытки хозяина узнать связи, соединяющие гостя с тайными обществами — вопрос, с которым Пушкин приставал к Пущину почти всякий раз, как встречал его. Между прочим, наезжий гость сообщает и очень любопытную черту. Видимо тревожимый бесом политического тщеславия, Пушкин выпытывал у него, что думают о нем, Пушкине, в Петербурге в смысле политического деятеля, много ли говорят об истории майора Раевского и друзьях последнего, какие имена особенно упоминают при том. Впрочем, И.И. Пущин нашел большую перемену в друге: он стал серьезнее, проще, рассудительнее. Выпив последнюю бутылку шампанского, опять из своего собственного запаса, провозгласив сообщая множество тостов, а в том числе и тост: «за нее» (т.е. за особу, оставленную поэтом в Одессе, по всем вероятиям), Пушкин расстался со своим другом в 3 часа утра — (он прибыл накануне, тоже утром, в 7 часов) и расстался, как известно, навсегда... Монах провел только несколько минут в их обществе и не помешал беседе.

Несколько прежде того (в октябре 1824 г.), Пушкин официально был вызван в Псков для исполнения опущенной им формальности, которую ему, однако же, строго рекомендовали в Одессе — именно для представления своей особы местному губернскому начальству. Осталось предание в этом городе, что он тогда же являлся на базары и в частные дома, к изумлению обывателей, в *мужицком* костюме. Может быть, он изучал народный говор и склад мыслей, так как это теперь становилось ему необходимо узнать поближе из чисто-художественных целей, а, может быть, в основании этого переодевания лежала просто шутка, от которой он никогда не умел воздержаться. Так, в годовщину смерти Байрона, он отправился в Святогорский монастырь к своему духовному опекуну и отслужил там соборные панихиду по новопреставившемуся боярине Георгие. Этот анекдот, слышанный нами от сестры поэта, наводит на мысль: не из таких ли и подобных тому шалостей Пушкина-сына сложилось у родителя его воззрение на него, как на отъявленного безбожника?

Пушкин не мог долго оставаться в Пскове без особого дозволения. Притом же в Михайловском было у него теперь весьма серьезное дело, и недалеко от Михайловского занимательное общество. О последнем и скажем здесь несколько слов.

Прасковья Александровна Осипова, по первому мужу — Вульф,

владелица Тригорского (села, получившего свое имя от гористого берега той же речки Сороти, на которой стояло и Михайловское — Зуево, по народному прозвищу), была женщина очень стойкого нрава и характера, но Пушкин имел на нее почти безграничное влияние. Все его слова и желания исполнялись ею свято. Он платил за это благорасположение постоянным выражением безграничной дружбы, посвящал ей стихотворения, даже выражал намерение купить около Тригорского клочок земли и поселиться на нем (Михайловское принадлежало еще тогда отцу поэта), что не мешало ему (как видели) говорить о ней, как о «une bonne vieille voisine» и прибавлять: «j'écoute ses conversations patriarcales». Прасковья Александровна свободно изъяснялась и писала по-французски и старалась дополнить свое образование, как могла, училась вместе с двумя старшими дочерьми своими у их учителей, много читала, любила заниматься серьезными вопросами и жадно искала бесед, в которых они подымались. Все это, однако же, не могло, конечно, доставить ей прочных основ для мысли, так как дело тут шло не о прямом воспитании последней, а только о сообщении ей необходимой выправки и связности. Прасковья Александровна вполне удовлетворилась достигнутыми ею результатами. Через Пушкина она познакомилась с цветом тогдашней литературы: Языковым, Дельвигом, наконец с Жуковским, Плетневым, Вяземским, т.е. со всей литературной знатью того времени. Сам Пушкин беспрестанно толковал ей о роли, которую она играет в его существовании; друзья его, в благодарность за радушное отношение к нашему поэту, тоже не скупились на похвалы и величания. Самолюбие Прасковьи Александровны было удовлетворено всем этим с излишком; но оно было удовлетворено насчет всех других качеств, ибо, в чаду похвал и лести высокое мнение о себе достигло у нее крайних размеров, настойчивость и упорство в предприятиях и решениях, весьма мало обдуманых, достигли своих пределов, и последние годы ее долгой жизни показали очевидно, что любезность, светскость и начитанность сами по себе еще не могут упрочить для женщины, даже с большими природными способностями, счастья и покоя на земле...

Не одна хозяйка Тригорского, искренно привязанная к Пушкину, следила за его жизнью. С живописной площадки одного из горных выступов, на котором расположено было поместье, много глаз еще устремлялось на дорогу в Михайловское, видную с этого пункта — и много сердец билось трепетно, когда по ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкин или пешком в шляпе с большими поля-

ми и с толстой палкой в руке, или верхом на аргамаке, а то и просто на крестьянской лошаденке. Пророчество Пушкина о трех соснах, которые он должен был миновать по этой дороге, вступая на землю Тригорского, не сбылось: они не разрослись в рощу, а напротив, одна из них была срублена каким-то старостой и очень просто пошла на мельницу, да той же участи, вероятно, уже подверглись, или скоро подвергнутся и остальные, по приговору какого-либо другого старосты. И они правы. Что за надобность им беречь предметы, связанные с литературными и семейными воспоминаниями совершенно чуждыми им, когда теми же предметами не очень-то дорожат и люди, заинтересованные в их сохранении по родству и воспитанию.

Две старшие дочери г-жи Осиповой от первого мужа, Анна и Евпраксия Николаевны Вульф, составляли два противоположных типа, отражение которых в Татьяне и Ольге «Онегина» не подлежит сомнению, хотя последние уже не носят на себе, по действию творческой силы, ни малейшего признака портретов с натуры, а возведены в общие типы русских женщин той эпохи. По отношению к Пушкину, Анна Николаевна представляла, как и Татьяна по отношению к Онегину, полное самоотвержение и привязанность, которые ни от чего устать и ослабеть не могли, между тем, как сестра ее, воздушная Евпраксия, как отзывался о ней сам поэт¹ — представляла совсем другой тип. Она пользовалась жизнью очень просто, по-видимому ничего не искала в ней, кроме минутных удовольствий, и постоянно отворачивалась от романтических ухаживаний за собой и комплиментов, словно ждала чего-либо более серьезного и дельного от судьбы. Многие называли «кокетством» все эти приемы, но кокетство или нет — манера, во всяком случае, была замечательно-умного свойства. Вышло то, что обыкновенно выходит в таких случаях: на долю энтузиазма и самоотвержения пришлось суровые уроки, часто злое, отталкивающее слово, которые только изредка выкупались счастливыми минутами доверия и признательности, между тем, как равнодушию оставалась лучшая доля постоянного внимания, неизменной ласки, тонкого и льстивого ухаживания². Одно время полагали, что

¹ Впоследствии она вышла замуж за генерала Вревского и сделалась матерью почтенного и многочисленного семейства.

² Евпраксия Николаевна (в семействе ее просто звали «Зина») была душой веселого общества, собиравшегося по временам в Тригорском: она играла перед ним арии Россини, мастерски варила жженку и являлась первая во всех предприятиях по части удовольствий. Сестра ее, Анна Николаевна, умершая девушкой в начале 60-х годов, отличалась быстротой и находчивостью своих ответов, что было не легкое дело в виду Михайловского изгнанника, отличавшегося еще в разговорах прямоотой и смелостью выражения.

Пушкин неравнодушен к Евпраксии Николаевне. Как мало горечи осталось затем в воспоминаниях обделенной сестры от этой эпохи, свидетельствуют ее слова в письме к супруге Александра Сергеевича, уже в 1831 г. Когда та, говоря о старых знакомых своего мужа, шутливо намекнула на бывшую привязанность поэта к «полувоздушной» деве гор, Евпраксии Николаевне — вот что отвечала ей Анна Николаевна: «Как вздумалось вам, пишет она по-французски, ревновать мою сестру, дорогой друг мой? Если бы даже муж ваш и действительно любил сестру, как вам угодно непременно думать — настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится тенью, вызываемой одним воображением и оставляющей после себя менее следов, чем сон. Но вы — вы владеете действительностью и все будущее перед вами». Деликатнее отклонить вопрос и выразить свое собственное чувство — кажется, трудно.

Красивый персонал Тригорского не ограничивался еще этими двумя лицами. Кроме двух малолетних сестер их, носивших уже фамилию Осипова¹, тут были еще многочисленные кузины: кузина, например, Анна Ивановна (впоследствии Трувелер), которую звали Netty в семействе, кузина Анна Петровна Керн, урожденная Полторацкая, которая оставила «Записки» о своем знакомстве с Пушкиным (она выдана была замуж за старого генерала Керна, едва вышедши из детства), наконец, падчерица Прасковья Александровны — Александра Ивановна Осипова (впоследствии Беклешова) — Алина по семейному прозванию, та самая, которая возбуждала поздние восторги Сергея Львовича, лет 15 спустя, да обратила на себя внимание и сына его гораздо прежде. Вообще, все они, вместе с неупомянутой еще кузиной Вельяшевой, почтены были Пушкиным стихотворными изъяснениями, похвалами, признаниями и проч. Пусть же теперь читатель представит себе деревянный, длинный одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день от утра до ночи, и все маленькие интриги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский быт, который он так превосходно изображал потом. Он был теперь светилом, вокруг которого вращалась вся эта

¹ Марья и Екатерина Ивановны Осиповы тогда еще учились, и Пушкин помогал им иногда делать переводы с французского и на французский язык, за что и пользовался их постоянным благорасположением.

жизнь, и потешался ею, оставаясь постоянно зрителем и наблюдателем ее, даже и тогда, когда все думали, что он без оглядки плывет вместе с нею. С усталой головой являлся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в движение весь этот мир. Дело не обходилось, конечно, при этом без крошечных семейных драм, без ревности, катастроф и проч. Так, в июне 1825 года, Прасковья Александровна увозит красивейшую из своих племянниц, Анну Петровну Керн, в Ригу, к мужу и даже становится, как мы слышали, косвенной причиной окончательного разрыва между супругами; так, по возвращении из Риги в сентябре 1825 г., она опять уезжает в другое свое поместье, известное «Маленники», Тверской губернии, и увозит с собою старшую дочь, с трудом отрываясь сама и отрывая ее от любимых мест. Впрочем, отсутствие ее во второй раз продолжалось не более месяца. Пушкин остается хладнокровным зрителем этих скоропроходящих бурь, спокойно и даже насмешливо отвечает на жалобы их жертв, и, как ни в чем не бывало, погружается в свои занятия, соображения, чтение. Настоящая его мысль постоянно живет не в Тригорском, а где-то в другом — далеком, недавно покинутом крае. Получение письма из Одессы всегда становится событием в его уединенном Михайловском. После XXXII-й строфы 3-й главы «Онегина» он делает приписку: «5-го сентября 1824 года — Une l(ettre) de ***». Сестра поэта, О.С. Павлицева, говорила нам, что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата — последний заперся в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Памятником его благоговейного настроения при таких случаях осталось в его произведениях стихотворение «Сожженное письмо», от 1825 г. Вот где была настоящая мысль Пушкина.

Старший сын Прасковьи Александровны Осиповой, дерптский студент А.Н. Вульф, лучше понимал Александра Сергеевича, чем его семья¹. Вульф приезжал почти на все вакации зимой и летом в деревню и тотчас же посвящен был Пушкиным в свои замыслы.

Студент тотчас же узнал, например, что заветной мечтой поэта, с

¹ Пушкин очень любил Алексея Николаевича Вульфа. К нему именно относятся эти слова в записках Пушкина о лице, которое впервые упомянуло при нем о холере. «В конце 1826 года я часто виделся с одним дерптским студентом. Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял» и проч.

самого приезда его в Михайловское, сделалось одно: бежать от заточения деревенского, а если нужно, то и из России. Помыслы о бегстве за границу начались у Пушкина еще в Одессе, как хорошо свидетельствует известное стихотворение «К морю» (1824 г.), где содержится ясное признание, что одна только страсть, приковав автора к берегу, помешала устроить ему «*поэтический побег*» и тем ответить на соблазнительные призывы «*свободной стихии*». Кроме того, в стихотворении выпущена еще целая строфа, содержащая вопрос к океану: «куда и на какую жизнь он вынес бы его»... А затем, еще в одном письме к брату, Льву Сергеевичу, весной 1824 г., из Одессы, мы находим следующие недвусмысленные строки после известия, что поэт два раза просил о заграничном отпуске с юга России и оба раза не получил дозволения: «Осталось одно — взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится не в терпеж».

Теперь Пушкин существовал далеко от моря, но замысел не был покинут. Поэт наш видимо приходил в ужас от мысли провести лучшие годы своей молодости в захолустье, не имея ближайшего сообщения с публикой и лишенный возможности жить многосторонней жизнью толпы, светского общества, литературного мира. Он волновался, как не прирученный зверь в клетке, при этой мысли, и был вполне несчастным человеком со всеми развлечениями своими в Тригорском, со всеми шумными беседами друзей и даже со всеми творческими минутами, уединенными занятиями и вдохновениями Михайловского. Безумные проекты писем к императору Александру (о которых уже намекали), сочинение каких-то фантастических диалогов, где он сам становится допросчиком и судьей самого же себя — свидетельствуют о том достаточно. Он просто страдал в деревне боязнью за свою участь, отсутствием, так сказать, воздуха, простора, арены, которые так необходимы были для его страстной природы. Эти страдания не имели уже характера выдумки, как те воображаемые физические страдания, происходящие будто бы от аневризма в ноге, на которые он ссылался, когда в том же 1825 г. решился формально просить дозволения ехать в столицы или за границу, для поправления своего здоровья. Он препоручил ходатайство по этой просьбе своей матери в Петербурге и был недоволен, когда Надежда Осиповна заменила его деловую просьбу каким-то патетическим письмом к императору Александру, которым, по мнению Пушкина, ослаблялся суровый и более красноречивый факт его страдальческого положения. Результатом ее домогательств было, однако

же, дозволение Пушкину жить и лечиться в Пскове с тем, чтобы губернатор имел наблюдение за поведением и *разговорами* больно-го. Это не изменяло дела и нисколько не отвечало его намерениям.

И ранее этого прошения и одновременно с ним, Пушкин не переставал строить планы бегства из России. Надо сказать, что слухи о намерении его бежать за границу были уже сильно распространены в кругу его друзей и в литературных кругах того времени. Он сам писал в Петербург, почти тотчас по прибытии в Михайловское и жалуясь на семейные свои неприятности: «Стыжусь, что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, разнесшуюся недавно обо мне. Глупо час от часу вязнуть в жизненной грязи» — (из чернового письма). Через несколько времени, в декабре 1824 г. он писал опять к брату, как будто уже решившись оправдать теперь общую молву и только боясь, чтобы она не помешала исполнению плана: «Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о *банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева* — вот пункты, о которых можешь уже осведомиться¹». Пункты, подлежавшие разъяснению брата, были ясны: устройство правильной пересылки денег и корреспонденции за границу, вместе с означением места, куда они должны были отправляться — т.е., в тогдашнюю резиденцию Чаадаева. (Чаадаев путешествовал по Европе уже со времени истории Семеновского полка, которая была косвенной причиной его выхода в отставку из военной службы). Намерение избавиться от ссылки, хотя бы и с пожертвованием родины, не ослабело после решения водворить его в Пскове, а, напротив, еще возросло; но предстоял трудный вопрос: как выбраться из отечества²?

¹ Пушкин ждал к Рождеству 1824 г. брата своего из Петербурга, а также и Вульфа из Дерпта, предполагая устроить с ними совещание по предмету своего иллегального вояжа; оттого он и задавал первому вопросные пункты, но Пушкин-брат, кажется, не приехал на конгресс.

² П.А. Осипова находилась тоже в заговоре, но она испугалась секрета, ей сообщенного, и извещала о нем Жуковского в том же письме, о котором мы уже говорили и которое приведено «Русским Архивом» 1872 г., № 12. Вот это место ее письма: «Если вы думаете, что *воздух и солнце Франции, или близ лежащих к ней, через Альпы, земель* полезен для русских орлов, — и оный не будет вреден *нашему*, то пускай останется то, что теперь написала, вечной тайной; когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет». К этому месту почтенный издатель «Русского Архива» П.И. Бартнев, делает одно из тех обычных ему примечаний, которые имеют в виду направить суждения читателя о любопытных документах, передаваемых журналом, на ложную дорогу. Примечание, несмотря на ясность при-

Студент А.Н. Вульф, сделавшийся поверенным Пушкина в его замыслах об эмиграции, сам собирался за границу; он предлагал Пушкину увезти его с собой, под видом слуги. Но не говоря уже о том, что подобный рискованный шаг со стороны молодого человека грозил испортить ему жизнь на долгое время, сама поездка Вульфа за границу была еще приятной мечтой и зависела от множества домашних и посторонних обстоятельств. Пришлось устранить предложение, и тогда оба заговорщика наши остановились на мысли заинтересовать в деле освобождения Пушкина почтенного и известного дерптского профессора хирургии, И.Ф. Мойера, мужа тогда уже умершей, обожаемой племянницы Жуковского, Марии Андреевны Протасовой. Мойер был человек и высоких нравственных качеств, и замечательно-разнообразного образования, что позволяло ему слыть в одно время знаменитостью по своей части и оказываться страстным любителем музыки и поэзии. Он пользовался неограниченным доверием В.А. Жуковского и имел влияние на самого начальника края, маркиза Паулуччи, глубоко уважавшего его характер, искусство и познания. Дело состояло в том, чтоб согласить Мойера взять на себя ходатайство перед правительством о присылке к нему Пушкина в Дерпт, как интересного и опасного больного, а впоследствии, может быть, предпринять и защиту его, если Пушкину удастся пробраться из Дерпта за границу, под тем же предлогом безнадежного состояния своего здоровья.

Конечно, дело было не легкое, потому что в основании его лежал все-таки подлог (Пушкин физически ничем не страдал), на который и следовало согласить прямого и честного профессора, но друзья наши не остановились перед этим затруднением. Они положили учредить между собою символическую переписку, основанием которой должна была служить тема о судьбе коляски, будто бы взятой Вульфом для переезда. Положено было так: в случае согласия Мойера замолвить слово перед маркизом Паулуччи о Пушкине, студент Вульф должен был уведомить Михайловского изгнанника, по почте, о своем намерении выслать безотлагательно коляску обратно в Псков. Наоборот, если бы Вульф заявил решимость удержать ее в Дерпте, это означало бы, что успех порученного ему дела оказывается сомнительным. Подобные же предосторожности от почтовых не-

веденного места, гласит: «После наводнения 7-го ноября». Какую связь могло иметь намерение михайловского орла отлететь к Альпам с наводнением 7-го ноября, которого вовсе и не было в Михайловском?

скромностей приняты были друзьями и для переписки по другому поручению, тоже возложенному на А.Н. Вульфа.

Город Дерпт стоял тогда если не на единственном, то на кратчайшем тракте за границу, излюбленном всеми нашими туристами, которые тогда преимущественно состояли из высших классов общества. При трудностях тогдашнего передвижения, путешественники эти часто подолгу останавливались в этом городе, сообщая знакомым и свежие столичные новости.

На Вульфа возложена была обязанность следить за всем, что относилось в этих новостях до Пушкина собственно, и передавать их по принадлежности поэту, приняв за условную тему корреспонденции проект издания полных сочинений Пушкина в Дерпте¹. По этому плану, слова главного цензора выражали бы настроение высшей правительственной власти относительно Михайловского пленника; заметки первого, второго и т.д. наборщика — мнения того или другого из ее агентов и проч. Намеки на этот план, сохранившиеся в переписке Пушкина, привели одного из биографов его, почтенного М.И. Семевского, к ошибочному заключению, что Пушкин имел действительно намерение заняться печатанием сборника своих стихотворений в Дерпте.

История с конляской кончилась, однако же, довольно комически. Одновременно с задачей, возложенной на Вульфа, Пушкин и со своей стороны работал, чтобы вызвать через родных содействие Жуковского, который, по своему влиянию на Мойера, должен был predispose профессора к принятию на себя роли ходатая за бедного больного, изнывающего в деревне. С этой целью Пушкин усилил жалобы перед родными и знакомыми на свои немощи, на отчаянное свое положение и проч., выставляя, конечно, прежде всего необходимость личного содействия со знаменитым хирургом в Дерпте. Лев Сергеевич Пушкин, посвященный в секрет брата, спокойно исполнял его поручения в Петербурге, из которых некоторые были довольно странного характера, особенно для аневритика и расслабленного. Так, поэт просил о высылке ему вина, рому, сахару, сыру лимбургского, и что всего забавнее — требовал книгу о верховой езде: «хочу жеребцов выезжать, — говорит он брату, — вольное подражание Алфиери и Байрону».

После того, как состоялось распоряжение о предоставлении Пуш-

¹ Все это, впрочем, особенно касалось Жуковского, который, по слухам, должен был проехать через Дерпт на пути своем в Кенигсберг.

кину гор. Пскова для пользования, родные, уstraшенные предше-
ствующей перепиской с изгнанником, сами писали и, вероятно, склони-
ли также писать к Мойеру и Жуковского в том смысле, чтобы
почтенный доктор пожертвовал частью своего времени и прибыл
сам в Псков, для осмотра страдальца и производства над ним опера-
ции, о необходимости которой они тоже слышали много от Пуш-
кина. Кажется, что благородный Мойер, ничего не подозревавший в
этом деле, склонился на их просьбу, потому что родные сделали уже
распоряжение, прямо из Петербурга, о высылке настоящей, не симво-
лической коляски из Пскова в Дерпт, за Мойером. Когда Пушкин
услыхал об этом обороте дела, он ужаснулся: одна мысль, что про-
фессор, оторванный от своих занятий, может сделать довольно уто-
мительный переезд для того, чтобы увидеть перед собою совершенно
здорового человека — должна была привести его в страх. «Друзья
мои и родители вечно со мной прокажут», — восклицает он, обра-
щаясь к Вульффу, и затем уже умоляет приятеля, возвратит поскорее
назад коляску, отговорить Мойера во что бы то ни стало от поездки
в Псков и покинуть весь план, с таким трудом ими выработанный,
посылая при этом к черту и все комиссии по изданию его сочинений
с их цензорами, наборщиками и проч. Все это происходило в сентяб-
ре и октябре 1825 г.

План действительно канул в воду, но, думаем, стоил упоминова-
ния здесь, как подтверждение мучительных усилий освободиться от
плена, волновавших Пушкина с самого прибытия в Михайловское,
да и как свидетельство, что могло приходиться в голову людям, предо-
ставленным беспомощному своему горю и уединению.

Возвратимся назад после этого эпизода. По весне 1825 г., Пуш-
кин ждал к себе гостей — Дельвига, Плетнева, Баратынского, Кю-
хельбекера (Анахарсиса Клоца, как он его называл), Языкова, и не-
которых других, но на зов его явился только один барон Дельвиг¹.
Пушкин ввел его тотчас же в общество Тригорского, но был недово-
лен его равнодушным поведением в среде красавиц, которые на-
прасно истощали перед ним свои природные дары и любезность.
Барон предпочитал, по замечанию Пушкина, лежать дома, на постели,
как колода, декламировать стихи, беседовать о литературе, между

¹ К.Ф. Рылеев также обещал Пушкину за себя и за А. Бестужева посетить его
летом 1825 г., но ни тот, ни другой не могли исполнить обещания. Есть еще у Пуш-
кина и у комментаторов его сочинений указания о неожиданном посещении Михай-
ловского, осенью того же года, князем А.М. Горчаковым, но нам ничего неизвестно
об этом свидании обоих лицестов.

тем, как сам хозяин возбуждал у соседок целые бури ревности и соперничества, кончившиеся отъездом их из Тригорского. Может быть, сдержанность барона происходила и оттого, что он задумал уже тогда жениться, и в августе 1825, если не ошибаемся, обвенчался с дочерью одного из Арзамасцев, С.М. Салтыковой. По выезде Дельвига и отбытии вслед затем соседей Тригорского, сперва в Ригу, а потом в деревню Тверской губернии (как уже сказали), Пушкин оставался один на лето и часть осени 1825 г. в своем Михайловском домике, и не скучал. Много занятий нашел он для себя и много им тогда было сделано.

VIII.

Шекспиризм. — 14-е декабря 1825 г. — Возвращение из ссылки и появление в Москве.

«Я не читал ни Кальдерона, ни Вегу», — пишет Пушкин в 1825 г. из Михайловского к старому своему другу, — как мы догадываемся, — Николаю Николаевичу Раевскому-младшему: — «но что за человек Шекспир? Я не могу придти в себя от изумления! Как ничтожен перед ним Байрон-трагик». Пушкин сообщает далее, что пишет трагедию, в которой творческими силами являются у него попеременно то размышление, то вдохновение, и под конец восклицает:

«Я знаю, что силы мои развились совершенно, и чувствую, что могу творить.»

Письмо осталось в бумагах автора и заменено было другим, совершенно однородным с ним, уже в 1829 году, да сомнительно, чтоб и это последнее отдано было на почту. Пушкин писал более про себя, хотя и мог выбрать для этого воображаемую, фиктивную беседу с живым лицом; примеров такого самообмана у него довольно много. Догадка наша, что Пушкин имел в виду, при составлении их, Н.Н. Раевского, основывается на следующих выпущенных строках в первом отрывке от 1825 года, имеющем и биографическое значение: «Où êtes-vous? J'ai vu par les gazettes que vous aviez changé de régiment: je souhaite que cela vous amuse. Que fait votre frère? Vous ne m'en dites rien dans votre lettre du 13 mai. Se traite-t-il?

Voilà ce qui me regarde: mes amis se sont donné beaucoup de mouvement pour obtenir une permission d'aller me faire traiter; ma

mère a écrit à S.M. et là-dessus on m'a accordé la permission d'aller à Pskow et d'y demeurer même, mais je n'en ferai rien: je n'y ferai qu'une course de quelques jours. En attendant je suis très isolé: la seule voisine que j'allais voir est partie pour Riga et je n'ai à la lettre d'autre compagnie que ma vieille et ma tragédie; celle-ci avance et j'en suis content».

«Где вы? По газетам я узнал, что вы перешли в другой полк: желаю, чтобы это могло забавлять вас. Что делается с вашим братом? Вы не упоминаете о нем в вашем письме от 13 мая. Лечится ли он?

Вот что касается до меня. Друзья мои хлопотали изо всех сил, чтобы добыть мне позволение полечиться на свободе; мать моя писала к Е. В., и затем я получил разрешение ехать в Псков и даже жить там, но я не намерен воспользоваться им: пробуду в Пскове только несколько дней. Покамест я живу один-одинешенек. Единственная соседка, посещаемая мною, уехала в Ригу, и я буквально остался в сообществе с моей старой няней и с моей трагедией: последняя подвигается, и я ею доволен». Затем у Пушкина идет рассуждение о тщете попыток к достижению полного правдоподобия в драме, рассуждение, буквально повторенное письмом 1829 года.

Вот что принесло Пушкину уединение Михайловского.

Нужно ли распространяться о том, что поклонение Шекспиру, окончательно потушившее старое служение Байрону, уже сильно поколебленное и до того, — было шагом вперед для Пушкина? Прежде всего новое направление значительно укоротило дорогу поэту для сближения его с русским народным духом, с приемами народного творчества и мышления. Трудно себе и представить, чтобы при изучении Шекспира можно было пропустить без внимания значение национальных элементов вообще, как воспитателей фантазии и мысли поэта. Пушкин, по смыслу своих писем, остановился в Шекспире прежде всего на ясности его психического анализа, позволявшей великому драматургу находить во всякое время настоящее, приличное положение и слово для своих лиц; но остановиться на одной только этой чисто-художественной оценке шекспировского влияния на мысль Пушкина мы уже со своей стороны не можем. В значении биографического факта она недостаточна и должна быть еще дополнена указанием тех сторон шекспировского гения, которые окончательно переработали самого Пушкина, как человека, и дали ему новое созерцание жизни и своего призвания в ней. Кажется, Пушкин прежде всего остановился в созданиях Шекспира на «Хрониках».

Прилежное изучение многих их приемов, хода действия и лирического языка некоторых их монологов отразилось и у Пушкина в «Комедии о Царе Борисе». Но это еще было простое заимствование форм, а главный, существенный результат шекспировского влияния состоял в том, что оно привело Пушкина к объективно-историческому способу понимания и представления эпох, людей и событий. Шекспир действительно приводил к такому созерцанию жизненных явлений своей известной, философской, гуманной справедливостью ко всем лицам своих трагедий, без исключения, что не мешало ему выражать явные симпатии к одним, строгий приговор и осуждения для других. Непогрешимость его психического анализа характеров зиждется именно на этом качестве философско-исторической справедливости. Пушкин до того полно усвоил себе главную черту британского гения, при изучении его творений, что с тех пор она уже стала окрашивать все суждения нашего поэта о явлениях не только прошлого, но и настоящего времени. Перемена в образе мыслей обнажилась у него очень скоро. Так, через несколько месяцев после 14-го декабря он приглашает своих друзей смотреть на все дело без суеверия и пристрастия, а глазами Шекспира, т.е., взвешивая и оценивая причины, давшие событию его настоящую форму. Достаточно известно, что историческое созерцание, раз усвоенное человеком, изменяет все привычки его мысли и даже нравственный его характер: человек становится не так жесток к своим противникам, не так доверчив к господствующим мнениям, получая взамен этого способность обсуждать и поверять самые любимые, самые заветные из собственных своих убеждений. Все это именно и произошло теперь с Пушкиным, но, прибавим, отличало его только в нормальном состоянии духа, потому что с каждым порывом страстей (а таких у него было много) настроение опрокидывалось и уносилось вихрем на более или менее продолжительное время. Пушкин был бессилен перед собственной своей огненной природой. Эти случайные переходы в крайность и увлечение именно и мешали современникам Пушкина уразуметь правильно основной характер его настроения в данную минуту. Со всем тем, даже и принимая в соображение это обстоятельство, нельзя не удивляться крайне малой догадке близких ему людей относительно хода умственной его жизни. Они и теперь еще не видели в нем перемены, и продолжали считать его по прежнему одним из застрельщиков в авангарде современного радикализма, когда он уже отдался историческо-критическому направлению, каково оно там ни было, по своей сущности. Продолжению

сумерек вокруг действительного образа мыслей Пушкина много способствовал тот род застенчивости, который был свойственен поэту, и не допускал его грубо обнаруживать себя перед людьми, не понимавшими намеков и признаков. И не то, чтоб Пушкин сделался равнодушен к вопросам своего времени и удалился от них на высоту педантического толкования их, без желания участвовать в их разрешении: он только освободился от либеральной фразы, от стереотипных приемов, так сказать, вольнодумства и от слепого подчинения однообразным идеям и формам, в которые оно облекалось тогда. Не за долго перед тем, в 1824 году, он написал два известных своих послания: «К цензору» (Тимковскому). Оба этих знаменитых послания не могут быть названы сатирами в настоящем смысле слова: это скорее эпические произведения, исполненные размышлений и указаний; но они, конечно, должны считаться образцовыми произведениями нашей литературы, столько же по своей эпиграмматической соли, сколько и еще более по общественному, гражданскому смыслу своему, по обдуманной защите интересов слова, мысли и разума, в приложении их к тогдашнему русскому быту. Таков был его либерализм теперь¹.

Шекспир послужил Пушкину и другой стороной своего обширного гения, о которой уже говорили: он открыл ему новые пути и новые материалы для авторского его призвания. Соединение в одном лице Шекспира такого изобилия фантазии, такой массы художнических идей, образов и представлений, такого неисчерпаемого богатства поэзии и изобретательности, было бы просто непонятным делом, если бы загадка не пояснялась участием народного творчества в его созданиях. Из народных легенд, сказаний, дум, из истори-

¹ В эпоху наибольшего распространения Шекспира между нами, именно в тридцатых годах, дело не обошлось без того, чтобы результаты чтения и изучения его творений не приняли у нас особенной русской окраски, не проявлялись в особенной, оригинальной форме, как то было с Байроном, романтизмом, да и со многими последующими европейскими произведениями и началами на нашей почве. Так, Шекспир породил у нас толпу мудрых политиков без всякой подготовки к своему званию, вереницы глубокомысленных государственных умов, без соприкосновения с какой-либо областью публичной деятельности, и множество великих психологов, без научного образования. Но благодетельная сторона Шекспировского влияния была важнее комической стороны, с ней связанной. Достаточно вспомнить, что Шекспир дал возможность целому поколению чувствовать себя мыслящим существом, способным понимать исторические задачи и важнейшие условия человеческой жизни в то самое время, когда поколение это, на реальной почве, не имело никакого общественного занятия и никакого голоса, даже по самым ничтожным предметам гражданского быта.

ческих преданий европейского и английского мира черпал он полной рукой не только сюжеты для драм, но и многие частные подробности при осуществлении их. Громадное количество практической народной мудрости, житейских заметок и характеристик, накопленное собственной его страной, вошло также в их состав. Известно, что Шекспир был последним результатом целой школы драматургов, двигавшихся в среде народных масс и передавших их поверья и рассказы, вместе с типами, которые там же встречаются. Шекспир прибавил к этому материалу свое гениальное понимание характеров, да сообщил ему такую художественную обработку, которая, обнаружив всю поэзию народного творчества, угадала и его философско-историческое значение. Все это было откровением для Пушкина и вырвало из души его то восклицание, которое раздается в одном из упомянутых французских его писем: «*Quel homme ce Schakspire! Je n'en reviens pas!*» С тех пор Пушкин бросился на соби́рание русских песен, пословиц, на изучение русской истории, и так как силы его находились почти в лихорадочном напряжении от сближения с Шекспиром, то он тотчас же и предался мысли осуществить все, им навеянное и указанное, и в течении одного 1825 года написал свою «Комедию о Царе Борисе», которой уже прощался со всеми старыми своими направлениями и которой начинал совершенно новый период своего развития¹.

После всего сказанного довольно трудно представить себе, что биографы Пушкина, — впрочем, со слов самого поэта нашего, только понятых ими чересчур узко, — заставляют участвовать в развитии Пушкина и даже направлять это развитие няню его, Арину Родионовну. Это одно из тех недоразумений, которые отходят в область «биографических предрассудков», о которых говорили. По смыслу этого предания выходит так, как будто добрая и ограниченная старушка, Арина Родионовна, играла нечто в роде роли бессознательно-го, мистического деятеля в жизни своего питомца и открывала ему

¹ При появлении «Бориса Годунова» в 1831, один из самых замечательных умов эпохи, Н. А. Полевой, не угадал значения хроники. Он упрекал Пушкина за то, что рабски следуя рассказу Карамзина, он лишил себя возможности дать новый смысл событиям и новое толкование характеров того времени. Но Пушкин искал совсем не разрешения исторических загадок, которые и теперь еще остаются загадками, а думал только о воспроизведении духа польской и русской национальности, в их понимании жизни и в их исторических ролях, что и успел сделать вполне. Каждая из национальностей выражается у него типами, обнаруживающими народный склад мыслей, культуру, быт и характер своего отечества. О поэтической атмосфере, в которой они двигаются, и говорить нечего.

область народного творчества, благодаря своему знанию русских сказок, песен и преданий. Арина Родионовна была действительно верным и усердным посредником в ознакомлении Пушкина с некоторыми примерами и мотивами народной фантазии, но, конечно, не ее слабая и немощная рука указала поэту ту дорогу, на которой он теперь очутился: тут были указатели другого рода и порядка.

Свидетелем добросовестных усилий Пушкина попробовать себя на строго-исторической почве и усвоить себе приемы исторической критики служат его «Заметки на Анналы Тацита», опубликованные нашими «Материалами» в 1855 году. Замечания Пушкина на летопись Тацита не все попали в издание его «Сочинений» 1855 г., а потому — и в другие. Приводим здесь, кстати, отрывки, не удостоившиеся чести появиться на свет вместе с другими, хотя по форме и содержанию они были совершенно однородны с ними. Вот по порядку три начальных отрывка, выброшенные при печатании:

I.

«Тиберий был в Иллирии, когда получил известие о болезни престарелого Августа. Неизвестно — застал ли он его в живых. Первое его злодеяние (замечает Тацит) было умерщвление Постума Агриппы, внука Августова. Если убийство... может быть извинено государственной необходимостью, то Тиберий прав. Агриппа — родной внук Августа, имел право на власть и нравился черни — необычайною силою, дерзостью и даже *простотою ума*. Таковые лица всегда могут иметь большое число приверженцев или сделаться орудием хитрого мятежника. Неизвестно, — говорит Тацит, — Тиберий или его мать Ливия убийство сие приказали. Вероятно, Ливия, но и Тиберий не пощадил бы его».

II.

«Когда Сенат просил дозволения нести тело Августа на место сожжения, Тиберий позволил сие с *насмешливой скромностью*. Тиберий никогда не мешал изъявлению подлости, хотя и притворялся иногда, будто бы негодовал на оную. Вначале же решительный во всех своих действиях, кажется он запутанным и скрытным в одних отношениях своих к Сенату».

III.

«Август вторично испрашивал для Тиберия трибунство. Точно ли *в насмешку и для невыгодного сравнения с самим собою* хвалил он наружность своего пасынка и наследника? В своем завещании, *из единой ли зависти* советовал не распространять пределов империи, простиравшейся тогда от — до —?»

[Затем уже 3 печатных отрывка за № I, II, III должны значиться под цифрами IV, V, VI, после которых следуют VII и VIII отрывки, тоже пропущенные в издании 1855 г.]

VII.

«Тиберий отказывается от управления государством, но изъявляет готовность принять на себя ту часть оно, которую на него возложат.

Сквозь раболепства Галла Азиния видит он его гордость и предпримчивость, негодует на Скавра, нападает на Готория, который подвергается опасности быть убиту воинами. *Они спасены* просьбами Августа и Ливии.

Тиберий не допускает, чтобы Ливия имела много почестей и влияния. *Не из зависти*, как думает Тацит: он не увеличивает, вопреки мнению Сената, число преторов, установленное Августом».

VIII.

«Первое действие Тибериевой власти есть уничтожение народных собраний на Марсовом поле — следственно и совершенное уничтожение республики. Народ ропщет, Сенат охотно соглашается: (Тень правления перенесена в Сенат)».

В заключение следует сказать, что последний отрывок, приведенный из издания 1855 г. за № IV и заключающий анекдот о некоем Вибии Серене, имеет в рукописи следующее продолжение: «Чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших государственных умов древности». По поводу того же отрывка необходимо еще прибавить, что он не составляет прямо часть Пушкинского разбора Тацитовской летописи, а взят из издания 1855 г., по аналогии содержания, из письма Пушкина к Б. Дельвигу от 23-го июля 1825 г. Анекдотом о Вибии Серене Пушкин намекал другу на собственное свое положение в деревне, и выражал желание, чтобы к нему применили приговор Тиберия, который воспротивился реше-

нию сослать Серена на необитаемый остров, говоря, что кому дарована жизнь, того не следует лишать способов к поддержанию жизни.

Но вот как теперь читал Пушкин вообще. Вместе с тем он не покидал ни одной из прежних своих работ. Какая-то горячая деятельность овладела им в Михайловском, словно внутренний голос говорил ему, что как ни лживы покамест все его жалобы на свои болезни, жизнь ему отмерена судьбой все-таки короткая и надо торопиться. Так, дописав «Цыган», создав своего «Бориса», он уже набросал к 1-му январю 1825 г., приблизительно, 4 главы «Онегина», как видно из пометки его под XXIII строфой этой четвертой главы: «31-го декабря 1824 г. — 1-го января 1825 г.». Да и одно ли это делал он? К эпохе Михайловской жизни относятся и его превосходные переводы и выдержки из Алкорана. Он был до того увлечен гиперболической поэзией произведения, что почел за долг распространять имя Магомета, как гениального художника, в литературных кругах, и К. Ф. Рылеев не даром, умоляя Пушкина покинуть рабское служение Байрону (подобные мольбы раздавались еще в 1825 г.), употребил в письме своем фразу: «хоть ради твоего любезного Магомета». Собственно в этом выборе оригинала для самостоятельного воспроизведения его у Пушкина была еще другая причина, кроме той, которую он выставлял на вид. Алкоран служил Пушкину только знаменем, под которым он проводил свое собственное религиозное чувство. Оставляя в стороне законодательную часть мусульманского кодекса, Пушкин употребил в дело только символику его и религиозный пафос Востока, отвечавший тем родникам чувства и мысли, которые существовали в самой душе нашего поэта, тем еще не тронутым религиозным струнам его собственного сердца и его поэзии, которые могли теперь впервые свободно и безбоязненно зазвучать под прикрытием смутного (для русской публики) имени Магомета. Это видно даже по своеобразным прибавкам, которые в этих весьма свободных стихотворениях несколько не вызваны подлинником. Осенью 1825 г. Пушкин написал пьесу, «19-е октября 1825 г.» («Роняет лес багряный свой убор»), — стройное, в высшей степени задушевное и трогательное воспоминание Лицея, за которое Дельвиг благодарил его довольно оригинальным образом из Петербурга: «За 19-е октября — писал он в январе 1826 г. — благодарю тебя с лицейскими скотами-братцами вместе». Через два месяца после стихотворения разразилась катастрофа 14-го декабря 1825 г., но об этом после.

В том же году явились у Пушкина новые хлопоты по первому

изданию сборника своих стихотворений. Он и прежде думал об этом, даже заранее продавал право на будущую книжку своих стихотворений нескольким лицам вдруг, но только с падением враждебного ему министерства князя А. Н. Голицына, в 1824 году, открылась возможность приступить к делу серьезно. Надо было воспользоваться теперь присутствием во главе министерства народного просвещения А. С. Шишкова. Как еще ни относился враждебно суровый старец к современной ему литературе, называя ее сплошь «легкомысленной», как много ни обманул он ожиданий относительно новых цензурных порядков, все же он был сам литератор, не мог ужасаться выражений, в роде «небесных глаз» и т. п., и понял бы жалобу на безграмотное и бесцельное извращение смысла и стиха в произведении, что так часто и развязно делали люди прежней администрации. Притом же известно было, что он публично выражал негодование на тупоту и чудовищность цензурных поमारок¹ и приводил невероятные примеры их даже официально². Все это заставило Пушкина стремительно ухватиться за мысль издать теперь же первое собрание своих стихотворений, так как откладывать далее план печатания — значило бы упустить счастливую минуту, которая для него настала. Разделавшись кое-как с прежними покупателями стихотворений, Пушкин приступил теперь к изданию, и с необычайной энергией, обратился за помощью к брату и друзьям в Петербурге, указывая им распределение пьес, порядок, которому они должны следовать, присылал исправления и дополнения, и заботился издали даже о внешнем виде издания, о типографских его подробностях. Первое собра-

¹ На основании именно этих соображений, Пушкин почтил А. С. Шишкова в послании «К цензору» великолепным стихом: «Сей старец дорог нам» и проч., и упрекал еще А. Бестужева, зачем он не упомянул в своем «Обозрении» о счастливой перемене в министерстве, говоря: «Ты умел в 1822 году жаловаться на туманы нашей словесности, а нынешний год и спасибо не сказал старику Шишкову. Кому же, как не ему, обязаны нашим оживлением?» Это было писано в 1824 г.

² См. «Русский Архив» 1865, стр. 1353. В своем голосе по делу о профессорах с.-петербургского университета 1822 г., Шишков, требуя бдительной цензуры по всем отраслям ученой и литературной деятельности, говорит, что цензура должна быть ни слабая, ни строгая (ибо *строгая не дает говорить ни уму, ни правде*), и притом *разумеющая силу языка*. Тут же приводит он и примеры цензорского неразумения в этом смысле. Один цензор в стихе: «О, дай мне, друг, дай крылья серафима» — вычеркнул слово «серафима». Это все равно, что не допускать в печати выражения: «какой ангел! Какой у него ангельский нрав!» Другой цензор представил пример, еще несравненно сего чуднейший, говорит Шишков. В стихах: «Что в мире мне, где все на миг, где смерть и рок цари?» цензор вычеркнул слово *рок*, а все остальное оставил по прежнему. Вышла нелепость и притом крайне неблагоприятная.

ние его стихотворений действительно и появилось в 1826 г., но ему еще предшествовала начальная глава «Онегина». И то и другое издание все еще не обошлись без цензурных затруднений и хлопот, но, по крайней мере, они могли явиться на свет все-таки цельнее и свободнее, чем за год или полтора года тому назад.

Кстати, еще одно слово о переписке Пушкина из деревни. Не подлежит сомнению, как уже было сказано, что она составляет просто литературную драгоценность, объясняя отношения писателей той эпохи между собою и вопросы, их занимавшие. Но у ней есть и еще одно достоинство: она рисует нам самый образ Пушкина в изящном, нравственно-привлекательном виде. Тому, конечно, много способствует ее язык: это постоянно один и тот же блеск молодого, свежего, живого и замечательно основательного ума, проявляющийся в бесчисленных оттенках выражения. О главных мотивах, которые она разрабатывает, мы уже говорили прежде. Существенную ее часть, как известно, составляют прения с А. Бестужевым по поводу его «взглядов» на литературу, изложенных в «Полярн. Звездах». Но и кроме своего содержания переписка эта еще крайне поучительна в другом смысле: в ней нет ни малейшего признака какого-либо напряжения, не чувствуется ни малейшей капли того отшельнического яда, который обыкновенно накапливается в душе гонимых или оскорбляемых людей; напротив, все письма светлы, благородны, доброжелательны, даже когда Пушкин сердится или выговаривает друзьям и брату за их вины перед ним или перед публикой. Богиня добродушного веселья была ему знакома, конечно, не менее другой воспетой им богини, своей музы. Они обе посещали его даже в минуту горя, тревог и сомнений. Действие переписки на читателя неотразимо, какое бы мнение ни составил он заранее о характере ее автора: необычайная, безыскусственная простота всех чувств, замечательная деликатность, — смеем так выразиться, — сердца, при оригинальности самых поворотов мысли и всех суждений, приковывают читателя к этой переписке невольно и выносят перед ним облик Пушкина в самом благоприятном свете.

Занятия Пушкина в деревне еще не ограничивались созданием образцовых произведений, обширным чтением, сбором этнографических материалов и перепиской с друзьями. Он тогда же начал составлять записки своей жизни, употребляя для этого, как уведомлял брата в октябре 1824, свое дообеденное время и подтверждая ему еще раз в ноябре, что продолжает свои «Записки». Так шло дело до декабря 1825 г.; но от этого годичного бесперывного труда

осталось только несколько отрывков, да довольно значительное количество сырых, необработанных материалов. Пушкин уничтожил всю свою работу в 1825 г., как сам говорит в пропущенном месте своих печатных «Записок», составляющих бедный, уцелевший их обломок. «В конце 1825 года, — говорит он там, — при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь записки». Затем он уже несколько раз возвращался к идее начать вновь летопись своего времени, а именно в 1831 году, когда жил в Царском Селе — в эту тяжелую для России годину польского бунта и повсеместной холеры, и вторично, в 1833 году, когда он уже находился в центре и круговороте петербургского большого света. Оба раза дело ограничилось немногими заметками: большая часть тех, которые принадлежат к первой из этих попыток, сообщена была нами в 1859 году известному библиографу Е. Я., вместе с другими выдержками из бумаг Пушкина, который и напечатал документы эти с собственными своими пояснениями в «Библиографических Записках» 1859 года, № 5 и 6. О второй попытке возобновления «Записок» мы можем только сказать, на основании верных источников, что Пушкин вел журнал или дневник семейных и городских происшествий с ноября 1833 по февраль 1835 г. Мы позволяем себе думать также, что недаром Пушкин сберегал в своих бумагах и записных тетрадях такой богатый автобиографический материал, такую громаду писем, заметок, документов всякого рода и проч.

Пушкин не отступал до самой смерти своей от намерения представить картину того мира, в котором жил и вращался, и потому сохранял тщательно все, даже незначительные, источники для будущего своего труда; но труд, разрушенный в самом начале, так сказать, при положении первых камней, уже не давался ему более в руки. Не трудно понять, какой памятник оставил бы после себя поэт наш, если бы успел извлечь из своего архива материалов полные, цельные записки своей жизни; но и в уничтожении той части их, которая была уже составлена им в 1825 г., русская литература понесла невознаградимую утрату. При гениальном способе Пушкина передавать выражение лиц и физиономию событий немногими родовыми их чертами, и проводить эти черты глубоким неизгладимым резцом — публика имела бы такую картину одной из замечательнейших эпох русской жизни, которая, может быть, помогла бы уразумению нашей домашней истории начала столетия лучше многих трактатов о ней. Если Томас Мур говорил об уничтоженных им «Записках Байрона», что по жгучести и занимательности содержания они

дали бы много бессонных ночей образованным людям всей Европы и склонили бы много голов к своим страницам — то подобную же роль, вероятно, играли бы у нас и цельные «Записки» Пушкина, если бы существовали. Выразив это сожаление, мы уже спешим к тому, что осталось от поэта, а осталось, к счастью, довольно много для уразумения этого многообразного и в высшей степени замечательного типа.

Так работал Пушкин в Михайловском. Между тем жизнь со всеми своими заботами, планами и волнениями текла обычной чередой. В октябре 1825 г. собралось снова общество в Тригорском и возобновились прежние сношения между его населением и отшельником Михайловского. Казалось, все так будет идти, как шло доселе, и эта мысль, как знаем, не давала покоя Пушкину; но в конце следующего ноября получено было внезапно известие о кончине императора Александра I-го. Вслед за этой вестью получена была на берегах Сороти еще другая и столь же важная весть, которая уже непосредственно связывалась со всеми долгими думами Пушкина о своем освобождении. Ему показалось, на первых порах, что освобождение это является к нему негаданно-нежданно с такой стороны, откуда он всего менее предвидел его появление.

Вот как передает М.И. Семевский, в своих описаниях Тригорского, со слов М.И. Осиповой — еще ребенка в 1825 г., — впечатление, произведенное на Пушкина известием о 14 декабря 1825 г.

Пушкин находился в Тригорском, когда дворовый человек владелицы, посланный с комиссиями в Петербург, вернулся оттуда с известием, что там бунт, дороги перехвачены войсками, и он сам едва пробрался между ними на почтовых. Пушкин страшно побледнел, услышав новость, досидел кое-как вечер и уехал в Михайловское.

Можно себе представить мысли, которые должны были волновать его в эту ночь. Нет ничего невероятного, что главной и господствующей из них была мысль, что он должен самолично встретить политический переворот, дарящий ему так внезапно полную свободу, и принять участие, по крайней мере, в его дальнейшей судьбе, если уже он не мог участвовать в его подготовке. Ему казалось совершенно необходимым явиться поскорее в среду новых людей, конечно, нуждающихся теперь в пособниках и советниках... Как бы то ни было, но ранним утром следующего дня Пушкин уже выехал из Михайловского по направлению к Петербургу, а потом, не доехав до первой станции, вернулся обратно в деревню. Что же такое случилось? Предание говорит, согласно уверениям самого поэта, что ре-

шимость его поколебалась, благодаря дурным приметам, в которые он веровал. При выезде из Михайловского именно, он встретил попа, а затем, когда он выбрался в поле, какой-то зловещий заяц трижды перебежал ему дорогу. Поэтическое изъяснение! Но приметы приметами, а известная осмотрительность Пушкина, наступавшая у него почасту тотчас же за первым увлечением, играла тут тоже немало-важную роль. Она-то, вероятно, и повернула его назад, внушив ему мысль подождать более подробных известий об исходе петербургского дела. Известия не замедлили явиться и были такого свойства и содержания, что Пушкин на время замолк и притих в Михайловском.

Серьезная сторона петербургского дела многих поразила изумлением. Не один Пушкин думал тогда, что все брожение умов и все затеи тайных обществ принадлежат к числу обычных элементов образованной жизни, которую они украшают, сообщая ей движение, занимательность и разнообразие. Самые предполагаемые цели этого брожения должны были осуществиться, по мнению многих дилетантов заговора, легко, сами собою, с течением времени, не очень нарушая ход жизни и не разбивая в прах тысячи отдельных существований. Но когда долгое волнение разрешилось явным восстанием, и когда вслед за ним унесена была целиком от современников добрая доля всего молодого их поколения, Пушкин, естественно пришел в ужас. Не говоря уже о том, что он бросил в огонь свои «Записки», как знаем, но он понизил голос, и, не изменяясь внутренне, ибо далеко уже не был прежним революционером, стал искать тонов и мотивов речи, наиболее подходящих к духу и настроению времени: «Милый барон! — писал он Дельвигу, — услышав о начавшихся арестах и о разборе преступников, вы обо мне беспокоитесь и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай Бог, чтоб было понапрасну! Мне сказывали, что А. Раевский под арестом¹. Не сомневаюсь в его политической безвинности, но он болен ногами и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня. Прощай, мой милый друг». Много лиц и семейств писали тогда на Руси подобные письма и задавали такие же беспокойные вопросы своим знакомым. Вопрос Пушкина имеет еще и то значение для нас, что показывает, как первой мыслью поэта, после известия о петербургском погроме, была старая знакомая ему «Каменка» и ее общество. К

¹ Арестован был брат его, Ник. Ник. Раевский, но и он, после откровенного объяснения своих отношений к заговору, вскоре был освобожден.

счастью, ни один из Раевских не был причастен заговору, но много других членов их семейства, как сказали уже, подпали следствию и осуждению. Между тем, круг арестов все более и более расширялся, захватывая большинство его знакомых. Каждый день приносил известия, часто самые неожиданные, об аресте лиц, всего менее подозревавшихся кем-либо в дерзких замыслах против государства. Мало-по-малу вокруг Пушкина начинало образовываться нечто похожее на пустоту, которая является в среде товарищей после жаркого дела. Несколько разрозненных и чудом уцелевших личностей поглощено было теперь мыслью о спасении самих себя в общем крушении их дружины. То же приходилось теперь делать и Пушкину. С каждым днем становилось все яснее, что единственный способ выйти на свободу, которой Пушкин так страстно домогался, состоял в том, чтоб обратиться за нею к новому правительству, не имевшему таких поводов сердиться и преследовать его, как прежде. Пушкин не был виновен перед ним ни в каком посягательстве на его права, ни в каком сопротивлении его намерениям, и ждал только, чтобы благоприятное политическое состояние страны, обрисовавшись вполне, позволило новой власти снисходительнее смотреть на ошибки и проступки прошлого времени. В начале 1826 года, Пушкин уже пишет Дельвигу следующее любопытное письмо, видимо составленное и начисто перебеленное так, чтобы можно было его показать и постороннему лицу, которое приняло бы к сердцу его содержание. Вот оно: «Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя. Вообрази что я в глуши ровно ничего не знаю; переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особливо ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый 6-ть лет сряду замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам; но никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции. Напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности. И если 14-е декабря доказало у нас иное, то на это есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы *вполне* и *искренно*¹ помириться с правительством и, конечно, это ни от кого, кро-

¹ Слова подчеркнуты автором.

ме него, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружения заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего Царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя».

Вот при каких случаях Шекспир являлся Пушкину, как мы сказали, прибежищем для мысли и опорой, на которой она могла остановиться и собраться с силами.

Дельвиг, Жуковский, родные и многочисленные благожелатели поэта не оставили указаний Пушкина без внимания. Мысль о возможности добыть поэту столь желанную свободу легальным путем стала между ними общим верованием и непоколебимой надеждой. Прошло, однако же, добрых семь или восемь месяцев, прежде чем освобождение явилось к Пушкину и притом в особенной, совсем неожиданной форме. Из Петербурга сообщены были Пушкину те правильные, формальные пути, которые ведут к нему и уклонение от которых может поставить на карту все предприятие. Пушкин исполнил программу друзей в точности.

Когда наступила надлежащая минута, Александр Сергеевич представил псковскому гражданскому губернатору барону фон-Адеркасу прошение на Высочайшее имя, все писанное им собственной рукой (на простой бумаге) и буквально гласившее так:

«Всемиловитейший Государь!

«В 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно Афеизма, изложенными в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.

Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпиской и честным словом), решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею своею просьбою:

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю

свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург или в чужие края.

Всемилолюбивейший Государь,
Ваше Императорское Величество
верноподданный
Александр Пушкин».

К прошению были приложены два документа, из коих один, тоже писанный рукой Пушкина, содержит обязательство: «Я нижеподписавшийся обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу *и никогда не знал о них*. 10-го класса Александр Пушкин. 11-го мая 1826 года».

Второй документ был формальное медицинское свидетельство Псковской врачебной управы, на 3-х рублевом гербовом листе, от 19 июля 1826 года и за № 426¹. В этом свидетельстве ученая коллегия гор. Пскова говорила, что, по предложению гражданского губернатора за № 5497, ею освидетельствован был коллежский секретарь А. С. Пушкин и «оказалось, что он действительно имеет на нижних конечностях, а в особенности на правой голени повсеместное расширение крововозвратных жил (*Varicositas totius cruris dextri*), от чего г. коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще»².

Пустив, таким образом, в ход правильно оформленную просьбу, Пушкин предоставил судьбе доверить остальное; но уже одна решимость его на этот шаг имела вероятно необычайное значение в глазах его друзей и покровителей, ибо внушало им самые розовые надежды. Дельвиг, например, узнав, что Пушкин составил просьбу, пророчески писал уже, от 1 июня 1826 г., в Тригорское к г-же Осиповой: «Пушкина верно пустят на все четыре стороны, но надо сперва кончиться суду». Действительно, до окончания суда над декабристами не возможно было ожидать никакого рода амнистий, которые, по слухам, должны были состояться только в день коронавания покой-

¹ Всего вероятнее, что освидетельствование Пушкина врачами происходило тоже в мае 1826 г. и только свидетельство управы о том запоздало одним месяцем.

² По числу, которым помечен этот документ, можно заключить, что и просьба на Высочайшее имя пошла тоже в июле, хотя, как мы думаем, составлена опять Пушкиным в мае месяце. Наша копия с нее не имеет числовой пометки.

ного Государя. Можно полагать, что к этому светлому и радостному дню торжества и помилования Пушкин старался пригнать и свою просьбу.

Несмотря, однако же, на философское созерцание дел, усвоенное Пушкиным, он болезненно вздрогнул, когда страшный меч правосудия упал на голову пяти заговорщиков в Петербурге. Спустя 11 дней после казни их, Пушкин делает заметку на одном стихотворении: «Услыхал о смерти Р. П. М. К. Б. — 24» (июля), а в другом месте эти же инициалы сопровождаются припиской: «видел во сне». Но трагедия и должна была кончиться трагически.

Между тем лето 1826 г. сделалось для обитателей Тригорского и Зуева (Михайловское) непрерывным рядом праздников, гуляний, шумных бесед, поэтических и дружеских излияний, благодаря тому, что в среде их находился Н.М. Языков, привезенный, наконец, из Дерпта А.Н. Вульфom. Более двух лет его звали и ожидали в Михайловском, и только в 1826 г. он сдался на просьбы Пушкина и приглашения Прасковьи Осиповны. Языков исполнен был почти религиозного благоговейного чувства к нашему поэту, для которого не находил достаточно песен и восторгов на своей лире — и оно понятно. Соединение в одном лице простоты обращения с даром угадывать людей и ценить их верно по душевным признакам, полное отсутствие чего-либо похожего на мелочное тщеславие при постоянных проблесках гениального таланта и ума — все это должно было поразить воображение пылкого, еще не установившегося студента, которого жизнь и поэзия слагались преимущественно из одних порывов. Пушкин чрезвычайно высоко ценил поэтический дар Языкова. Он был прельщен виртуозностью, так сказать, его стиха, ни у кого не достигавшего, ни прежде, ни после, таких мастерских, поражающих и ослепляющих образов, хотя запас поэтических мотивов был у него крайне однообразен и скуден. Две эти противоположные натуры сошлись на почве Тригорского и Зуева весьма близко, и так очаровательны были берега Сороти, сени и рощи обоих селений в прекрасное лето 1826 года, так грациозно и весело встречало друзей молодое женское население первого, так вдохновенны и поэтичны были ночи и долгие дни, проведенные ими вместе, что Языков до гроба считал эту эпоху своей жизни лучшим ее мгновением.

Покуда друзья наслаждались в Опочецком уезде, дело Пушкина шло своим порядком. Псковский гражданский губернатор барон фон-Адеркас препроводил просьбу его к эстляндскому генерал-губернатору, маркизу Пауллуччи, в ведении которого состояла и Псков-

ская губерния, присоединенная в прошлое царствование к его генерал-губернаторству, из видов распространенная на нее благодетельный крестьянского освобождения, не совершившегося, однако же, даже и на известный балтийский манер. В бумагах Пушкина, очень хорошо узнавшего впоследствии, по-видимому, все меры и соображения, к которым он подавал повод, находится копия с официального письма маркиза Паулуччи к графу К.В. Нессельроде от 30-го июля 1826 г., и за № 922. Извещая гр. Нессельроде о получении просьбы А.С. Пушкина с известными приложениями, маркиз Паулуччи прибавляет от себя следующее: «Усматривая из представленных ко мне ведомостей о состоящих под надзором полиции, проживающих во вверенных главному управлению моему губерниях, что помянутый Пушкин ведет себя хорошо, я побуждаюсь в уважение приносимого им раскаяния и *обязательства никогда не противоречить своим мнением общепринятому порядку*, препроводить при сем означенное прошение с приложениями к вашему сиятельству, покорнейше вас, милостивый государь мой, прося повергнуть оное на всемилостивейшее Его Императорского Величества воззрение, *полагая мнением не позволять Пушкину выезда за границу*, и о последующем почтить меня уведомлением»¹

Благоприятный отзыв графа Паулуччи доказывает, во-первых, что псковское губернское начальство, надзору которого был поручен наш поэт, исполняло свои обязанности весьма гуманно, а во-вторых, что к его честному образу действий и свидетельству присоединилось, может быть, еще и влияние таких людей, как доктор Мойер, Жуковский и другие. Впрочем, благоприятный отзыв о настроении и поведении сосланного мог быть получен еще и с другой стороны. По многим признакам можно заключить, что Пушкину было не безызвестно о посылке из Петербурга особенного агента, еще в начале 1826 г., и задолго до вышеприведенной просьбы, с поручением объехать несколько западных губерний для узнавания местных злоупотреблений и, при проезде через Псков, собрать точные и положительные сведения о самом поэте, что, по связям последнего со многими декабристами, было тогда мерой, входившей в общий порядок начатого следствия над заговорщиками. Вероятно, указания агента не противоречили тому, что говорил сам Пушкин о себе и, таким образом, двойное свидетельство правительственных лиц, удовлетво-

¹ Мы нашли подчеркнутые нами слова такими же подчеркнутыми и в бумаге, но не знаем, кем сделаны были эти отметки.

рив все требования осторожности, порешило участь нашего пленника.

Прошение Пушкина лежало без движения в Москве, куда переехал двор, до дня коронавания. Через несколько дней после этого события, именно 28-го августа, состоялась резолюция, записанная начальником главного штаба Е. И. В., бароном Дибичем, так: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину дозволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем псковскому гражданскому губернатору. 28-е августа». В псковском губернском архиве и в бумагах Пушкина сохранилось отношение генерала Дибича к начальнику губернии от 31-го августа, № 1432, в котором генерал, повторяя буквально слова резолюции, прибавляет только: «по прибытии же в Москву имеет (Пушкин) явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества»¹. В том же архиве существует и ответ начальника губернии барона фон-Адеркаса генералу барону Дибичу, от 4-го сентября 1826 г., № 188, из которого оказывается, что вечером того же 4-го числа, сентября месяца, Пушкин уже выехал из Пскова, согласно предписанию. Быстрота исполнения, по истине, изумляющая. Потребовалось только 4 дня на проезд 700 верст фельдъегерю из Москвы до Пскова по нешоссейной дороге, на посылку оттуда за Пушкиным в Михайловское, на провоз его в губернский город, по скверному проселку, без лошадей и, наконец, на отправление его по назначению.

Естественно, что акт помилования, налетевший на поэта с такой неожиданностью и быстротою, должен был поразить ужасом и недоумением все сердца в Михайловском и Тригорском, как несколько позднее поразил он и родных Александра Сергеевича, в Петербурге. Всем им показалось, что поэт исчезал из среды живых людей в то время, когда он возвращался в их среду. Г. Семеvский, в своих рассказах о Тригорском («Сиб. Ведомости» 1866 г., № 139—168), при-

¹ Вот копия с этой бумаги начальника главного штаба:

«Секретно. Господину псковскому гражданскому губернатору.

По Высочайшему Государя Императору повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство, находящемуся во вверенной вами губернии чиновнику 10-го класса, Александру Пушкину, позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба Его Императорского Величества»

водит довольно любопытную черту из этого эпизода, характеризующего эпоху.

Одна из нынешних обитательниц Тригорского, о которой уже упоминали, рассказывала ему, что 1-го или 2-го сентября (должно быть, 3-го сентября), Пушкин много и весело гулял у них и часу в 11-м вечера отправился домой, в Михайловское, провожаемый до дороги, по обыкновению, молодым женским поколением семьи. На другой день оно было разбужено еще до рассвета прибытием в Тригорское няни Пушкина, Арины Родионовны, с поразительным известием. Какой-то человек, не то солдат, не то офицер (это был посланный Адеркаса), наскакавший в Михайловское под вечер, увез с собой Пушкина тотчас, как он явился домой, и притом так заторопил его, что Александр Сергеевич успел только накинуть на себя шинель и захватить деньги. Посланный ничего не осматривал в деревне, ничего не ворошил, нигде не рылся. «По отъезде его с баринном, — говорила няня, — я уже сама кой-что уничтожила», — «Что такое?» — «Да вот этот сыр проклятый, от которого так скверно пахнет...»¹. Посланный губернатора Б. Ф. Адеркаса привез Пушкину следующее письмо:

«Милостивый государь мой, Александр Сергеевич!

Сейчас получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение, по всеподданнейшему прошению вашему, с коего (sic!) копию при сем прилагаю. Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего. Прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.

С совершенным почтением и преданностью пребыть честь имею, м. г. моего покорнейший слуга Б. Ф. Адеркас, 3-го сентября 1826 г. Псков».

В Пскове ожидало еще Пушкина любезнейшее письмо от барона Дибича, которое не только успокоило его относительно своей участи, но, как говорил сам поэт, могло бы поселить в нем очень высокое мнение о себе, если бы он был самолюбив. К сожалению, мы не имеем этого письма. Путь до Москвы совершен был им уже сравнительно

¹ Что М. И. Семевский рассказывает далее о причинах этого увоза, будто связанного отчасти с открытием рукописного стихотворения Пушкина «Андрей Шенье», — не имеет основания, так как история о распространении в рукописях «Андрея Шенье» до появления его в печати и с примечаниями самих переписчиков началось в сентябре 1826 г., когда Пушкин был уже в Москве. Эта история составляет совсем особое дело от привоза поэта и разыгралась довольно сильно, в 1828 году, кончившись в этом же году довольно благоприятным образом для Пушкина.

не с такой молниеобразной скоростью, с какой делал его фельдъегерь в одиночку. Они употребили на него всего 4 дня, и если принять в соображение, что официальный спутник поэта уже второй раз летел без сна несколько ночей по кочкам и рытвинам, то физический закал людей его рода должен показаться действительно богатырским. Фельдъегеря звали Вальшем.

8-го сентября они прибыли в Москву прямо в канцелярию дежурного генерала, которым был тогда генерал Потапов, и последний, оставивши Пушкина при дежурстве, тотчас же известил о его прибытии начальника главного штаба, барона Дибича. Распоряжение последнего, сделанное на самой записке дежурного генерала и показанное Пушкину, гласило следующее: «Нужное, 8-го сентября. Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в Чудов дворец, в мои комнаты, к 4 часам пополудни».

Чудов или николаевский дворец занимало тогда августейшее семейство и сам государь император, которому Пушкин и был тотчас же представлен, в дорожном костюме, как был, не совсем обогрешившийся, усталый и кажется даже не совсем здоровый. Можно полагать, что покойный государь читал произведения Пушкина еще будучи великим князем и находился, как вся грамотная тогдашняя Россия, под влиянием его поэтического таланта. По крайней мере этой чертой всего легче объясняется род ласки и нескрываемой нежности, какую он всегда выказывал по отношению к Пушкину, не изменяя, конечно, своих строгих требований порядка и подчиненности для него и часто сдерживая его порывы. Покойному государю угодно было однажды и рассказать некоторые подробности своего первого свидания с Пушкиным, переданные нам М. А. Корфом, имевшим счастье их слышать. Государь, между прочим, спросил Пушкина, где бы он был 14-го декабря, если бы находился в Петербурге? Пушкин отвечал, не колеблясь: «в рядах мятежников, государь!» Может быть, эта искренность и простота ответа, разоблачавшие прямой характер поэта, и были причиной высокой доверенности к честному слову Пушкина, какую возымел государь. Он потребовал у него взамен свободы и забвения всего прошлого — только честного слова, что сдержит обязательства, высказанные в подписке. Затем государь выразил намерение занять Пушкина серьезными трудами, достойными его великого таланта, и объявил, что для успешного продолжения его литературной деятельности, обещающей принести славу России, он сам берет на себя звание цензора его произведений. Пушкин был в восторге от необычайно милостивого приема и прямо

мо из дворца явился, как мы слышали, в дом изумленного своего дяди, Василия Львовича Пушкина. Затем, он перебрался на житье к приятелю С.А. Соболевскому, на «Собачью площадку», и все дело о внезапном его переселении в Москву кончилось извещением псковского губернатора (21-го ноября), что «по распоряжению г. начальника главного штаба его императорского величества вытребованный из Пскова чиновник 10-го класса, Александр Пушкин, оставлен в Москве»¹.

1 Прибегаем снова к примечанию по поводу одной новейшей публикации, именно сборника «Девятнадцатый Век», изд. Бартенева, 1872 г., который содержит в себе, между прочим, любопытный документ — записку Пушкина о народном образовании, представленную императору Николаю Павловичу. Документ этот напечатан совершенно согласно с черновым его оригиналом, какой находился в наших руках, но снабжен примечанием П. Бартенева, которое мало способствует к разъяснению его происхождения и смысла. Мы не хотели говорить об этой записке Пушкина, потому что разбор ее переступил бы за границы той задачи, которую себе положили — представить поэта в первый, *Александровский* период его развития; но так как она теперь опубликована г. Бартеневым, то уже не можем не сказать о ней нескольких слов. Сообщением записки Пушкина, почтенный издатель «XIX-го века» увеличил права свои на благодарность нашей публики, которая ему обязана такой любопытной коллекцией материалов для новейшей истории России; но примечание г. П. Б. показывает еще раз образец изворотливого отношения к предмету, о котором автор не имеет сказать ничего серьезного. Кому не придет в голову, что вместо ссылок на стихотворения Пушкина для уяснения записки и *предположений* о том или другом образе его мыслей, автору примечания следовало бы обратить внимание на самое выдающееся, рельефное место Пушкинского документа, то именно, где поэт призывает строжайшую кару правительства на переписчиков и распространителей возмутительных рукописей (стр. 213 «XIX-го века»). В устах человека, который сам был еще недавно распространителем таких «рукописей» и которого обвиняли в том же и теперь, речь эта, конечно, заслуживала бы, если не оправдательных слов от биографа, то, по крайней мере, таких, которые помогли бы читателю уразуметь причины и поводы их появления. А между тем, г. П. Б. оставил личность поэта, со всеми своими намеками на его стихотворения, совершенно открытой и ничем не защищенной. Дело в том, что упомянутое место связывается с биографическим фактом. В сентябре того же 1826 года, открыта была, как уже говорили, у одного кандидата харьковского университета, г. Леопольдова, и у двух офицеров, гг. Молчанова и Алексеева, полная рукопись «Андрея Шенье» без цензурных пропусков и с примечанием переписчиков, что эта пьеса Пушкина написана по поводу 14-го декабря и имеет в виду известного декабриста В. Кюхельбекера. Естественно, что подозрение в первом распространении списка пало (и совершенно несправедливо) на автора пьесы. Пушкин, только что успевший освободиться от ссылки и уцелеть от погрома, рассеявшего революционную партию, к которой стоял так близко, пришел в ужас при мысли попасть снова в ссылку, и на этот раз уже без всякого блеска, как простой нарушитель цензурных и полицейских правил. Отсюда, для отвода всяких подозрений от себя, и требования «Записки» относительно строгих мер против пропагандистов неблаговидных сочинений; но уловка все-таки не удалась, потому что Пушкин принужден был впоследствии прямо отвечать на запросы гражданского суда, которому передано было дело, — как настоящий подсудимый. К сожалению, мы еще не можем

Между тем, весть об освобождении Пушкина и о милостивой аудиенции, полученной им у Государя, быстро разнеслась по Москве и надо прибавить, что в торжествах, сопровождавших день коронавания, она была радостно встречена публикой, особенно литературно образованной.

кончить на этом с любопытным примечанием г. П. Бартевева. Он находит далее, что ответ гр. Бенкендорфа на записку Пушкина, приведенный нами вкратце в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» 1855, мало отвечает сущности Пушкинского трактата, — и полагает, что мы перепутали дело в «Материалах» и отнесли ошибочно замечание шефа жандармов к тому трактату о воспитании, о котором говорится здесь. Приводим фактические доказательства верности нашего указания, для убеждения почтенного критика, хотя и без них небольшое критическое соображение могло бы ему показать, что на предложение Пушкина искать в полном, свободном и откровенном преподавании истории и нравственных наук панации против политических увлечений и заблуждений молодежи, гр. Бенкендорф и не мог отвечать, по времени, иначе, как отвечал.

В бумагах Пушкина сохранилось следующее сообщение гр. Бенкендорфа, важное по свету, который оно бросает на величественный характер покойного государя и на предмет, особенно занимающий нас теперь: «М. Г. А. С. Я ожидал прихода вашего, чтоб объявить Высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь теперь в С.-Петербург и не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить, что государь император не только не запрещает приезда вашего в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю, с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо.

Его Величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передавание потомству славы нашего отечества, передав вместе бессмертию имя ваше. В сей уверенности, Его Им. Ве-ву благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения — и представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания.

Сочинений ваших никто рассматривать не будет: на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором.

Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма, можете, для представления Его Величеству доставлять ко мне; но, впрочем, от вас зависит и прямо адресовать на Высочайшее имя.

Примите и проч.

№ 205. 30-го сент. 1826. Москва. Его благородию А. С. Пушкину».

Получив, таким образом, дозволение на приезд в Петербург, Пушкин прежде всего посвятил себя на составление порученного ему трактата и уже через два месяца представил его по начальству, на что и получил следующее второе сообщение от гр. Бенкендорфа:

«М. Г. А. С. Государь Император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании — и поручил мне изъявить вам Высочайшую свою признательность».

Остановимся здесь и, в заключение, подведем итоги всему, что было приобретено и пережито Пушкиным в этот совершенно отдельный и законченный период его жизни, который мы старались здесь представить. При конце его, Пушкину было уже 27 лет, и весь пыл молодости, политических увлечений, слепых пристрастий к словам и представлениям известного рода, остался у него позади. Умственное и нравственное его воспитание еще не кончилось, да оно в сущности никогда и не кончается для развитых людей, но найдены были основы для мысли, с которых Пушкин уже более не сходил. Между бедностью его умственного мира в Петербургский период существования и тем нравственным содержанием, которым он владел при появлении в Москве, в 1826 г., лежала целая пропасть. В короткий промежуток 5—6 лет, развиваясь необычайно быстро, он переходил постепенно от бессознательной роли великосветского радикала, которую играл в Петербурге, к отчаянному протесту личности, ничего не признающей, кроме самой себя, к неистовому байронизму, которым заражен был в Кишиневе, и от него, через умеряющее действие романтизма и через изучение Шекспира, к объективности, *историческому* и критическому созерцанию, а, наконец, и к задачам, которые представляют для творчества и для анализирующей мысли русский старый и новый быт. Когда Пушкин очутился снова в столичном нашем обществе, он принес с собой только зачатки последнего из этих направлений, но потребовалось еще четыре беспоконных года (с 1826 по 1830) для того, чтобы превратить эти зачатки

«Его Величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекши вас самих на край пропасти и повергшее в оную толкое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие, предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин.

С отличным уважением, честь имею и проч.

№ 163. 23-го декабря 1826. Его благородию А.С. Пушкину».

После этих фактов сомнения и колебания г. Бартенева, вероятно, будут успокоены, и мы можем уже оставить в стороне, без ответа, и приговор его нашему труду, выраженный им в следующих словах: «Итак, надобно заключить, что записка (Пушкина) была подана не в том виде, как здесь напечатана, но мы скорее думаем, что собиратель материалов для биографии Пушкина смешал обстоятельства и что приведенные выражения служили ответом на что-либо другое. *Бумаги Пушкина требуют точнейшего рассмотрения*» (XIX Век, стр. 218).

в обдуманную теорию, которая открыла бы разум и цели современного русского существования. Целых четыре года тревожной, непоседливой, скажем просто — кочующей жизни, употребил Пушкин на то, чтобы приглядеться и приладиться к новым порядкам и условиям времени, которые так мало были похожи на времена его молодости. Работа эта доставалась ему не даром: гнетущая тоска и скука, постоянно отравлявшие существование поэта в это время, свидетельствуют о том достаточно. Они-то гнали его с места на место по Империи, сделали из него азартного игрока, подсказали ему мысль просить о причислении его к китайской миссии и отразились в уничтоженной главе любимой его поэмы, в «Путешествии Онегина». С обретением упроченного положения в свете (1830 — 31 г.), весь тяжелый искус этот, казалось, должен был кончиться и уступить место мирному труду, ровной деятельности и светлой жизни. В голове его действительно и стали накапливаться все те замыслы по истине громадных созданий, о которых мы можем судить теперь только по отрывкам, сравнительно бедным, оставшимся в бумагах, после его смерти («Медный Всадник», «Русалка», «Средневековая драма», много не написанных драм и поэм, намекающих на свое содержание одними программами или первоначальными строфами). Но в душе Пушкина жила потребность, мешавшая ему замкнуться исключительно в круг своих художнических идей. Он стограл жаждой многосторонней общественной жизни, которая гнала его в большой свет, где он думал найти ее, но еще сильнее томился он мучительную страстью осмыслить современный ему быт, открыть законные причины его явлений, уверовать в его необходимость и разумность, и, наконец, угадать смысл самой русской истории, как лучшего оправдания народа и страны. Только этой ценой покупались для него и спокойствие духа, и счастье чувствовать себя членом дельного и достойного общества, без чего почти и немислима возможность какой-либо широкой, творческой деятельности. С обычной своей энергией он бросился на розыски и определения по вопросам и задачам, поставленным им для себя и, разумеется, встретился с возражениями и противоречиями жизни, которая поминутно разбивала его работу. По странной участи, ни одна из партий, господствовавших у нас над общественным мнением, не признавала Пушкина, так же точно в пору его молодости, как и теперь, вполне своим человеком; напротив, каждая из них скрывала от него большую часть своих настоящих мыслей и требований, вероятно, не надеясь на безусловное его повиновение, хотя каждая из них, без исключения, обращалась с ним очень осторожно, словно опа-

саясь его обличений. Да и было чего опасаться: независимый голос из собственного лагеря глубже потрясает, чем крики, укоры и нападки неприятеля. В последнее время Пушкин поминутно расходился с тем обществом, которому хотел сослужить свою великую службу. Чем более силился он найти ему историческое философское оправдание, чем усерднее воздвигал ему фундамент и основания, которых не стыдно было бы показать всему свету, тем чувствительнее становились для поэта все бесчисленные опровержения и посмеяния, какие наносимы были каждодневно его идеализирующим теориям на практике и притом весьма развитыми и влиятельными людьми эпохи. Пушкин переходил поминутно от верований и надежд к скептицизму и отчаянию. Беспреданно падая и восставая, он упорствовал держаться против обличений жизни, хотя и без особенных надежд в душе, но с горделивым и quasi-независимым видом. Один неожиданный удар повалил его на землю. Горькая обида, высланная той же средой, об оправдании и интересах которой так много хлопотал, мгновенно подняла его африканскую кровь и обнаружила опять коренные, родовые черты его природы, несколько не сглаженные временем и выступившие с необычайной силой, как бы после долгого отдыха. Он ринулся на призрачного врага своего, подосланного обществом и заслонявшего его собой — и был вынесен замертво с арены света, которой так дорожил. Полная история развития Пушкина есть также и психическая история общества, где личности поэта пришлось, по собственному его слову — жить, мыслить и страдать.